

**Елена Чернохвостова-Левенсон**

# **ПРОГУЛКИ В ПРОШЛОЕ**

**Москва 1930–1992**

Издание второе, дополненное,  
в двух книгах

2019

**Elena Chernokhvostova-Levenson**  
**Progulki v proshlloe. Moskva, 1930–1992**  
**Izдание vtoroe dopolnennoe, v dvuch knigach**  
**Kniga pervaya, Moskva 1930–1968**

ISBN:

Copyright © 2019 by Elena Chernokhvostova-Levenson

Jacket and Interior design by Anna Frolova

Published by Lulu Enterprises  
3101 Hillsborough St.  
Raleigh, NC 27607

# **Книга первая**

**Москва 1930–1968**



*Всей моей семье – детям,  
внучкам, внукам и правнукам*

«...Я рассказываю то, что видел, то, что сказал и сделал... Ну не безрассудство ли? Для кого я пишу? Разумеется, не для славы: я не дурак, я знаю себе цену... Так для кого же? Да для самого себя.

Я бы лопнул, если бы не писал. Я люблю, как наши большие белые волы, пережевывать вечером дневной корм. Как приятно потрогать, пощупать и помять все то, что подумал, заметил, собрал, медленно рассказывать самому себе все то, что не успел спокойно вкусить, пока ловил на лету!»

*Ромэн Роллан. «Кола Брюньон»*

## От автора

Я хотела написать в этой книге о себе, своей долгой жизни, о родных и близких, сделавших мою жизнь счастливой, думала о книге для своих детей и внуков – пусть помнят о нас. Но жили мы, как сказал поэт, «не на облаке», и наш мир, наше время вошли в книгу сами, не спросив разрешения: мир Москвы, время Советского Союза – от 1930-х годов и до его распада. Этот мир и это время здесь присутствуют, но не как историческое описание, а как фрагменты впечатлений современника.

Первое издание книги вышло в 2011 году в виде однотомника. Это оказалось ошибкой, поскольку материала было много, написанное пришлось сокращать, отбрасывая в первую очередь события общего порядка, считая их достаточно известными.

Ошибкой был и общий подход к автобиографии. Казалось, что доминировать должна жизнь личная, а события в стране и окружающем мире, хорошо известны и могут оставаться за сценой. В результате возникли серьезные искажения. Например, о шестидесятих годах XX века, времени небывалом по яркости и силе воздействия на человеческую жизнь, в книге не было даже упоминания, они попали в категорию «само собой разумеющихся деталей». Во втором издании текст занимает две книги, пространства достаточно, шестидесятие годы заняли полагающееся им место. Я надеюсь, что устранены и другие подобные искажения.

Кроме того в первом издании были резко сокращены описания, касающиеся отдельных людей, встретившихся автору на жизненном пути – в центре остались только «главные герои». Между тем, люди и их судьбы в конкретном интерьере русской истории – это всегда одна из важных частей мемуаров. Когда-то Дмитрия Сергеевича Лихачева спросили, стоит ли писать воспо-

минания, и он ответил решительно: «Стоит, чтобы не забылись события и атмосфера прежних лет, а главное, чтобы остался след от людей, которых, может быть, никто больше не вспомнит». В новом издании люди – друзья, сотрудники, случайно встретившиеся в жизни персонажи, не только «строители истории», но и ее жертвы – восстановлены в своих правах.

Я надеюсь, что эти изменения к лучшему.

*Елена Чернохвостова-Левенсон*



# Содержание

От автора .....	7
<b>Глава 1. Детство .....</b>	<b>11</b>
Дом моего детства .....	11
Дедушка и бабушка .....	15
Соседи .....	19
Дядя Коля и его семья .....	22
Тётя Зеля.....	26
Немецкая группа .....	29
Ёлки.....	33
Жизнь на даче.....	35
Кунцево .....	35
Истра.....	37
Начало школьной жизни .....	45
Моя подруга Инна Цветаева.....	50
Последние предвоенные годы .....	54
<b>Глава 2. Война 1941–1945 года. Школа .....</b>	<b>58</b>
22 июня 1941 года.....	58
В интернате.....	61
16 октября 1941 года. Возвращение в Москву.....	70
Москва во время войны .....	78
Холодная зима 1941–1942 года .....	79
Бомбежки.....	81
Голодные времена .....	84
Школа № 175 .....	91
История школы .....	92
Возвращение к старым порядкам.....	94
Мои одноклассники.....	97
Наши учителя .....	105
9 мая 1945 года.....	118
В старших классах.....	121
Летние поездки после войны.....	129

<b>Глава 3. Студенческая жизнь.....</b>	<b>142</b>
Начало студенческой жизни. Однокурсники ...	142
Советское средневековье.	
Сессия ВАСХНИЛ и многое другое .....	146
Просто жизнь .....	158
Кафедра микробиологии .....	166
Немного о клинической медицине.	
«Павловская сессия» .....	180
Репрессии на волне «Павловской сессии» .	183
Доврачебная практика на Истре .....	186
Наша 23-я группа. Моя подруга Вероника .....	193
Моя подруга Вероника Элькинд.....	202
<b>Глава 4. Страшные 50-е годы. Дело врачей.....</b>	<b>209</b>
Год 1952. Антисемитская политика Сталина.	
Алтай. Смерть мамы .....	209
Год 1953. Дело врачей .....	225
<b>Глава 5. Встреча с Вадимом. ....</b>	<b>242</b>
Новая жизнь .....	242
Вадим. Наша встреча .....	242
Моя аспирантура и попытка преподавания .....	264
Папа: последние годы. Лидия Сергеевна.....	268
Лидия Сергеевна Валмосова .....	275
Рождение Вити. Смерть папы.....	281
<b>Глава 6. «Недолгая пора шестидесятых» .....</b>	<b>284</b>
Время, которое нельзя забыть .....	284
Поворот лицом к Западу. Американские	
выставки.....	294
Американская национальная выставка –	
Москва, июль 1959 года.....	295
Другие американские выставки .....	297
Проблемы жилья. Обмен жилплощади .....	300
Первая попытка поехать за границу .....	307
Первые международные научные контакты ....	311
21 августа 1968 года. Конец «недолгих	
шестидесятых» .....	318

# Глава 1. Детство

## Дом моего детства

Я родилась и почти всю жизнь прожила в Москве. Мой первый дом был на Воротниковском переулке, между Бульварным и Садовым кольцом. Не без гордости я любила говорить: «Мы живём между улицами двух писателей – Горького и Чехова, и площадями двух поэтов – Пушкина и Маяковского». Сейчас, когда Москве возвратили многие дореволюционные названия, улицы писателей исчезли, превратившись снова в Тверскую и Малую Дмитровку, а из поэтов остался один Пушкин, поскольку площади Маяковского вернули её прежнее название Триумфальная. Пушкина не тронули, может быть потому, что там стоит прекрасный памятник работы Опекушина, а вернее, чтобы не возвращаться к прежнему названию Страстная площадь и не напоминать о когда-то стоявшем там и уничтоженном Страстном монастыре.

Воротниковский переулок – очень старое название (XIII–XIV век), происходящее от бывшей здесь слободы воротников, «служилых людей», охранявших многочисленные московские ворота<sup>1</sup>. В этом уголке старой

---

<sup>1</sup> В старой Москве было 4 оборонительных стены: Кремль, Китайгород, Белый город и Земляной город, в стенах было немало ворот.

Москвы наш дом был совсем юным, он был построен только в конце XIX века. Это был 6-тиэтажный 12-тиквартирный доходный дом, облицованный серым камнем. Дом казался мне очень высоким, потому что вокруг стояли небольшие и гораздо более старые дома. С одной стороны был очень живописный двухэтажный особнячок<sup>2</sup>, напротив которого нередко работали художники, с другой стороны стояли тоже двухэтажные старые каменные дома, но обветшавшие и малоинтересные.

Я очень хорошо помню и дом и квартиру, где родилась и прожила более 30 лет. Мама рассказывала, что в таких квартирах, как наша, из пяти больших комнат, да ещё с маленькой комнаткой при кухне для прислуги, до революции жили врачи и адвокаты средней руки. После революции прежние владельцы квартир исчезли, а в доме разместился Мосздравотдел<sup>3</sup>. В конце 20-х годов Мосздравотдел перевели в другое помещение, квартиры распределили между сотрудниками<sup>4</sup>, и мой дедушка, мамин отец, тогда заведовавший отделом, получил квартиру на 4-м этаже. Почти сразу он должен был «самоуплотниться», чтобы избежать насильственного уплотнения. В результате в квартире две комнаты заняли две чужие семьи, и квартира стала «коммунальной», как подавляющее большинство московских квартир в то время. Из трёх оставшихся комнат в одной поселились дедушка и бабушка, в другой – мамин брат Коля с женой и дочерью, в третьей – наша семья: мама, папа и я, их единственный ребёнок.

Дом был добротный и даже с элементами роскоши: помню тяжелую дубовую входную дверь с толстыми

---

<sup>2</sup> Он всегда вызывал в моей памяти «Московский дворик» Поленова.

<sup>3</sup> Московский отдел здравоохранения

<sup>4</sup> Именно поэтому в доме было много жителей, связанных с медициной (см. З. Чернохостова, Е. Чернохостова-Левенсон. Москва, Воротниковский, дом 4. 2017). Почти все квартиры стали коммунальными.

фасетчатыми стёклами и деревянные ручки с медной фурнитурой. Вдоль парадной лестницы шла красивая чугунная решётка, в кабине лифта стоял обитый красным бархатом диванчик, висело зеркало.

Кроме парадного входа был ещё и «чёрный» вход, и лестница, выходящая во двор. Там был грузовой лифт.

Много богатой отделки было в квартирах. Паркет в нашей комнате представлял собой мозаику из разных сортов дерева с восьмиконечными звёздами, переливающимися на солнце – позже нечто подобное я видела только в залах старых дворцов, превращённых в музеи. Потолки украшала лепка, широкие подоконники были сделаны из мраморной плитки. Просторные жилые комнаты соединялись двойными дверями с панелями из матового стекла, украшенного рисунком в виде коричневых гирлянд.

На моих глазах менялись и дом и квартира. Исчезли зеркало и диванчик из лифта, дубовые перила и двери покрасили масляной краской, сняли и забили фанерой двери между комнатами, чтобы сделать их изолированными. Грузовой лифт уничтожили, а его шахту разделили на кладовки для каждой квартиры.

В квартире на пять семей была одна уборная, одна ванная комната, и маленькая кухня с дровяной плитой. Около входной двери висело шесть электросчётчиков – по одному для каждой семьи и один общий. Каждый платил по своему счётчику, а остаток делили между семьями по числу членов семьи. Так же устанавливались и дежурства по уборке мест общего пользования – по неделе дежурства на каждого человека. У входа в квартиру около кнопки звонка висела табличка с указанием кому сколько раз надо звонить. Словом, это был вариант воспетой Ильфом и Петровым «Вороньей слободки».

Я другой жизни не знала, и у меня не было ощущения тесноты или неудобства.

Двор за домом был главным местом гулянья и развлечений для всех близко живущих ребят. Зимой двор был

полон снега, который дворники свозили из переулка в фанерных ящиках, поставленных на широкие сани. Я любила карабкаться там по сугробам на своих коротких детских лыжах. Ранней весной, пока двор ещё был забит нерастаявшим снегом и грязью, компания ребят собиралась на тротуаре в переулке, мы крутили «прыгалки» или играли в «классики», расчерчивая мелом квадраты. Поздней весной и осенью жизнь шла во дворе, играли в ножички, в «штандер», без конца стучали мячом в стенку дома. Позже двор стал центром волейбольных игр – без сетки, просто в кружок.

В раннем детстве вспоминаю двор хорошо отгороженным от переулка и соседних дворов кирпичной стеной и деревянными заборами. С переулком двор соединяли только проездные ворота, проходившие через дом как тоннель, захватывая часть первого этажа. Подворотня закрывалась железными воротами, ночью их запирали на замок. Постепенно всё во дворе менялось: перестали запирать подворотню, разломали заборы, и в конце концов двор исчез, слившись с соседними дворами. Вместе с ним исчезло и нечто большее – характерная для того времени «дворовая культура», объединявшая близко живущих однолеток.

Со временем на месте замкнутого двора возник полупроезд – полусквер, он тянется позади стоящих вдоль Воротниковского переулка многоэтажек. От Дегтярного до Старопименовского переулков нет никаких заборов, отделяющих друг от друга домовладения. Асфальтированные участки, где стоят машины и где есть проезды, чередуются с зелеными насаждениями, кустами, деревьями, цветами. Есть детская площадка, качели, скамейки – это место отдыха для всех жителей ближайших домов.

Наш дом стоит и сейчас, он отремонтирован и выглядит элегантнее и наряднее соседних современных домов, хотя и сильно уступает им по росту.

## Дедушка и бабушка

Я не помню себя в самом раннем детстве. Едва ли не первое моё воспоминание относится к 1933 году, когда мне было около 3-х лет. Это скорее воспоминание-ощущение: необычная суета в квартире и чьи-то слова: «Доктор приедет». Я и Малюня<sup>5</sup> бегаем по длинному коридору и возбужденно повторяем: «Доктор приедет!» В тот день от инсульта умер мой дедушка.

Дедушку арестовали в 1931 году. Он заведовал Санитарно-Эпидемическим отделом Мосздрава, был очень активным и энергичным несмотря на свои 60 лет. Забрали его, как и водилось тогда, ночью. Много раз описаны эти ночные звонки... С тех пор, когда кто-то из жильцов нашей квартиры возвращался поздно и звонил в дверь, мама всю ночь не могла заснуть. Поэтому она особенно мечтала об отдельной квартире, до которой ни ей ни папе не суждено было дожить.

Год продержали дедушку в Бутырской тюрьме и выпустили. Но он превратился за этот год в развалину – и физически, и психически. Он всё время ждал нового ареста, не разрешал распаковывать свою сумку, боялся звонков в дверь, боялся машин и никогда ничего не рассказывал о тюрьме. Через год он умер. Всё это я узнала гораздо позже – детям старались не рассказывать о мрачных событиях жизни.

Моя двоюродная сестра Людмила, дочь маминого брата Коли, вспоминала потом, что освободили дедушку из Бутырской тюрьмы благодаря помощи тюремного врача-психиатра. Позже арестовали и врача. Тетя Соня, жена маминого брата, человек большой доброты, до конца жизни заботилась о вдове этого врача.

Что было причиной ареста? Этот вопрос в 30-е годы задавали себе миллионы людей, и ответа на него не

---

<sup>5</sup> Мою двоюродную сестру Людмилу, дочь маминого брата Коли, в детстве называли Малюней.

было. Смутно вспоминаю мамины слова о том, что последняя опубликованная дедушкой небольшая книжка «Единый диспансер» была встречена властями с осуждением. Вполне возможно, что дедушке припомнили его давнюю активную работу в земстве - после революции земство, организация «всесословная», считалась почти контрреволюционной.

После смерти дедушки бабушка стала членом маминной (нашей) семьи и перешла жить в маленькую комнатку при кухне, оставив третью комнату в распоряжение детей. Несколько лет в этой комнате жила коллега дяди Коли – Зельма Федоровна Руофф, приехавшая в Россию из Германии (о ней подробнее дальше). Позже эта третья комната использовалась обеими семьями совместно как кабинет. Там стоял письменный стол дяди Коли, принадлежавший раньше дедушке – огромный, из карельской березы, украшенный резьбой, и два стола моих родителей – простые канцелярские, типичные для государственных учреждений того времени. Когда подросли я и моя двоюродная сестра Людмила, кабинет перегородили, и мы получили каждая по своей комнатке.

\* \* \*

Мама и папа, оба врачи-микробиологи, всегда много работали, и я с самого раннего детства была с няней и бабушкой. Моя няня Груша (Аграфена) перешла к моим родителям от сестры, когда та подросла. Совершенно не помню свою няню – мои первые детские воспоминания связаны с бабушкой.

Когда умер дедушка, бабушке было 78 лет. В ее комнатке при кухне умещались её постель, комод с бельём, черный шкаф с книгами и маленький и старенький письменный столик. В углу висели образа. Из дома она в это время совсем не выходила, но дома ещё кое-что делала по хозяйству: что-то готовила для меня, чинила постельное белье, ставила заплаты.



Бабушка была глубоко верующим человеком. Хотя в этом возрасте она уже не ходила в церковь, но церковные праздники соблюдала, и мама из уважения к ней всегда заботилась, чтобы эти праздники отмечались в семье.

Мне очень нравился в детстве праздник Пасхи, когда мама, обычно не занимавшаяся готовкой, пекла куличи, делала пасху и красила яйца. Красить яйца было особенно интересно. Самое простое было варить яйца в воде с коричневой луковой шелухой. В зависимости от количества шелухи яйца выходили или жёлтыми или коричневыми. Специальных красок, конечно, не было, и родители приносили из лаборатории краски, которыми красили бактериальные препараты: ярко-красный фуксин, розовый эозин, бриллиантовую зелень, и метиленовую синьку. Утром в воскресенье, ещё до завтрака, я бежала с красным яичком к бабушке в комнату и кричала: «Христос Воскресе!». Она неизменно отвечала «Воистину Воскресе!» – и целовала меня.

Особенно я любила пасху, сладкую сырковую массу, сделанную из протёртых творога, сливочного масла и шоколада. Всё это протирали папа, пока мама колдовала с куличами. Пасху делали накануне праздничного воскресенья: укладывали её в специальную форму из треугольных деревянных пластин, соединявшихся в четырехгранную воронку и выстланную марлей. Сверху клали какой-нибудь груз, чтобы жидкость лучше стекла. На ночь эту воронку подвешивали между рамами окна<sup>6</sup>, где холоднее, а утром ставили на тарелку верхушкой вверх и снимали дощечки. Получалась красивая творожно-шоколадная пирамидка, на поверхности которой отпечатывались выдолбленные на внутренней поверхности дощечек буквы ХВ – Христос Воскресе. До чего же вкусны были ломти кулича, густо намазанные пасхой!

---

<sup>6</sup> Это было задолго до появления электрических холодильников

Ранние детские воспоминания о бабушке – это тоже воспоминания-ощущения. Бабушка готовит мусс – жидкая манная каша, сваренная на клюквенном соке, бабушка взбивает её венчиком так долго, что в каждой ложке этой пористой массы, кажется, один воздух. Как я люблю этот мусс! И ещё люблю бабушкины гренки, которые она называет по-немецки: «Армер риттер» – бедный рыцарь. Вечером, когда на улице уже темно, но родителей ещё нет дома, мы с бабушкой устраиваем игру в «потёмки»: гасим свет и сидим в темноте – бабушка в своем мягком кресле, я сижу у неё на коленях и ем чернослив. Когда бабушка штопает или ставит заплаты, она даёт мне газету и большие ножницы: я режу газету на длинные полосы, учусь работать ножницами.

К 80-ти годам бабушка начала терять слух. Её раздражала громкая и нечёткая речь, она её не понимала, поэтому когда бабушка приходила из своей комнаты к завтраку, громкоговоритель (тарелку радио) выключали. За столом я служила «переводчиком» для бабушки. То и дело я слышала: «Лёлька, скажи бабушке...», «Лёлька, передай бабушке...», «Объясни бабушке, что...» и т.д. Я говорила не столько громко, сколько очень чётко, меня бабушка хорошо понимала. Может быть, именно эта работа «переводчика» развивала и улучшала мою дикцию, которая сослужила мне службу в дальнейшей жизни.

Источником постоянных мучений для мамы и для бабушки были домашние работницы. Для домашних работниц бабушка была вздорной старухой, на которую нечего обращать внимания. Для бабушки домашние работницы были прислугой. Бабушкины дворянские корни не позволяли ей терпеть хамство со стороны прислуги, и даже её увлечение толстовским учением ничего изменить не могло. Отсюда постоянные конфликты, обиды и уход домработниц – к ужасу мамы, которая в то время уже не могла оставлять дом и меня на бабушку. Помню, как мама умоляла: «Бабушка, пойми,

я не могу без неё, не ссорься с нею». Бабушка отвечала: «Она хамка», и найти компромисс было невозможно.

Помню как к бабушке приходил Лёва Берлин, мальчик из квартиры напротив. Лёва был на несколько лет старше меня, жил с матерью (отец рано погиб), которая работала, и днём Лёва много времени проводил с моей бабушкой. Уже школьником он показывал ей свои сочинения по литературе и советовался с ней – бабушка и в том возрасте, на девятом десятке, хорошо помнила русскую классическую литературу и могла ему помочь. Я с интересом слушала их разговоры и восхищалась Лёвой, который приносил, например, сочинение: «Характеристика дворянского общества по роману Пушкина Евгений Онегин». «Подумать только, – думала я, – он может написать характеристику целого общества!» Наверное, было что-то притягательное в силе бабушкиного интеллекта, что привлекало к ней мальчика-подростка, а потом и юношу, вызывало его уважение. Эта дружба продолжалась долго. Потом уже студент Военно-медицинской Академии, Лёва писал бабушке из Куйбышева, позже из Ленинграда. Я в те годы не могла оценить эти особенности бабушкиной личности. Когда я подросла, бабушка уже очень постарела, особенно после тяжёлых военных лет.

## Соседи<sup>7</sup>

Хорошо помню всех соседей, живших в нашей квартире. В одной комнате жила пара стариков – врачи Ной Лазаревич Канторович и его жена Анна Борисовна<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> Подробнее см. З. Чернохвостова, Е. Чернохвостова-Левенсон. Москва, Воротниковский, дом 4. 2017.

<sup>8</sup> Подробнее в той же книге (см. ссылку 5).

Ной Лазаревич в 1930 году работал старшим санитарным врачом амбулаторного объединения в институте имени Склифософского. Оба были врачами-эпидемиологами. Оба в моем представлении были стариками, но это – предвоенные воспоминания, когда я была маленькой девочкой. Их навещали Яков Львович Рапопорт и его жена Софья Яковлевна (племянница Анны Борисовны), а также их дочери Ноэми и Наташа.

После смерти стариков в этой комнате на короткое время поселился профессор-морфолог Яков Львович Рапопорт<sup>9</sup>, затем довольно долго жила его старшая дочь Ноэми, которую все звали Лялей, а ещё позже – супруги Белкины, коммунальные конфликты с которыми относятся к числу тяжёлых воспоминаний моей взрослой жизни.

В комнате у входа в квартиру жил молодой человек по фамилии Чечик. Чечик был военным служащим или слушателем Военной Академии, часто ходил в военной форме и этим был особенно интересен для меня. Я воспринимала его фамилию как имя нарицательное, и когда видела на улице группу военных, кричала: «Мама, смотри, чечики идут!» Чечик уехал из квартиры, когда я была совсем маленькой. Много лет спустя он приходил к нам – полный, пожилой человек, директор завода на Урале, и я удивлялась, как непохож этот Чечик на Чечика моего детства.

Место Чечика заняли супруги Лукины – инженер Александр Антонович с женой, которые жили здесь очень долго. Иногда к ним в гости приходила двоюродная сестра Александра Антоновича, Мария Павловна, настоящая «дама приятная во всех отношениях». Много лет спустя я зашла к Лукиным пожаловаться на свою няню, которая обманывала меня при покупке

---

<sup>9</sup> Я.Л. Рапопорту принадлежит книга «На рубеже эпох. Дело врачей 1953 года». Москва, 1988.

продуктов. У них в это время была Мария Павловна, которая сказала мне с прелестным старомодным грассированием: «Но Лёлочка, пгислуга всегда пгисчитывает!» – и в этом грассировании, и в слове «прислуга», было что-то от давнего времени, от другой жизни.

А самым главным членом этой семьи был для меня пёс Мишка, доброжелательная лохматая болонка, игры с которой доставляли мне массу удовольствия. Его купали в общей ванне, стригли, фотографировали. Это была первая собака в моей жизни.

Все квартиры нашего дома были коммунальными кроме той, где жила семья моей однолетки и подруги Наташи Обух. Дед Наташи, Владимир Александрович Обух был врач по профессии и помещик-дворянин по происхождению<sup>10</sup>. После революции Обух пользовался покровительством властей, так как до революции он укрывал в своем имении в Белоруссии скрывавшегося от царской полиции Ленина. В 20-е годы Обух возглавлял Мосгорздрав, а на квартиру ему самим Лениным была дана «охранная грамота». Именем Обуха были названы потом улица и переулок в Москве, а также институт гигиены труда и профессиональных заболеваний (сейчас переименован). Жена Обуха пользовалась привилегиями «старых большевиков»: в старости она жила постоянно в пансионате для старых большевиков в Кратове, за городом. Их сын, отец Наташи, был агроном, мать Наташи – пианистка, одно время она учила музыку и меня и мою сестру Людмилу. Удивительно, что среди беззакония тех лет семья Обухов смогла сохранить свою отдельную квартиру.

---

<sup>10</sup> Всё это я знаю со слов его внучки Наташи Обух. В Российском интернете я не нашла ни слова о его происхождении, только о том, что он сын агронома, революционер, большевик и личный врач Ленина. Кстати о последнем Наташа никогда не рассказывала.

## Дядя Коля и его семья

В соседней с нами комнате жил мамин брат Николай Яковлевич, мой дядя Коля, его жена Софья Васильевна, моя тетя Соня, и их дочь Малюня – моя двоюродная сестра. Малюня была на два с половиной года старше меня, и когда она появилась на свет, была самой маленькой, потому и называли ее Малюней.

Малюня была главной моей подружкой в детские годы. Она была заводилой, и не только потому, что была старше меня, но и потому, что была активнее, изобретательнее. Все наши общие развлечения придумывала и осуществляла она – я была её послушным «хвостиком». Позже я стала стремиться к самостоятельности, и наша дружба стала угасать.

Самой популярной нашей игрой была игра в «дочки-матери». Наверное, я была «дочкой», впрочем существа игры я совершенно не помню, помню только подготовку к ней. На полу, обычно в комнате у дяди Коли, устраивали дом и сад. Для этого с подоконников снимали многочисленные горшки с цветами и расставляли их так, чтобы получились сад и аллеи. Между ними ставили тазики с водой и туда пускали плавать лебедей и уток. Это были или игрушки из целлулоида или очень красивые водоплавающие птички, отлитые из стеарина – они были популярны в годы моего раннего детства. Эти птички были очень хрупкими, играть ими и не сломать было очень трудно. Обычно устройство дома и сада занимало целый день, для игры времени не оставалось, а уговорить взрослых не разрушать построенного и оставить всё до следующего дня, не удавалось. Но подготовка к игре и составляла её главную суть.

Интересно, что в «дочки-матери» мы играли без кукол. Я вообще не умела и не любила играть в куклы. Помню чувство неловкости, когда мама привезла мне из Ленинграда замечательную куклу, последний крик моды – с закрывающимися глазами и целым набором

платьев. Такие куклы тогда можно было купить только в Ленинграде. Я изо всех сил старалась быть благодарной, но совершенно не знала, что с нею делать. Наконец, сказала: «Можно я уложу её спать до лета?» – и с облегчением упаковала обратно в коробку. Перед дачей я уложила её спать до осени. Так я никогда и не играла с этой замечательной куклой.

Зато хорошо помню свою любимую игрушку – заводной танк. Он был совсем как настоящий – металлический, темно-зеленый, с башней и пушкой, с резиновыми гусеницами, которые часто соскакивали. Танк этот папа выиграл по билету лотереи Осоевиахима<sup>11</sup>. Билеты этой лотереи покупали так же, как и облигации займов, по известной поговорке «добровольно-принудительно», отказаться покупать было нельзя. Добровольные лотереи типа «Спорт-лото» появились только во времена Хрущева. Это был едва ли не единственный выигрыш, который я помню в нашей семье. Можно было вместо игрушки взять деньги, но папа выбрал танк, и я его очень полюбила. Завода хватало на то, чтобы танк пробежал всю длину нашей комнаты от окна до противоположной стены, забивался под мамину кровать и продолжал жужжать. Я лезла за ним под кровать, заводила и снова пускала в пробег.

В раннем детстве мы с Малюней целые дни проводили вдвоём. Разлучали нас только болезни, особенно детские инфекции, когда родители пытались установить карантин. По-моему, это никогда не удавалось, мы повторяли друг за другом все болезни, и лёжа в соседних комнатах, перестукивались через стенку.

Только однажды мы были разлучены надолго, и причиной была не болезнь, а преступление, причем вполне серьёзное. Мы крали деньги. Крали их из карманов пальто, поскольку пальто всех живущих в квартире висели в прихожей. Мы занимались этим довольно долго,

---

<sup>11</sup> Общество Содействия Авиации и Химической защите.

соседи замечали исчезновение денег, но не могли заподозрить двух маленьких девочек «из хороших семей». Как всегда идея и организация всего предприятия принадлежала Малюне, я старалась помогать ей изо всех сил.

Для чего нам были нужны эти деньги, куда мы их прятали, на что тратили? Не помню. Малюня покупала ириски в ларьке на углу улицы Горького. Но это не так уж и важно. Деньги в то время представляли для меня самоцель, идея обмена их на товар меня не интересовала. Возможно, именно я проявила инициативу, которая нас и погубила. Я знала, что папа хранит зарплату в левом верхнем ящике письменного стола, который держит закрытым на ключ. Родилась идея – узнать, где лежит ключ. Обсудив всё с Малюней, я с прямою римлянина спросила у папы, вернувшегося с работы: «Папа, а где у тебя ключ от того ящика, где лежат деньги?». И дальше – изумлённое папино лицо и вопрос: «Зачем тебе?». И вдруг – осознание преступности всего содеянного. Я расплакалась навзрыд и тут же всё рассказала. Потом было наказание: мы с Малюней были разлучены на целых две недели, закрыты каждая в своей комнате.

Я была потрясена не наказанием, а именно осознанием совершённого преступления. Мне было ужасно стыдно, и это чувство сохранялось многие годы, потому что я очень долго не могла отделить себя взрослую от пятилетнего «несмышлёныша» и не могла оправдать этот поступок своим возрастом. Я была уже не только взрослой, но и не юной, когда смогла смотреть на это событие с юмором и рассказывать о нём другим.

Потом очередным увлечением Малюни стал театр. В это время мне было 7–8 лет. Малюня привлекла к театральным представлениям не только меня, но и двух девочек из нашего дома. Ставили пушкинскую «Барышню-крестьянку». Готовили костюмы, используя имеющуюся в доме одежду. На двух больших листах



фанеры рисовали декорации. На одном листе была нарисована сосна, на другом – береза, вместе они составляли лес, где встречались «Акулина» и Алексей. Подготовка занимала основную часть времени, учили роли, репетировали. Я помню и само представление, собравшихся родных и соседей, не помню только, что именно делала я. А декорации леса (фанера) потом пошли на изготовление в прихожей большого ящика для хранения картошки, которую заготавливали на зиму во время войны.

Моя дружба с Малюней, очень интенсивная в ранние детские годы, по мере взросления таяла. У каждой появлялись свои друзья из школьного класса, проявлялась разница в возрасте, которая была раньше несущественной, а может быть, обнаруживались различия в характерах. Сейчас мне даже трудно вспомнить Малюню в годы войны, хотя мы были вместе в нашей короткой эвакуации под Рязанью и потом ещё долго жили в одной квартире.

Из двух своих внучек бабушка явно предпочитала меня, Малюня была у бабушки на втором месте. Может быть, это было связано с тем, что я была дочерью дочки, а скорее просто потому, что я была младшей. Но так было. Однажды, уже взрослой школьницей, я испытала сильное чувство неловкости перед Малюней, когда бабушка подвела меня к своему чёрному шкафу, где была её библиотека, и сказала: «Книги должны иметь одного хозяина, и я хочу, чтобы после моей смерти таким хозяином была ты». Я очень рада, что сумела сохранить и перевезти сюда, в Америку, бабушкину библиотеку, и в этом – не только уважение к старым изданиям и стремление сохранить книги с надписями, в которых история семьи, но и воспоминание о бабушкиных словах.

Сейчас, когда я достигла возраста своей бабушки, я показала эти старые книги своей старшей внучке Жене и просила ее сохранить их у себя, когда я уйду в лучший мир. И Женья, и ее муж Джемисон имеют вкус и

уважение к книге, я уверена, они сохранят эти книги для следующих поколений. Но есть в этой наследственной передаче и нечто, что передать невозможно. Прежде всего – это книги на русском языке, и хотя мои внучки могут читать по-русски, но вряд ли смогут читать их дети, мои правнуки и правнучки, и тем более следующие поколения. Старые книги превращаются в символ, но в качестве символа они могут еще жить долго. Уже сейчас книги издания конца XIX века приобрели ценность и интерес, как своеобразный антиквариат – может быть, они кончат свои странствия в каком-нибудь архиве (здесь в Америке есть и архивы русских книг), и цениться будут они не как книги для чтения, а как символ давней книжной культуры. Во всяком случае, я свое обещание, данное бабушке, выполнила.

## Тётя Зеля

Меня очень рано начали учить немецкому языку, потому что была редкая возможность заниматься с нашей соседкой по квартире. Моей учительницей была Зельма Федоровна Руофф, которая приехала работать в Советский Союз из Германии в конце 1932 или начале 1933 года. Дядя Коля знал её как коллегу-ботаника и пригласил поселиться в нашей квартире, в комнате, где до того жили мои бабушка и дедушка. Дедушка в 1933 году умер, бабушка оставила комнату детям, а сама переехала в маленькую комнатку при кухне.

Зельма Федоровна (я звала её тётя Зеля) прекрасно знала русский, я удивлялась, что у нее не было ни малейшего акцента. Она занималась немецким и со мной, и с Малюней. То ли я была неспособна к немецкому языку, то ли тётя Зеля была плохой учитель, а главное – заниматься с ней мне пришлось очень недолго. Так или

иначе, но от этих занятий у меня осталось очень мало воспоминаний.

В 1933 году Зельма Федоровна ездила в Германию повидать родных. Как раз в январе того года рейхсканцлером Германии был назначен Гитлер. Вернувшись в Москву, тётя Зеля рассказывала, что во главе страны «какое-то ничтожество».

В октябре 1938 года тётя Зеля исчезла. Мне сказали, что она уехала, и я больше о ней не спрашивала. О судьбе тётки Зели, трагической как и несчётное количество других судеб того времени, я узнала позже. Мои родители и соседи в течение нескольких дней ждали ареста кого-то из живущих рядом: несколько дней в переулке напротив дома, в подъезде и на лестнице нашего этажа дежурили, сменяясь, «топтуны». Арестовали тётю Зелю. Потом соседи говорили: «Эх, не надо было ей ездить в Германию!», но это были только жалкие попытки найти смысл в той волне арестов, которая охватила страну.

До сих пор я писала только о своих личных воспоминаниях о тете Зеле – воспоминаниях девочки, которой еще не было 8-ми лет. Сейчас я знаю о Зельме Федоровне гораздо больше и должна здесь кратко рассказать о ее жизни.

Зельма Федоровна родилась в 1887 году в Москве, в семье немецкого коммерсанта, приехавшего в Россию во второй половине XIX века. Она училась в Петри-школе, школе при лютеранской церкви, где преподавание велось на немецком и русском языках. Оба языка были ее родными (не случайно я не замечала у нее акцента). Окончив гимназию с золотой медалью, Зельма поступила на естественное отделение физико-математического факультета Московских Высших Женских Курсов и окончила его в 1914 году. В это время началась война с Германией, быстро переходящая в мировую. Семьи подданных Германии, в том числе семья Руофф, были высланы на родину.

В Германии Зельма Руофф работала в Мюнхене, занималась торфяными болотами Баварии, стала специалистом в этой области. В конце 1932 года Руофф вернулась в Россию (Советский Союз) и по приглашению дяди Коли поселилась в нашей квартире, в комнате, освободившейся после смерти дедушки. Здесь Зельма Федоровна, моя учительница немецкого языка, жила с 1933 по 1938 год.

Зельма Федоровна работала в Ботаническом саду при МГУ, в Московском обществе испытателей природы (МОИП) и главное – принимала участие в подготовке многотомного собрания трудов Гёте, которое было запланировано Академией Наук. Ответственным редактором 13-го тома трудов Гете (естественно-научные работы) был академик В.И. Вернадский. Он пригласил Зельму Федоровну для редактирования и составления комментариев, учитывая ее свободное знание и русского и немецкого языков и профессиональное знакомство с биологией. Это плодотворное сотрудничество было внезапно прервано: 6 октября 1938-го года Зельма Федоровна была арестована, обвинена в «шпионаже» (по статье 58) и вскоре этапирована в Воркутлаг, в Коми АССР. Лагерь и ссылка отняли у нее 20 лет жизни. В 1958 году после реабилитации она вернулась в Москву.

Еще до реабилитации, не имея права жить в Москве, Зельма Федоровна приезжала в Москву повидаться со знакомыми, заходила и к нам. Как всегда подтянутая и аккуратная, она очень плохо видела через сильные очки – годы заключения сильно повредили зрение. О своих родных в Германии она ничего не знала. Помню, она благодарилась судьбу, что оказалась в эти страшные годы в советских лагерях, а не в Германии – тогда меня это поразило. Потом, гораздо, гораздо позже, я поняла ее слова. Нет ничего страшнее как видеть преступления своей страны и не имея возможности протеста становиться невольным соучастником этих преступлений. Я поняла это в августе 1968 года во время вторжения в Чехословакию.

После реабилитации Зельме Федоровне дали комнату на улице Красикова, в районе Новых Черемушек – привилегия реабилитированных, плата за 20 лет тюрьмы и лагерей. Следующие 20 лет в жизни Зельмы Федоровны

оказались плодотворными. Она, 70-тилетняя, сохранила активный интерес к жизни и людям, продолжала работать. Её рано проявившийся интерес к русской и немецкой поэзии выразился в эти годы в ряде работ, посвященных поэзии Рильке и Пастернака. Эти работы, однако, не были опубликованы<sup>12</sup>.

Последний раз я видела Зельму Федоровну в аптеке около Речного вокзала – наверное, это было в начале 1970-х годов. Она стояла в очереди получать лекарство – очень старая, полуслепая, но по-прежнему аккуратная и подтянутая. Думаю, она была у моих дяди и тети Кац – они жили у Речного вокзала, их дружеские отношения с Зельмой Федоровной сохранялись все эти годы. Зельма Федоровна не видела меня, и я не подошла к ней.

Зельма Федоровна умерла в 1978 году. Долго болела, лежала в больнице. Тетя Соня проводила там с ней целые дни.

## Немецкая группа

В годы моего детства были очень популярны детские группы с одновременным изучением иностранного языка, главным образом, немецкого. Руководили такими группами пожилые немки. В Москве и Ленинграде тогда было немало немцев, которые уже много поколений жили в России. Они были приглашены русскими царями, Петром Первым и Екатериной Второй, для работы в городах и для освоения земель на Волге (Так возникла Республика Немцев Поволжья). Нашей группой руководила пожилая немка Елизавета Христофоровна

---

<sup>12</sup> Работы хранятся в РГАЛИ, архиве РАН и в архиве Дома-музея Марины Цветаевой в Москве.

Хансен. Фамилия скорее скандинавская, чем немецкая. Впрочем, в России раньше всех иностранцев называли немцами<sup>13</sup>.

Дети в группах проводили целый день – гуляли, играли и занимались или дома у руководительницы группы или у кого-нибудь из детей. Считалось, что дети учат иностранный язык, разговаривая с руководительницей во время гулянья или занятий. На бульварах у Пушкинской площади было много таких групп.

В моей группе было 8–10 ребят-дошкольников. Родители утром приводили детей к нам на Воротниковский, и мы строем, парами, шли на Нарышкинский бульвар. Там мы играли и болтали между собой, а Елизавета Христофоровна и руководительницы других групп беседовали между собой на немецком языке. Как и из занятий с тётей Зелей, из группы Елизаветы Христофоровны я вынесла немного. В середине дня все мы, снова построенные парами, отправлялись к нам домой, там был второй завтрак, там мы немного занимались, и в хорошую погоду снова отправлялись гулять уже до самого вечера.

Друзья по группе приглашались в дом на все детские праздники – дни рождения, и самый главный, ёлку. На ёлку иногда собирались мы у Елизаветы Христофоровны.

На одной старой фотографии, где нас сняли при вспышке магния и где у некоторых глаза зажмурены, в центре видна я рядом со своей подружкой, Галей Шубиной. Галя мне очень нравилась. У нее были гладкие подстриженные волосы, косой пробор и всегда большой бант в волосах.

Однажды Галя была у нас дома на ёлке и подарила мне елочную игрушку – «Зайчик в капусте». Зайчик был сделан из папье-маше, легкий, беленький, похо-

---

<sup>13</sup> Слово *немец* означает *немой*, то есть не говорящий по-русски.

жий на маленького человечка, даже передние лапки вытянуты были вперед как руки, а сам он сидел в глупине зеленого капустного кочана.

Должна рассказать о своем *Зайчике*. Прошло очень много лет, попросту говоря, прошла жизнь, и вот в Новый 2014-й год, когда уже уехали домой мои правнуки, я убирала ёлку, складывала игрушки в коробку, и снова – в который раз! – встретила своего зайчика. Этому маленькому зайчишке, подумала я, почти 70 лет! Удивительно, как он, такой легкий, непрочный, прожил так долго, пропутешествовал из России в Америку, где я теперь живу. Странно, но я помню, что получила его в подарок в 1936 году: на следующий год Галя пошла в школу, и больше, мне кажется, мы никогда с ней не виделись. Но в памяти моей все сохранилось: немецкая группа Елизаветы Христоворовны, Галя Шубина с бантом в волосах, зайчик в капусте...

Не знаю почему, но вдруг – в 2014 году! – мне очень захотелось узнать: где сейчас моя подружка Галя Шубина. Что делает теперь человек, у которого появилось такое желание? Включает компьютер, набирает в Гугле «Галина Шубина», и спрашивает: где ты, Галя?

В ответ – целая страница Шубиных, все Галины, только отчества разные. Но я уверенно выбираю «Галину Константиновну», потому что там указано «художник», а у меня в голове начинает быстро разматываться какой-то клубок, и передо мной – квартира, где жила Галя. Она жила на Тверском бульваре, недалеко от Петровских ворот. Дома я не помню, а квартиру помню очень хорошо, она была необычная. В квартире был очень высокий потолок и антресоли, мы забирались на них по деревянной лестнице. Целая комната наверху, может быть, Галя жила именно там. Я боялась подходить к перилам и смотреть вниз на нижнюю часть комнаты, я всегда боялась высоты. А в комнате было очень много картин, не обычных картин, а плакатов, таких, какие я видела на улицах.

*Галина Константиновна Шубина (1902–1980). Нет, это не моя Галя Шубина. Но все-таки читаю дальше:*

...«сначала факультет скульптуры *Ленинградской Академии художеств*, однако через два года её «переманила» графика. На этом факультете она училась под руководством *Митрохина и Кругликовой*, специализирующихся на создании плакатов». Да, да – плакаты, много плакатов!..

*«Её дочь Галина Дмитриева – известный художник-график в Москве».*

Дочь Галины Константиновны – Галина Дмитриева, вот кто **моя Галя Шубина!** Откуда моя уверенность в том, что именно Галина Дмитриева – моя старая подружка Галя Шубина? Доказательств нет, а уверенность есть. Как говорил Жванецкий, «за неимением информации обходимся интуицией!»

Нет, к этой интуиции можно добавить информации. В интернете среди работ Г. К. Шубиной есть «Портрет дочери художника»<sup>14</sup>. И чудо совершается – на меня смотрит Галя, в красном платье, с книжкой, правда – без банта...

Вот и возвратилось ко мне все: мой зайчик в капюсте, Галя, моя немецкая группа, Елизавета Христофоровна, квартира Гали, плакаты. Возвратилось детство. «Вот и все. И этого достаточно», так пел Галич.

Вспоминая свою немецкую группу, думаю о судьбе Елизаветы Христофоровны и ее племянника Вали. В начале войны, в 1941 году, все немцы России были высланы на восток, в Сибирь или Среднюю Азию. Взрослых мужчин отправляли на шахты, детей и женщин – в села. Где оказались Елизавета Христофоровна и Валя – я не знаю. Валя к началу войны был уже достаточно взрослым, чтобы попасть на работу в шахты, Елизавета Христофоровна – слишком старой, чтобы вынести даль-

---

<sup>14</sup> <https://www.digitalsovietart.com/artist-portfolios/73-shubina-galina-1905-1980>



нюю дорогу и суровую жизнь села в годы войны. Снова вспомню я о них, когда судьба приведет меня в круиз по Енисею.

## Ёлки

Единственным «неполитизированным» праздником в нашей стране был Новый Год и новогодняя ёлка. Но ёлки, как символ религиозного праздника, Рождества, были запрещены до 1935 года. Целое поколение советских детей было лишено этого самого поэтического, самого радостного и красивого праздника!

Разрешение ёлок связывали с именем Постышева, я даже помню выражение «дедушка Постышев» – эдакий дед Мороз, принесший детям новогодний праздник.

Этот «дедушка» был проводником сталинской политики на Украине, с его именем связано не только «разрешение ёлки», но в первую очередь – голод на Украине, организованный для подавления сопротивления колхозам. Сам Постышев был арестован и расстрелян в годы Большого Террора, а после 20-го съезда реабилитирован, его именем была даже названа улица где-то на Украине. Вот такие мрачные комментарии к истории с разрешением праздника новогодней ёлки в Советском Союзе.

Свою первую ёлку я помню отлично. Ёлку разрешили в декабре 1935 года, игрушек в магазинах не было, их не успели изготовить. Все игрушки у нас были самодельными, их делал папа при моем деятельном участии, вернее, сопереживании. И какие это были игрушки! Еловые шишки красили в красный цвет и приделывали к ним проволоочки, чтобы можно было повесить на ёлку. Делали клоунов из яичной скорлупы: содержимое яиц вынимали через аккуратное небольшое отверстие в

скорлупе, а на скорлупе рисовали краской рожицы, и наклеивали на неё бумажные разрисованные колпачки. Вешали на ёлку грецкие орехи, завёрнутые в «серебряную» и «золотую» фольгу от конфет. Из цветной бумаги клеили цепи. А папа даже делал «серебряные» шары из электрических лампочек, серебрил их электролизом у себя в институте. И завершающим штрихом была вата, которая изображала снег на ветках.

Ёлку родители покупали обязательно большую, под самый потолок – а потолки были высотой больше трёх метров. Папа устанавливал ёлку в деревянном кресте с дыркой посередине и укреплял веревками-оттяжками. Когда в тёмной комнате зажигали свечи на ёлке, на потолке возникали тени еловых веток.

И ещё были игры – и на ёлках, и на днях рождения, нехитрые игры, приносившие много радости. Мама снимала с пальца обручальное кольцо, и все садились в ряд на стульях, выставив вперед сложенные ладони. Водящий с кольцом в сжатых ладонях обходил ряд и каждому «вкладывал» в руки кольцо. Надо было заметить кому же единственному действительно передано кольцо, и когда водящий закричит: «кольцо, кольцо, ко мне!», во время задержать его, не дать вскочить с места. Потом в кольцо продевали бечевку и завязывали концы. Все становились в круг и перебирали бечевку, делая вид, что передают друг другу кольцо. Стоящий внутри круга пытался поймать момент, когда кольцо действительно передавалось соседу.

Едва ли не самый замечательный момент наступал к концу праздника, когда вытаскивали аллоскоп<sup>15</sup> и начинали кино. Кто-нибудь из взрослых читал подписи на слайде и поворачивал ручку аллоскопа. Мы все замирали, мы были готовы смотреть и смотреть без конца истории про Красную Шапочку, про лампу Алладина,

---

<sup>15</sup> Проектор для демонстрации диафильмов – плёнок с серией слайдов (слова «слайд» тогда в русском языке не было).

всё те же бессмертные сказки, которыми увлекались и продолжают увлекаться многие поколения детей. И наше счастье, при всей примитивности той техники, было не меньше, чем сейчас у моих правнуков, прилипающих к экрану с видеофильмами. Только у нас этих развлечений было меньше и потому ценили мы их больше.

## **Жизнь на даче**

Дачное время составляло только четвертую часть года, а казалось, что это его половина, притом лучшая.

### **Кунцево**

В 1932–1935 годах родители снимали дачу в Кунцево. Я помню из кунцевской жизни только одно – как по утрам я всеми силами старалась не пустить маму на работу. Мама пыталась выскользнуть незаметно, через заднюю калитку, а я выслеживала её, цеплялась за неё, устраивала скандал, и при этом знала в глубине души, что мама всё равно уйдет, и не в моих силах этому помешать. Она только что перешла из бактериологической лаборатории в Кунцево, где работала после окончания института, на кафедру эпидемиологии Первого медицинского института в Москве, на Девичьем поле.

От станции Сетунь в Москву шел паровик, электричек в то время не было нигде. Поезда по утрам шли перегруженными, люди часто не могли войти в вагон и висели гроздьями на подножках, у открытых дверей, держась за длинные вертикальные поручни. Я вспоминаю страшный рассказ об аварии, когда такая чугунная ручка оторвалась в верхней части, люди попадали под колеса, а ручка, торчащая горизонтально, начала молотить по людям, висевшим на поручнях встречного поезда.

Кунцево давно уже стало одним из современных районов Москвы, оно связано с центром города линиями метро. Сейчас трудно представить себе, что на месте многоэтажных кварталов стояли деревянные дачки с мезонинами, окружённые садами, а в Москву шел паровик.

Именно в этот кунцевский период возникли у родителей большие тревоги по поводу моего здоровья. В сущности никакой явной болезни не было, была только постоянно повышенная температура, так называемый субфебрилитет. Начались походы к врачам, рентгеновские снимки, обнаружили увеличение бронхиальных желез, и было произнесено: «туберкулёзный бронхоаденит»<sup>16</sup>. Кто-то из строгих педиатров сказал маме: «Если Вы хотите спасти своего ребёнка, Вы должны переехать на постоянное жительство в деревню». Для мамы такой приговор был страшен – ей только что удалось поступить на кафедру эпидемиологии, вырваться из рутины бактериологической лаборатории в Кунцево. И вдруг такая альтернатива: здоровье единственной дочери ценой отказа от своей работы и научной карьеры. В отчаянии мама стала обращаться к другим врачам, пока не попала к педиатрической знаменитости того времени, профессору Молчанову, жившему на Большой Молчановке (потому и запомнилось мне его имя).

Молчанов был не так категоричен, он разрешил остаться жить в городе, но настоятельно рекомендовал усиленное питание: масло, яйца, сметану, молоко. Мама приняла это как руководство к действию, и меня начали усиленно кормить. Масла на хлеб мазали так, что его слой был толще хлеба, ежедневно кормили взбитыми сырыми яйцами, и я ненавидела их, потому что там были всегда скользкие и противные «зародыши» (связки между белком и желтком). Я капризничала, требовала, чтобы мама вытаскивала их, и обязательно

---

<sup>16</sup> Туберкулёзное воспаление бронхиальных желёз.

по два из каждого яйца. Но в целом я смирилась с этой яично-масляной диетой. С фотографий тех лет на меня смотрит неприлично разжиревший ребёнок, и мне не верится, что это я. Война и голодная диета в военные годы исправили результаты моего перекармливания, и больше я уже не толстела.

### **Истра**

По-настоящему я помню дачную жизнь на Истре, небольшом городке, в двух часах езды от Москвы по Рижской (тогда Виндавской) железной дороге. Там мы жили с 1935 года вплоть до последнего мирного лета 1940 года, снимая дачу у одних и тех же хозяев на улице Смычка<sup>17</sup>. Таким образом, с Истрой связан пятилетний период моего детства. Но вспоминая эти годы, я вижу себя словно в одном возрастном измерении, и мне трудно отделить события, происходившие с 5-ти летним ребёнком и 10-летним подростком.

Улица Смычка, тихая и зелёная, была вдали от центра городка – до станции Истра пешком более получаса, но зато совсем близко к пойме быстрой и живописной речки Истра и недалеко от Ново-Иерусалимского монастыря, места наших частых экскурсий.

Деревянный дом-сруб, перед домом – палисадник, в котором папа каждый год разбивает две квадратные клумбы. Мы ходим с ним к речке и там на лугу, покрытом мелкой изумрудной травкой, вырезаем брикеты дёрна, отвозим их на тачке на дачу и обкладываем дёрном клумбы. Папа каждое лето засеивает их маттиолой бикорнис. Эти мелкие лиловатые цветки с серо-зелеными листочками совсем незаметны днем, зато в темноте они пахнут так сильно и приятно, что проходящие мимо дома люди останавливаются и с удивлением спра-

---

<sup>17</sup> Это странное название возникло в первые годы советской власти, когда говорили о «смычке города и деревни», и о «стирании различий» между ними по законам марксистской теории.

шивают друг у друга: «Что это? Откуда такой аромат?» А у забора ещё и табак, тоже благоухает вечерами. По краям клумб – резеда: яркая, сочная листва и мелкие коричневатые соцветия, тоже не самые заметные цветы, но аромат от них чувствуется целый день, и над ними целый день гудит масса пчел. И ещё ноготки, астры, настурции. На углах клумб – кохии, пушистые деревца, которые, кажется, называют летним кипарисом. Когда я начала ходить в школу, кохии осенью выкапывали, пересаживали в горшки, и первого сентября я относила их в класс.

Главный сад – позади дома. Там лужайка и несколько лип. Между двумя большими липами всегда висит гамак, а на соседней липе с толстым горизонтальным суком – веревочная лестница. На этой лестнице я провожу многие часы, карабкаюсь по ней, качаюсь на верхней ступеньке. Я к ней привыкла, ведь и зимой, на Воротниковском, папа вешал мне эту самую лестницу на двух больших крюках в проёме дверей нашей комнаты. На гамаке я люблю качаться вместе с Топсиком – собакой хозяев. Топсик гамака не любит, его укачивает....

За липами – фруктовый сад, много яблонь. В дальнем углу у забора – яблоня-китайка, если заберёшься туда к ней в высокую траву, тебя не видно из дома. И всегда, когда возникает какой-то конфликт с мамой, я бегу туда, лежу в траве и жду: мама всегда приходит мириться со мной, надо только иметь терпение и дождаться.

На лужайке около лип – площадка для крокета, её сделали родители. Площадка должна была быть очень ровной, чтобы шар мог проходить через ворота, через «мышеловку» и «закалываться». Эта игра, совсем забытая сейчас, была очень популярна в годы моего детства и при всей видимой неторопливости была очень азартной. Родители играли вместе со мной и моими сверстниками – этой игре были «все возрасты покорны».

Жизнь на Истре шла вместе с родителями. С Истры они не могли ездить каждый день на работу и потому

обеспечивали мне и бабушке дачную жизнь по очереди, используя свои отпуска, в те времена большие, двухмесячные. Один месяц мама проводила со мной на даче, а папа жил и работал в Москве, второй месяц на даче жил папа, а третий месяц мы жили на даче все вместе. Для меня дачные месяцы были единым счастливым временем, когда я жила вместе с родителями, и никто не уходил на работу. Интересно, что в моей дачной жизни я совсем не помню бабушку, хотя она жила всё время с нами. Очевидно, присутствие родителей вытеснило бабушку из моего сознания.

Сколько самых разных удовольствий было в жизни на Истре!

В центре, на площади, где стояли три единственные в городе каменные здания (школа, типография и ещё что-то), был киоск, где продавали мороженое. Порции мороженого готовили тут же по заказу. У мороженщицы была круглая формочка, на дно вкладывалась круглая вафельная пластинка, потом дополна – масса мороженого, которую мороженщица доставала ложкой из большого чана, сверху – еще одна круглая вафля, и затем вся порция мороженого выдавливалась из формы на поверхность. На вафлях были написаны имена – Ваня, Таня, Оля и т.д. Порции были маленькие, «детские», и большого радиуса, «взрослые». Мороженое надо было взять двумя пальцами за вафельные стенки и вылизывать по краю кругами, а когда створки вафель слипались, можно было откусывать. Мороженое было великой радостью, но разрешались мне только детские порции. Один единственный раз я получила взрослую порцию – в порядке «компенсации морального ущерба». В тот день мы переезжали с дачи, и за вещами пришла грузовая машина. Бабушку посадили в кабину рядом с шофёром, вещи погрузили в кузов, папа сел с вещами, но места в кузове оказалось мало, и нас с мамой не взяли, оставили, чтобы мы ехали поездом. Это был для меня удар в самое сердце – я ревела и готова

была умереть от горя. И тут мама позвала меня за мороженым и обещала взрослую порцию! Я утешилась мгновенно и долго не могла потом забыть эту единственную в той моей жизни взрослую порцию мороженого.

Много радости в жаркие летние дни доставляла река Истра, речка небольшая, но очень живописная, с быстрым течением и чистой водой. Она извивалась по широкой пойме среди лугов и полей. На речку мы с мамой ходили, взявшись за руки, мама что-то напевала, а иногда весело декламировала смешные стишки: «Что нам, малярам – день работам, два гулям!»

И вот, наконец, речка, маленький песчаный пляж, кусты ивы, нависающие над водой. Я не умела плавать, и мама всегда была рядом со мной. Однажды, когда я плескалась на самом мелком месте, мама решила поплавать сама. А я, постепенно подвигаясь к краю пляжа, попала в полосу сильного течения и меня потянуло на глубокое место у кустов ивы, где берег обрывался круто. Я и оглянуться не успела, как оказалась под водой. Оттолкнулась ногами от дна, выскочила на секунду на поверхность, крикнула: «Мама!», и снова ушла под воду. Так удалось мне сделать несколько раз, с каждым разом всё труднее. Ко мне сразу бросились двое – мама, которая отплыла в это время вниз по течению, и молодая девушка, стоявшая на мостике и собиравшаяся нырять. И хотя девушка была ближе, вытащила меня мама, каким-то невероятным усилием оказавшаяся рядом со мной первой. И сразу потащила меня, упиравшуюся, снова купаться – боялась, как бы у меня не появился страх перед водой.

Вскоре после этого случая я научилась плавать – не по-настоящему плавать, а лежать на спине. Я бежала по берегу реки вверх по течению, ложилась на спину, запрокинув голову и раскинув руки в стороны, и меня несло течением вниз, где я снова вылезала на берег и снова бежала вверх по течению. Научилась я этому неожиданно и в последний день нашего дачного лета – мы



купались, а нас уже ждала машина, увозившая вещи. Я очень боялась, что разучусь плавать за зиму, а случилось ещё и так, что на следующий год мне нельзя было купаться из-за малярии. Но даже через два года я легко воспроизвела это плавание на спине.

В те годы в Подмосковье было много болот, много комаров, и потому много случаев заболевания малярией. Моя малярия, трёхдневная, «трепала» меня с положенной регулярностью: день высокой, за 40 градусов, температуры, два дня передышки. Хина была единственным эффективным лекарством против малярии, и мне приходилось есть невероятно горькие хинные порошки (я не умела глотать таблетки, для меня их растирали в порошок!). Хина обрывала приступы малярии, но малейшее охлаждение – промоченные ноги, и уж конечно, купание – вызывали их вновь. Помню, что такое же обострение вызывали у меня большие среднеазиатские дыни (дыни из Чарджоу) – кажется, такой эффект дынь медицины известен.

Подмосковные болота были осушены в конце тридцатых годов и малярия исчезла. На месте осушенных болот остались обширные залежи торфа, которые разрабатываются в разных районах Подмосковья. В последние годы участились периоды необычно сильной летней жары, и это то и дело приводит к возгоранию торфа, а гасить торфяные пожары очень сложно. Сейчас появились планы снова залить эти районы водой.

Хорошо помню походы в лес. Лес назывался Фаворы, он был виден с нашей улицы – зубчатый, синий, на самом горизонте<sup>18</sup>. Ходили мы обычно с семьёй Щегловых, которые снимали дачу недалеко от нас. Аглая Сергеевна Щеглова, микробиолог, работала на одной кафедре с мамой. На даче она жила с сыном Борей, кра-

---

<sup>18</sup> Название не случайное, около Ново-Иерусалимского монастыря нередко использовали библейские названия.

сивым мальчиком немного моложе меня, и Бориным дедушкой, Михаилом Николаевичем. Михаил Николаевич, высокий, с бородкой клинышком, с внешностью чеховского интеллигента, много и хорошо рассказывал нам с Борей о растениях, о том, как определить страны света, как узнать возраст дерева, а интереснее всего рассказывал о звёздах. Он знал как называются разные созвездия и как найти их в вечернем небе. Благодаря Михаилу Николаевичу мы умели найти красноватый Марс и яркую Венеру, хорошо ориентировались в Медведицах, без промаха указывали Полярную звезду, легко находили Кассиопею. Как сейчас слышу его голос: «Вот это Вега из созвездия Лиры, а это Антаир из созвездия Орла».

Наши походы в лес всегда были с костром на берегу какой-нибудь малой речушки. На костре варили компот из сухих фруктов. Папа нарезал мелкие веточки с кустов, очищал их и затачивал – это были вилки, которыми фрукты вынимали из компота. Может быть, брали с собой и другую еду, но я помню только компот и эти самодельные вилки. Возвращалась я всегда очень усталая, но с гордым сознанием участия в настоящем походе.

Тёплыми летними вечерами мы часто сидели на крыльце дома, а мама читала вслух. Помню захватывающее чтение «Приключений Тома Сойера», страшные истории о заблудившихся в пещере Томе и Бекки Тэтчер, об индейце Джо. После таких историй Боря не решался возвращаться домой один, мы провожали его все вместе, но темнота всё равно страшила.

Только один год, последний свободный год перед поступлением в школу, мы жили на Истре в сентябре, но этот чудесный сентябрь запомнился на всю жизнь. Стояла прекрасная осень с яркими и тёплыми днями, но утром густые туманы застилали пойму реки. По утрам я любила подойти к концу нашей улицы и там, у крутого спуска к реке, следить, как постепенно рассеива-

ется туман и начинает появляться из молочно-густой массы монастырь. Сначала, словно висящие в воздухе, возникали один за другим купола, потом верхние части стен, и наконец их подножие. В эту минуту монастырь превращался из воздушного замка в знакомую реальность. А потом на солнце загорались золотом купола и начинали серебриться паутинки на ближайших кустах.

К моим детским воспоминаниям о Ново-Иерусалимском монастыре надо добавить немного истории, неизвестной мне в детстве.

Монастырь был заложен в XVII веке патриархом Никоном, «который триста лет назад велел здешним лесам, горкам и речкам называться по-евангельски, который однажды согнал тысячи мужиков, и они удвоили естественный холм над рекой Истра (нареченной Иордан), который в безумной гордыне своей велел затем воздвигнуть на этом холме храм по подобию самого главного для христиан храма Гроба Господня в Иерусалиме. Потом, когда патриарх всея Руси Никон был низвергнут и сослан царем Алексеем Михайловичем, среди разных прегрешений вспомнили ему и сам замысел Нового Иерусалима, поставивший «человеческое выше Божеского». Достроенного храма патриарх так и не увидел, скончавшись на обратном пути из северной ссылки» (Натан Эйдельман, роман-исследование «Вьеварум»). В сооружение храма в 18 веке внёс свои добавления итальянский архитектор Растрелли, а в XIX веке – русский архитектор Казаков. В подземелье храма находится гробница Никона.

В монастыре мы бывали часто. Конечно, он не был действующим монастырем (в 30-е годы в России не было действующих монастырей), а был превращён в музей, но от этого его красота и величие не становились меньше. Вход в монастырь открывался с красивой прямой улицы, обсаженной рядами тополей. Вдоль толстых монастырских стен, казавшихся мне тогда необыкновенно высокими, шла дорога, по которой можно было обойти монастырь кругом. С этой дороги было видно, что мона-

стырь стоит на высоком лесистом холме, откуда виден и Фаворский лес вдали.

Каким громадным казался мне главный собор! Внутри, в одном из его подвальных помещений, был чудесный колодец, в который можно было бросать монеты, и монеты оставались лежать на воде! Разгадка была в том, что вода в этом глубоком колодце всегда была подёрнута корочкой льда, незаметной сверху.

В войну Истра стала местом самых жестоких боёв на подступах к Москве. Этот милый городок был попросту сметён с лица земли, все деревянные дома, то-есть основная часть города, были сожжены. Зимой 1941–1942-го годов после начала наступления под Москвой и постепенного освобождения подмосковных мест, в киножурнале, сообщавшем сводки с фронта, я увидела знакомое здание Истринской школы с пустыми проёмами окон, с закопчёнными пожаром стенами. Позже я поехала туда и пыталась найти знакомые улицы. Всё напрасно – города не существовало. Школа и одноэтажное здание типографии в центре, два каменных здания – вот всё, что можно было увидеть. Казалось, ещё немного, и я найду если не остатки дома на Смычке, то хотя бы так хорошо знакомые липы, на которых несколько лет висел гамак. Нет, и деревьев не осталось. Монастырь, обезглавленный, беспощадно взорванный<sup>19</sup>, был неузнаваем: сплошные руины. Восстанавливать его начали гораздо позже и очень медленно. Но в 1992-ом году, когда я уезжала из России, значительная часть всё-таки была восстановлена по оставшимся рисункам и чертежам. Однако, стены его уже не казались мне такими высокими, и холм стал небольшим, и леса на нём почти не было. А вместо Фаворских лесов на горизонте тянулись современные жилые массивы.

---

<sup>19</sup> Говорили, что монастырь взорвали уходившие немцы. Сейчас есть версия, что в монастыре был склад боеприпасов Красной армии, и этот склад вместе с монастырём взорвали перед отступлением свои.

## Начало школьной жизни

1 сентября 1938 года. Ясный, совсем не осенний день. Во дворе школы – толпы детей с родителями, все пришли задолго до начала уроков. На мне – бежевое платье из креп-жоржета, колокольчиком, с крылышками вместо рукавов. У родителей – несколько привезённых с дачи горшков с цветами: астры, кохии. Мама держит мой ранец. В дверях школы появляется полная женщина – это директор школы Ольга Федоровна Леонова. Ольгу Федоровну, учительницу младших классов, на первых выборах в Верховный Совет в 1937 году выбрали депутатом и сделали директором школы. Вряд ли карьера Ольги Федоровны была случайной – в её классе училась дочка вождя, Светлана Сталина.

Школа № 175, куда я поступила, была необычной, я напишу о ней дальше подробно. Сейчас скажу лишь, что здесь наряду с обычными детьми, которые жили неподалеку и поступили в школу по территориальному признаку, как я и мои подружки, учились дети советской номенклатуры разного калибра, начиная с дочери и сына самого Сталина и дочери председателя Совета Народных Комиссаров, потом Министра Иностранных дел, Молотова. Со мною в довоенном классе учились сын члена Политбюро Юра Шкирятов и сын маршала Костя Тимошенко.

Теперь я хорошо понимаю, сколько тревог доставляли моим родителям контакты дочки с сильными мира сего – и притом в страшные 30-е годы! Помню с каким изумлением и тревогой они слушали меня, когда я пересказывала со слов Юры Шкирятова как его семья собирается в воскресенье на дачу, куда заранее едут истопник и кухарка, а накануне – горничная. Для нищей советской интеллигенции в это время такие подробности из жизни «слуг народа» звучали дико. И помню какой ужас вызвала я, весело продекламировав услы-

шанную от того же Юры пародию на популярную песенку «Будьте здоровы, живите богато, / А мы уезжаем до дома, до хаты»:

*Будьте здоровы, живите богато,  
Пока позволяет вам ваша зарплата.  
А если зарплата вам не позволит –  
Совсем не живите, никто не неволит.*

Это была уже совсем страшная крамола. Я не понимала, что особенного в этом четверостишии, но страх на лицах родителей, их предостережения, чтобы я «ничего подобного не слушала и не повторяла», и собственное неясное чувство тревоги помню как сейчас.

Страх, страх, страх!... Страхом была пропитана вся жизнь поколения моих родителей. Папа позже рассказывал мне, как каждый день в институте начинался с собрания, на котором осуждали вновь арестованных «врагов народа». Поднимали руки, осуждая, и думали при этом, кто будет следующий, за кем придут сегодня ночью? Вспоминаю: старое мамино пианино с поднятой крышечкой, снизу на крышке золотом по-французски написано «Поставщик Двора Его Императорского Величества», и ниже – два золотых (золоченых?) царских герба с двуглавым орлом. Мама и папа отвинчивают эти гербы, тщательно замазывают оставшиеся от винтиков дырки темным пластилином. Что стало с этими гербами? Куда и как выбросили их? Царские гербы – не поплатиться бы за них... Студенткой, уже после смерти Сталина, уже после 20-го съезда, уже в другой жизни – рассказываю что-то папе не вполне советское, а он мне: «Тише, тише...». «Чего ты боишься? – сержусь я. – Мы с тобой здесь вдвоём». «Если ты мне это говоришь, ты можешь и ещё кому-нибудь сказать». Я сержусь еще больше: «Ты – премудрый пескарь!» А папа говорит мне горько и грустно: «Ты не пережила 37-го года». И мне становится стыдно.

С первых дней в школе я стала безнадёжной первой ученицей. Я уже умела читать, писать и считать, и на многих уроках мне совсем нечего было делать. Как ни мало я знала немецкий язык, но и на уроках немецкого (иностраннй язык у нас в школе начали преподавать со второго класса) мне тоже делать было нечего.

Когда я научилась читать и писать, кто меня учил – не помню. Может быть, бабушка? Может быть, в группе у Елизаветы Христофоровны? Помню только, как я читала подряд все вывески на улицах, как сначала не получалось читать по слогам – я быстро-быстро произносила слово по отдельным буквам (звукам). Из первых книг помню «Сказки дядюшки Римуса», большую хорошо изданную книгу в темнокрасном переплете. Многочисленные истории про Братца Кролика я знала наизусть и всё-таки просила бабушку почитать, иногда поправляя её, когда она читала неточно. Уже сама читала я сказки Перро – «Красную шапочку», «Мальчика-с-пальчик», «Синюю бороду» и другие, очень любила «Рикки-Тикки-Тави» Киплинга, детское издание Свифта «Гулливер у лилипутов», и конечно – стихи Чуковского.

В школе на уроках меня пересаживали к отстающим ученикам – помогать им. Оставляли меня и после уроков – тоже заниматься с отстающими. Хорошо помню, как я учила читать Серёжу Пыркина. Читали мы текст из учебника, посвящённый Алексею Стаханову – его имя было тогда в зените славы. Серёжа, хорошо знавший слово «стахановец» – у всех оно в то время навязло в зубах – никак не мог прочитать фамилию Стаханов, угадывая конец по первым слогам: «Ста-ха--...новец!»

Алексей Стаханов был шахтёром, добывшим за одну смену 100 тонн угля. Подвиг Стаханова воспевался в газетах, по радио, его именем было названо движение по увеличению эффективности труда. Этот подвиг был, как и многие подобные трудовые подвиги, искусственным: чтобы

Стаханов добыл свой уголь, работала целая группа шахтёров, подготовивших для него всё необходимое. Такие же дутые подвиги и такие же придуманные движения создавались при советской власти много раз: Паша Ангелина, Валентина Гаганова, и наконец, Заглада – уже при Хрущёве. И возникали стахановцы, гагановцы, загладовцы...

Положение первой ученицы сразу разожгло моё тщеславие. Пятерки стали для меня насущной необходимостью. Даже пять с минусом я воспринимала как мрачное событие. Неудачи по физкультуре (должно быть, я была толстой и нескладной) тоже были в ранге трагедии. Помню, как мне не удавались прыжки через «козла», и я тренировалась до бесконечности дома, используя в качестве «козла» длинный валик от дивана. И наконец – полученное однажды замечание в дневник – Боже мой, какое же это было несчастье! Собственно говоря, большого прегрешения не было. Просто я, слушая (или не слушая) учительницу, рисовала что-то ластиком на черной блестящей поверхности парты. И учительница отобрала ластик, взяла мой дневник и записала: «На уроках занимается игрушками». Я начала плакать уже в классе и продолжала плакать после уроков, возвращаясь домой. Отчаяние моё было таким, что мне не хотелось идти домой, и вместе со своей подругой Инной Цветаевой (о ней дальше) я долго сидела на грязных ступенях нашего «чёрного хода» и плакала, а верная Инна убеждала меня, что «можно начать жизнь сначала». Мы были тогда в третьем классе.

В первые же месяцы школьной жизни все мы стали октябрятами – первая стадия «партийной карьеры»<sup>20</sup>. Прилагающиеся к этому званию словесные штампы и символы («октябрюта – внучата Ильича», красные звездочки из обтянутого кумачом картона) не производили

---

<sup>20</sup> Октябрюта – в честь большевистской Великой Октябрьской революции.



тогда серьёзного впечатления, тем более что октябрятами стали все независимо от успехов в учебе. А вот приём в пионеры уже зависел от успеваемости, и здесь было затронуто тщеславие. На фотографии нашего третьего класса (1940–1941 учебный год) я уже сижу с красным галстуком на шее, а мой подопечный Серёжа Пыркин – еще с октябрятской звездочкой. Приём в пионеры был обставлен торжественно и производил впечатление на наши души. К приёму в пионеры готовились, волновались, учили наизусть Клятву Пионера: «Я, юный пионер Советского Союза, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю.....» И далее о том, что пионер во всём является примером. По-моему эта процедура сохранялась десятилетиями без всяких изменений, кроме разве последнего призыва: «К борьбе за дело Ленина-Сталина будь готов!» Когда принимали в пионеры моих сыновей (конец 60-х годов), оставался уже один Ленин. Сейчас вся процедура и само слово «пионер» ушли в прошлое.

Пионеры ходили в школу в красных галстуках, или сатиновых – на каждый день, или шёлковых – по праздникам. Праздничная форма называлась «Белый верх, тёмный низ» и состояла из белых блузок (рубашек) и чёрных или темно-синих юбочек для девочек или брюк – для мальчиков (о брюках для девочек тогда никто и не помышлял – только на уроках физкультуры девочки надевали сатиновые шаровары). Пионерские галстуки можно было завязывать узлом, но имелись и специальные металлические застёжки, на которых был изображен костер из 5-ти поленьев с тремя языками пламени. Это было выражением лозунга: «Пламя Третьего Интернационала горит в пяти частях света». Современные школьники слыхом не слыхали о таких застёжках и, надеюсь, о таких лозунгах.

## Моя подруга Инна Цветаева

В первый день в классе нам было велено садиться за те парты, на которых сбоку написаны наши фамилии. Согласно алфавиту фамилия Чернохвостова была написана на той же парте, что и фамилия Цветаева, и я оказалась за одной партой с кареглазой девочкой по имени Инна. Так алфавит свел нас вместе в первый школьный день – и на всю жизнь.

В то время фамилия Цветаева ни о чем мне не говорила. Не знаю, знакома ли была тогда эта фамилия моим родителям, возможно и нет. Имя поэтессы-эмигрантки Марины Цветаевой было тогда известно разве только в узких литературных кругах. Те немногие, кто знал стихи Цветаевой, понимал меру её таланта и место, уготованное ей в русской поэзии, разговаривали на эту тему лишь в кругу близких друзей. Да и мраморной доски с именем отца Марины Цветаевой, профессора Московского университета Ивана Владимировича Цветаева, основателя музея изобразительных искусств, не было тогда у входа в музей.

Оказаться в первый школьный день за одной партой означало подружиться. Каждый день, возвращаясь из школы, мы с Инной часами простаивали на углу Старо-пименовского и Воротниковского переулков, где наши дороги домой расходились: Инна шла к Садовому кольцу, а я в свой дом на Воротниковском, почти напротив места наших долгих прощаний.

Помню как мама говорила мне: «Хочу тебя предупредить – с Инной надо быть очень внимательной и ласковой. У неё большое несчастье, её мама арестована – без всякой вины, как и многие другие, и всё из-за одного очень большого мерзавца, Ежова, который посадил много хороших, ни в чём не виноватых людей». Это была единственная скромная правда, которую мама решила мне сказать. Нарком внутренних дел Ежов уже был в это время смещён и арестован, ему можно было

приписывать все преступления того времени в открытую. Позже мама рассказала мне, что ей позвонила и попросила разрешения прийти Иннина старшая сестра Ира – она считала необходимым предупредить моих родителей о том, что они – «дети врага народа» (захотите ли Вы иметь дело с такими детьми?). Но это я узнала потом, а тогда я поняла только одно – на Инну нельзя обижаться, ей надо всё прощать. Может быть, именно поэтому наша так случайно начавшаяся дружба прошла через всю жизнь.

Отец Инны, Андрей, был сыном профессора Ивана Владимировича Цветаева и Варвары Дмитриевны, урожденной Иловайской, дочери историка Д. И. Иловайского. Андрей Иванович рано умер от туберкулёза<sup>21</sup>, Инна его не помнила. Она жила с матерью, Евгенией Михайловной, и сводной сестрой Ириной Лилеевой, дочерью Евгении Михайловны от первого брака. Ирина была лет на 7 старше Инны. В 1937 году Евгения Михайловна была арестована одновременно со многими другими сотрудниками библиотеки имени Ленина, где она работала как агроном-консультант. Помню из рассказов Евгении Михайловны, услышанных много лет спустя, как «добрый» следователь, обязательный персонаж допросов, говорил ей, какие славные у неё дочки, особенно младшая, и «беспокоился», как они там живут одни.

А две девочки 7-ми и 14-ти лет остались вдвоём практически без средств к существованию. Немного помогала тётка, Валерия Ивановна, жившая тогда с мужем в Москве. Но только немного. Перед смертью, завещая вернувшейся из лагерей и ссылки Евгении Михайловне своё главное достояние – дачу в Тарусе, Валерия Ивановна говорила ей, что виновата, не заботилась о её дочерях как нужно было в трудные времена. Мучила её совесть и из-за Марины, в чём она тоже признавалась Евгении Михай-

---

<sup>21</sup> От туберкулёза умерли многие члены этой семьи, в том числе и вторая жена И.В. Цветаева, мать Марины и Аси Цветаевых, М.А. Мейн.

ловне: «Если бы я не оттолкнула тогда Марину, она бы не погибла»<sup>22</sup>. Девочкам помогал дядя Миша, двоюродный брат Евгении Михайловны, живший в Ленинграде и часто их навещавший. Не знаю, кем был дядя Миша – маленький и незаметный, но помню, что Инна говорила о нём с любовью и благодарностью.

В 1938 году, когда я познакомилась с Инной, она и сестра жили в длинной и тёмной комнате коммунальной квартиры в доме на углу Садово-Триумфальной и Малой Дмитровки (в то время улицы Чехова). Мы все тогда жили в коммунальных квартирах, но наша комната на Воротниковском была просто дворцом в сравнении с комнатой Инны.

Это был очень старый двухэтажный дом с толстыми стенами. На первом этаже был продуктовый магазин, Иннина квартира располагалась над магазином. Помню большую тёмную кухню, многочисленные столы жильцов вдоль стен, чёрный закопчённый потолок. Окно кухни выходило во двор, куда приезжали грузовики с продуктами для магазина, поэтому в кухне всегда водились крысы. Я старалась как можно быстрее проскочить через кухню в комнату к Инне – их комната была отделена от кухни двойными дверями, и крысы туда обычно не забегали.

Окна комнаты выходили на трамвайную остановку, и летом, при открытых окнах, шум от трамвая мешал разговаривать. Наверное, комната была выгорожена из бывшей залы. Помню, что справа, недалеко от окон, был большой старинный наглухо закрытый камин с чугунной решеткой и мраморной облицовкой. Странно выглядели там эти следы прежней роскоши. Такими же чужими казались некоторые антикварные вещи: кушетка из карельской березы на львиных лапах и мяг-

---

<sup>22</sup> Валерия не захотела встретиться с вернувшейся из эмиграции Мариной в 1939 году. В своих воспоминаниях Валерия пишет об этом очень откровенно.

кие кресла с изогнутой деревянной спинкой, подлокотниками и гнутыми ножками – производство какой-то знаменитой английской фирмы. На книжном шкафу стояли две округлые греческие вазы с характерными светло коричневыми фигурами на черном фоне<sup>23</sup>. Возможно, все эти вещи принадлежали ещё Ивану Владимировичу Цветаеву. На стене висел большой портрет молодой тёмноглазой красавицы Варвары Дмитриевны Иловайской, первой рано умершей жены Ивана Владимировича. Всё это так не соответствовало убогой атмосфере этой огромной коммунальной квартиры.

В паре Ира-Инна старшая сестра была, безусловно, ведущей – и не только по возрасту, но и по характеру. Уверенная и даже самоуверенная, Ира была полной противоположностью замкнутой и застенчивой Инне. После ареста матери Ира начала зарабатывать уроками, работала репетитором у своих богатых, но отстающих одноклассниц, в частности, у одной из внучек Горького. Найти такую работу для Иры помогла опекавшая её учительница литературы, Анна Алексеевна Яснопольская, о которой я ещё напишу.

Перед самой войной Инна и Ира получили извещение, что их дом сносят в связи с расширением Садового кольца. Девочкам должны были выдать денежную компенсацию (помнится, 2000 рублей – сумма ничтожная, если думать о получении жилья в Москве) и предложили съехать, куда хотят. Ира была в отчаянии. Но война остановила все планы строительства. Их дом достоял, мне помнится, до конца 60-х годов.

---

<sup>23</sup> Одну из этих ваз мы с Инной разбили, другую много лет спустя приобрела для музея изобразительных искусств им. Пушкина его директор И.А. Антонова. Портрет В.Д. Иловайской теперь находится в музее И.В. Цветаева близ г. Иваново.

## Последние предвоенные годы

Годы 1939–1940 были беспокойными для нашей семьи. В январе 1940-го года папу отправили на год в командировку на Дальний Восток, в Хабаровск, в научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии в качестве научного руководителя. Это был приказ наркома здравоохранения – ослушаться было нельзя. Целый год врозь – это было тяжело для всех. Жизнь в Москве была трудная, со всеобщим дефицитом, самые простые продукты купить было непросто. Жизнь в других городах, в Хабаровске в том числе, была ещё сложнее – не хватало самого необходимого. Об этом мы узнавали из папиных писем, бодрых, чтобы не огорчать нас, часто шутливых, но скрыть свои трудности ему не удавалось.

Мама регулярно отправляла папе продукты, добытые в Москве. Именно «добытые». Количество продуктов, которое можно было купить, было нормировано. Вместе с мамой я шла в магазин, мы выстаивали длинные очереди, получали «на двоих» разрешённое количество продуктов и становились в очередь ещё раз. Так удавалось «настрелять» некоторое количество сыра, масла и других дефицитных продуктов. Продуктовые посылки на почте в Москве не принимали. Мама отправляла посылки через Клаву, племянницу моей старой няни Груши. Клава работала то ли официанткой, то ли проводницей в вагоне-ресторане поезда Москва-Владивосток. У проводников всегда была возможность сложить груз вне отапливаемого вагона, и таким образом, продукты сохранялись в относительном холоде в течение почти двухнедельного пути из Москвы на Дальний Восток.

В связи с Клавой вспоминается мне один эпизод. Как-то Клава пришла к маме и долго говорила с ней. Когда она ушла, мама, расстроенная и обескураженная, рассказала мне, что Клава просила займы денег.

Речь шла о такой сумме, какую мама никогда в жизни не имела. Клава откровенно рассказала, что эти деньги нужны для взятки прокурору, чтобы «погасить» уголовное дело против неё и начальства вагона-ресторана. Конечно, в условиях продуктового дефицита работники вагона-ресторана использовали свое служебное положение и наживались. Думаю, будь папа дома, мама не стала бы рассказывать мне об этом, но тут ей просто не с кем было поделиться потрясшим её разговором. «Понимаешь, Лёлка, – говорила она мне, – прокурор – это человек, который должен наблюдать за выполнением закона! Наблюдать! А тут – взятка прокурору!» Мама принадлежала к тому поколению интеллигенции, которое ещё не могло осознать наступление эры всеобщей продажности.

Весь 1939-й год мама в свободное от работы время – по вечерам и выходным дням – писала свою докторскую диссертацию<sup>24</sup>. Защита диссертации состоялась весной 1940 года, когда папа был в Хабаровске. Перед защитой было много волнений, один из её оппонентов написал очень короткий отзыв без заключения, обещав все замечания изложить на защите. Кажется, это было против правил, и маме советовали потребовать от него полного отзыва. Мама отказалась. Защита в связи с этим вышла необычной, мама защищалась экспромтом, а говорила она всегда блестяще, и вся защита прошла с блеском.

Всё это я знала по рассказам, потому что на защиту мама мне прийти не разрешила, я была только на скромном банкете в институте после защиты.

Докторская степень только осложнила положение мамы на кафедре – вакантного места доцента не было, а занимать ставку ассистента доктору наук не разреша-

---

<sup>24</sup> Кандидатские степени и моим родителям и многим другим научным работникам тех лет присваивали тогда по сумме работ, без защиты диссертации – *Honoris causa*.

лось. В результате мама стала и. о. (исполняющей обязанности) ассистента – позиция временная, с угрозой отправки «на периферию».

А в Европе уже началась война. В августе 1939 года постыдный договор между Сталиным и Гитлером развязал руки Германии. Первого сентября Германия вторглась в Польшу, Англия, связанная с Польшей договором, объявила войну Германии. Это и было начало Второй мировой войны, хотя тогда война ещё не обрела своего страшного имени. Красная армия вторглась в Польшу с востока. Это называлось «освобождением Западной Украины и Западной Белоруссии от ига польских панов». Советский Союз «протянул братским народам руку помощи» (остряки добавляли: «А ноги они сами протянут»).

Зимой 1939–1940 года началась и скоро закончилась война с «белофиннами» – Сталин хотел прихватить ещё и часть финской территории вблизи Ленинграда. Расчёт на лёгкую добычу не оправдался – маленькая Финляндия защищалась самоотверженно, от финских снайперов и страшнейших морозов той зимы гибли советские солдаты. Захватённый в результате этой короткой зимней войны кусочек Карелии с финскими посёлками и городом Выборгом обошёлся очень дорого, не говоря об уроне, нанесённом престижу Красной армии.

Гитлеровская Германия оставалась дружественным государством. Слово «фашист» в России было изъято из политического словаря. Летом 1940 года по тому же сговору с Гитлером советские войска захватили принадлежавшую Румынии Бессарабию и республики Прибалтики – Литву, Латвию, Эстонию. За армией пришли войска НКВД – тысячи прибалтов были сосланы в Сибирь, в лагеря, уничтожены.

Но жизнь продолжалась. В начале 1941 года папа вернулся в Москву с Дальнего Востока. Вопреки логике родители надеялись, что все трудности кончились с ужасным високосным 1940-м годом. В 1941 они надеялись поехать летом всей семьёй путешествовать. Мне



шел одиннадцатый год, можно было придумать что-то интереснее дачи. Семья дяди Коли обещала летом взять на себя заботы о бабушке.

Судьба судила иначе.

\* \* \*

«Счастливая, невозвратимая пора детства». Беды человечества были далеки от меня.

В мире взрослых была коллективизация, раскулачивание, нищета и голод в деревне. В моем мире была счастливая семья, беззаботный за спиной родителей быт. Правда, я помню нищих женщин с маленькими детьми, звонивших к нам в квартиру, им несли хлеб, какую-то еду, они благодарили и уходили.

В мире взрослых был расцвет террора, «ежовщина», процессы «врагов народа». В моём мире были ловкие стишки Михалкова о шпионах, переходивших границу на коровьих копытах.

В мире взрослых уже шли войны. В моём мире были значки ГТО (Готов к Труд и Обороне), тренировки с надеванием противогаза, изучение отравляющих веществ (помню и сейчас, что иприт пахнет горчицей, а люизит – геранью), рассказы о пограничнике Карацупе и его собаке Ингусе, песни о трёх танкистах, которые разбили японских самураев, и о том, что будет, «Если завтра война, если завтра в поход».

Но всё это никак не омрачало моего безоблачного, счастливого мира.

Детство кончилось внезапно. Началась большая война.

## Глава 2. Война 1941–1945 года. Школа

### 22 июня 1941 года

15 июня в «Правде» появилось знаменитое «Опровержение ТАСС». Там сообщалось, что «в английской и вообще в иностранной печати стали муссироваться слухи о близости войны между СССР и Германией», что якобы «Германия стала сосредоточивать свои войска у границ СССР с целью нападения на СССР», а Советский Союз в свою очередь «сосредоточивает войска у границ» Германии. «ТАСС уполномочен заявить, – говорилось в «Опровержении», – что эти слухи являются неуклюже состряпанной пропагандой враждебных СССР и Германии сил, заинтересованных в дальнейшем расширении и развязывании войны»<sup>25</sup>.

Искушённые советские люди, привыкшие читать между строк, ужаснулись – война на пороге. Помню родителей за столом над развернутой газетой в молчании и тревоге.

Но жить ожиданием войны нельзя. Было лето, сезон отпусков, москвичи разъезжались кто куда. В воскресенье, 22 июня, наша семья собиралась на Истру –

---

<sup>25</sup> Прошли годы, и мы теперь знаем, что даже точная дата немецкого вторжения была известна Сталину от разведчиков, но он упрямо не хотел в это верить, по-прежнему полностью доверяя Гитлеру.

снимать дачу на июль. Проснулись поздно. Во время завтрака попробовали было включить радио, но картонная тарелка-репродуктор молчала: что-то испортилось. Позавтракали в тишине и отправились на вокзал.

До Истры на поезде около 2-х часов езды. Приехали днём. Улица Смычка, знакомая калитка. Открываем задвижку и улыбаемся навстречу появившемуся на крыльце хозяину. А он, сбегая с крыльца, кричит: «Слышали?! Война! Молотов выступает!». Было 12 часов дня. Молотов выступал с сообщением о войне спустя 8 часов после вторжения. Тогда говорили, что его заставил выступать до смерти перепуганный Сталин...

Если бы радио в нашей квартире и не было в то утро испорчено, мы всё равно ничего не узнали бы до полудня. Десятилетия спустя я прочитала в Интернете о том, что происходило в это утро на радио в Москве: «Полдня о нападении фашистов на СССР простые граждане ничего не знали. По радио шли трансляции в полном соответствии с программой передач, которая была составлена заранее. По воспоминаниям знаменитого диктора Юрия Левитана тем трагическим утром в Радиокomitee звонили корреспонденты из Киева, Минска, Прибалтики: «Война началась!» Но из Москвы им отвечали: «Не может быть никакой войны!». Те кричали: «Нас уже бомбят! Вот послушайте – взрывы же слышны в телефонной трубке!». В ответ: «Не паникуйте. Это провокация!»<sup>26</sup>.

При слове «война» мне стало страшно за папу – я заплакала и кинулась к нему на шею.

Выступление Молотова повторяли в этот день снова и снова: «Сегодня в 4 часа утра без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города».

---

<sup>26</sup> [http://www.newsmsk.com/article/22Jun2010/22\\_june.html](http://www.newsmsk.com/article/22Jun2010/22_june.html)

\* \* \*

Прошло два дня. Ночью я проснулась от громких разговоров рядом. В комнате горел верхний свет, проникавший даже ко мне, в мою завешенную байковым одеялом кровать. Я поднялась, и еще не проснувшись как следует, увидела, что в комнате много людей – родители, дядя Коля, тетя Соня, соседи. Моего пробуждения ждали – нарочно разговаривали громко. «Проснулась? Ну, тогда вставай, – сказала мама, начиная меня одевать. – Воздушная тревога». От страха меня знобило, непроизвольно стучали зубы.

Дверь на лестничную клетку была открыта, там толпился народ из соседних квартир, обсуждали, что делать. Разбудили бабушку, и втроём – я, мама и бабушка – вышли в переулочек. На чёрном ночном небе вспыхивали звездочки разрывов – стреляли зенитки. Пошли к улице Горького – там, в доме по левой стороне Старопименовского переулка было бомбоубежище. Помню дикий страх, какого ещё никогда не испытывала в жизни, и мои непрерывные вопросы: «Мама, а нас могут убить?»

Бомбоубежищем служил большой подвал, где по стенам и потолку шли трубы каких-то коммуникаций. Сидеть было не на чем, а может быть, все сидячие места были заняты – бомбоубежище было забито до отказа народом. Бабушку всё-таки удалось усадить, а мы с мамой стояли недалеко от входа и слушали комментарии человека, который то и дело выглядывал на улицу и сообщал, видны ли в небе вспышки разрывов. Как и когда мы вернулись – не помню.

Утром в газете прочитали, что вчерашняя тревога была учебной!.. Было стыдно и обидно за свой страх.

Оказалось, и на этот раз нам солгали. В недавно опубликованных воспоминаниях сталинского адъютанта генерала Власика сказано, что 24 июня зенитчики, охранявшие Москву, ошибочно приняли свои самолеты за немецкие и открыли огонь. Была объявлена воздушная

тревога, а чтобы скрыть ошибку, решено было на следующий день сообщить об «учебной воздушной тревоге».

## В интернате

Несколько дней прошло в необычных занятиях. Окна заклеивали крест накрест бумагой «для предотвращения ранений от разбитых стекол при взрывах во время воздушного налета». Откуда-то появился песок – его насыпали в мешки, в том числе сделанные из старых чулок, и складывали в коробки на чердаке дома. Песок предназначался для тушения зажигалок<sup>27</sup>.

Уже в конце июня из Москвы начали вывозить детей. Это была комбинация обычных летних (пионерских) лагерей и эвакуации. Во дворах школ собирались группы школьников с вещами, грузовики отвозили их на вокзалы. Меня отправляли со 167-й школой, где училась Маша и где тётя Соня работала учительницей биологии. Она собиралась ехать в лагерь с учениками. Накануне отъезда мы с мамой пошли в парикмахерскую, и мне остригли мои толстые косы – мама справедливо опасалась, что я одна не справлюсь с мытьём длинных волос. Голова, лишённая привычной тяжести, непроизвольно наклонялась вперёд, освобождённые от кос волосы встали дыбом, и мама называла меня тогда папуасом.

В толпе других детей я не ощущала тревоги от расставания с родителями. Бабушка осталась дома, а мама, папа и дядя Коля поехали провожать нас на вокзал. К поезду провожающих не пускали, и только папа, подрядившись грузить вещи, смог пройти к самому вагону. Я весело махала ему из вагона, набитого детьми, и плохо слушала последние инструкции и напутствия.

---

<sup>27</sup> Зажигательных бомб.

Несколько часов до станции Рыбное, уже в Рязанской области, тоже прошли незаметно.

«Как только поезд остановился, мы быстро вышли и остановились у входа в парк. Там мы немного отдохнули. Затем стали подъезжать подводы. ...Впереди и сзади нас ехали вереницы подвод с ребятами. Мальчик-кучер сказал, что от станции Рыбное до лагеря 27 км. Через 6 часов (в 12 часов ночи) мы въехали в ворота деревянной школы. Быстро вынули из телеги вещи и пошли по темным коридорам школы. Кругом пахло лошадьми. ...Скоро вышла теть Соня и повела нас в избу. На одном матрасе улеглись трое – я, Малюня и Валя. Мы не могли заснуть и в 3 часа 30 мин. вышли погулять с вожатой» (моё письмо, июль 1941 года).

Перед глазами встает живая картина. Мы идём к Оке. Широкая река, отвесный берег, гнёзда стрижей в песчаном обрыве. Солнечный круг выкатывается из-за горизонта...

Тётя Соня сняла комнату в крестьянской избе. Завтракать и обедать сначала ходили вместе со всеми в столовую, размещённую в заброшенной церкви, потом стали брать завтраки и обеды в судках домой. Все бытовые заботы взяла на себя тётя Соня. Не было привычных московских удобств – электричества, водопровода, канализации. Это меня не тяготило. Керосиновая лампа для освещения, самовар для согревания воды, умывальник и уборная на улице – всё это легко стало восприниматься как нормальная жизнь. Но с первых же дней меня захватила тоска по родителям. Я просыпалась в слезах и засыпала в слезах. Тётя Соня пробовала как-то успокоить меня, но я была глуха ко всему.

Как-то утром в начале июля, я проснулась от разговора тётя Сони с кем-то рядом. Говорили о положении на фронте. Сводки Совинформбюро<sup>28</sup> в эти дни были

---

<sup>28</sup> Советское информационное бюро

жуткими. Каждый день – новые направления боев: Брестское, Кобринское, Барановичское, Минское. Города сдавали один за другим, немцы стремительно катились на восток. Через 5 дней после начала войны (к 28 июня), немцы уже подошли к Минску. И всё-таки что-то ободряющее в тот день услышала тетя Соня.

Может быть, так восприняла она тогда выступление Сталина? Он выступил по радио впервые на 11-й день войны, 3 июля. Говорили, что голос его дрожал, слышно было, как он пьёт воду. «Братья и сёстры! К вам обращаюсь я, друзья мои!» Первый и последний раз в своей жизни он так обратился к народу. И кончил фразой, ставшей лозунгом всей войны: «Враг будет разбит, победа будет за нами!»

Сказанную тогда тётей Соней фразу: «Ну, если так, то мы скоро вернёмся домой» – я услышала всем своим существом и впервые осознала связь между ходом войны и разлукой с родителями. С этой минуты меня интересовали только события на фронте, только сводки Совинформбюро. Я перестала плакать и вся сосредоточилась на военных событиях. И все хорошие новости (а я хотела слышать только хорошее) не столько из сводок, сколько из слухов, от «Агенства ОГГ<sup>29</sup>», я сообщала в письмах родителям. Письма сохранились. Каких только новостей не сообщала я! Что у немцев нет керосина, что у немцев начинается революция – всё, что только могло говорить о скором конце войны и моём возвращении в Москву.

«Мои дорогие, здесь ходят разные хорошие слухи: что немцы просят перемирия, что наши казахи войска внесли в ряды немцев большие смуты, что 700 тысяч немецких солдат убито, и прочее, и прочее. Говорят, что большую помощь нам оказывает революционная партия немцев, поджигая склады с вооружением и распространяя

---

<sup>29</sup> Одна Гражданка Говорила

среди немецкого народа революционное движение. Если всё это правда, то значит наша победа близка. Я думаю, что скоро (к концу июля, к началу августа) война кончится, и я снова приеду домой, в Москву!» (7 июля 41 года).

Было в моих письмах и другое. С эгоизмом ребёнка я писала родителям, что умру от тоски по ним, что мне всё равно, что делается в Москве – там я буду здорова, а здесь я обязательно заболею. Я даже грозила, что уйду в Москву пешком, если они не заберут меня.

18 июля к нам приехал дядя Коля и привёз бабушку. Ей было в это время 85 лет. Надеялись, что бабушке будет лучше вдали от военной Москвы. Не успела она приехать, как в Москве начались бомбежки.

Первый налёт на Москву, первая бомбардировка была в ночь на 22 июля, ровно через месяц после начала войны. По радио сообщили, что имеются разрушения и жертвы. Помню приступ ужаса – что с родителями?! И тут же пришла телеграмма от мамы – у них всё в порядке. С этого времени бомбежки в Москве и мамины телеграммы стали ежедневными, стали нормой жизни. Мама постоянно писала, что у них всё хорошо, что сегодня они выспались, потому что «сегодня опять не было тревоги». Между тем бомбежки были почти каждую ночь, и папа по тревоге шёл дежурить на крышу дома, гасить зажигалки.

**Из интернета:** за 5 месяцев (с 22 июля по 22 декабря) Москва пережила 122 налёта, 8000 самолетов участвовали в этих налетах, 229 прорвались к городу, преодолев противовоздушную оборону. Всего на Москву было сброшено 1600 фугасных и 100 тысяч зажигательных бомб, убито 1200 человек и ранено 5.500.

В начале августа начались тревоги и в Новосёлках – бомбили станцию Рыбное, большой железнодорожный узел между Москвой и Рязанью. В избах, где был размещён лагерь, по ночам установили дежурства на случай,



если в окрестностях появится немецкий десант. В нашем доме все дежурили ночью по очереди, на мою долю тоже выпадало по 2–3 ночных часа, я сидела около керосиновой лампы и отчаянно боролась со сном. Какой в этом был смысл? Село огромное, никакого транспорта, никаких средств связи, например, телефона...

Днём мы, девочки, воспитанные на борьбе со шпионами и диверсантами, ходили по посёлку и высматривали подозрительных людей. Однажды, помню, целый день следили за высоким человеком в огромных ботинках-вездеходах – именно из-за этих ботинок он и казался нам похожим на шпиона.

Почти каждый день мы работали на полях в колхозе – главным образом, пололи овощи. Ездили на пароме на другой берег Оки. Во время работы мы обсуждали с подружками планы побега в Москву – идея вернуться домой к родителям была близка многим.

Новосёлки были большим селом, вытянутым вдоль берега Оки. Вокруг тянулись луга и поля, а местами подымались холмы. Я писала родителям:

«Сегодня мы ходили в поле за земляникой. Здесь местность очень живописна. Кругом высоченные холмы и глубокие (в два этажа нашего московского дома) овраги. Взберёшься на холм, и всё видно – и деревню и другие бесконечные холмы и овраги. А Москву, на какой холм не взберёшься – не видно» (июль 41 года).

Окажись я там сейчас, удивилась бы какими небольшими были эти холмы на самом деле.

Сохранились в памяти походы к пчеловоду, жившему на другом конце села. У него выменивали мёд на чай, который присылала мама. Позже я узнала, что в Москве в это время добыть чай было непросто, и маме приходилось платить большие деньги. Деньги в это время вообще падали в цене, развивался натуральный обмен.

Просматривая свои и мамины письма, я неожиданно обнаружила, что в июле мама приезжала к нам, но воспоминаний о её приезде по странной причуде памяти не осталось никаких, хотя тосковала я по ней больше и острее всего. А в начале августа приехал папа, и приехал не просто повидать нас, а увезти меня в Москву. Родители собирались в эвакуацию вместе с папиным институтом, ЦИЭМом<sup>30</sup>. Первая партия сотрудников эвакуировалась в Казань, вторая собиралась в Алматы, и родители решились ехать вместе со мной. Я была счастлива!

Из Новосёлок ехали пароходом, идущим из Рязани в Коломну. Расположились мы с папой на палубе, на скамейках, где и провели часть ночи. Вечером пароход пристал к крутому берегу Оки, и матросы стали ломать ветки кустарника для маскировки. Ветви укрепляли на верхней палубе и на бортах, так что скоро пароход превратился в большой зелёный куст, ползущий по реке. Мы лежали на скамейках, разделённых перегородкой, и я то и дело приподымалась, чтобы взглянуть за перегородку и убедиться, что папа рядом.

Поздно ночью «куст» причалил к пристани в Коломне, и мы перебрались на железнодорожный вокзал. Поезда в Москву ночью не ходили, ночь предстояло провести на вокзальных скамейках. Почти сразу началась бомбежка. Может быть, бомбили Коломну, а может быть, не прорвавшиеся к Москве самолеты сбрасывали бомбы на подступах к городу. Мне помнится, что грохот взрывов продолжался всю ночь до рассвета. Бежать было некуда, можно было только сжаться в комок на скамейке, ждать и надеяться. В ту ночь бомбы миновали вокзал.

На следующий день мы были в Москве. Я ликовала, с родителями я ничего на свете не боялась, детская вера

---

<sup>30</sup> Центральный Институт Эпидемиологии и Микробиологии, теперь ИЭМ им. Н.Ф. Гамалея)

в неуязвимость родителей была непоколебима. Москва или Алма-Ата – мне было всё равно, лишь бы вместе. Судьба решила иначе.

Сразу же после нашего приезда выяснилось, что маму с работы не отпускают. В то время она была доцентом кафедры инфекционных болезней Второго мединститута и одновременно – начальником кафедры эпидемиологии военного факультета того же института. На военфаке учились студенты-медики, эвакуированные из Одессы и Ростова – они были мобилизованы и стали курсантами военного факультета. Обучали их ускоренными темпами и выпускали под названием «зауряд-врачей», чтобы сразу отправить на фронт. Почти все они попали в группы десантников. Их забрасывали в тыл к немцам, может быть, в организующиеся всюду партизанские отряды, и подавляющее большинство из них или погибло или попало в плен. После окончания войны мама как-то встретила на улице одного из своих бывших студентов и стала расспрашивать о его судьбе. «Всё хорошо, теперь уже всё позади» – отвечал он. Оказалось, он имел в виду не войну, и не немецкий плен, а последующую «проверку» в сталинских лагерях на родине.

Мамино письмо от 17 августа 1941 года: «Мне бы хотелось, чтобы ты хоть раз присутствовала на церемонии моего вступления на территорию аудитории военфака. Теперь у них новый командир, который так зверски кричит «Встать! Смирно!», так отчаянно стучит каблуками, маршируя мне навстречу, когда я вхожу, и так рапортует, зверски выпучив глаза, «Товарищ профессор, 4-ый курс военфака для слушания лекции по эпидемиологии...», что у меня поджилки трясутся, и я невольно тоже стараюсь маршировать в темп его шагов. А когда я говорю (стараюсь тоже бодро, громко, по-военному): «Здравствуйте, товарищи!», вдруг наступает тишина. Это «военфаки» набирают в грудь воздух. Потом раздаётся отчаянное рывканье – «Здрасьт!!!» – и всем сразу становится смешно. И я,

и слушатели прячем невольную улыбку к себе в усы или в то место, где должны быть усы. Мне кажется, им доставляет удовольствие особенно громко рывкаться на меня, так как я к этому непривычна».

Передо мной две пожелтевших от времени бумажки. Одна из них, «Удостоверение от 25 июля 1941 года», сообщает, что «Чернохвостов В.А, заведующий лабораторией микробных антигенов ЦИЭМа, по приказу Наркомздрава СССР направляется в длительную командировку в г. Алма-Ата в институт эпидемиологии и микробиологии для развертывания работы». Под длительной командировкой имелась в виду эвакуация части института. Другая бумажка – мамино заявление от 28 июля 1941 года, адресованное директору Второго мединститута, в котором мама просит «в виду отъезда моего мужа в длительную командировку согласно приказу Наркомздрава в г. Алма-Ата освободить меня от занимаемой должности». И на заявлении жирными чернилами через всю страницу – «Отказать». Мама пыталась объяснить, что она должна увезти из Москвы свою маленькую дочку. «Сколько лет дочери? Десять? Может ехать одна» – заявил её начальник. Противоречить было бессмысленно. В военное время родители ни за что не хотели расставаться, и решение было принято: они остаются в Москве, я возвращаюсь в Новосёлки. Огорчение моё было беспредельно...

Сразу отвезти меня в Новоселки было сложно, и целую неделю я провела в августовской Москве. Бомбёжки были каждую ночь. В 6 часов вечера движение в московском метро прекращалось, станции и тоннели превращались в бомбоубежища. До объявления тревоги в метро пускали только взрослых с детьми. Мы с мамой и ещё одной девочкой из нашего дома шли к ближайшей от нас станции метро Маяковская, вооружившись подстилками и одеялами. Очередь в метро растягивалась вдоль улицы Горького почти до Старопименовско-

го переулка и медленно продвигалась к площади Маяковского. В метро мы спускались по эскалатору на станцию, потом по маленькой приставной лесенке на пути и шли по шпалам в сторону площади Свердлова, отыскивая свободные места для ночлега. Ближайшие к Маяковской места бывали уже заняты, иногда итти приходилось довольно далеко. По обе стороны от рельс лежали на подстилках люди, ногами к рельсам, головой к стенке тоннеля. Наконец, мы находили свободное место и устраивались на ночлег.

Для меня и моей подружки ночёвка в метро была развлечением. Перед сном мы ещё долго бегали вдоль тоннеля, местами он расширялся и на этих «площадях» продавали разную мелочь – тетради, карандаши, книжки. В одну из таких ночей мама купила мне там сборник прекрасных стихов, «Чтец-декламатор», который многие годы был моей любимой книгой. Ночью сквозь сон я слышала топот ног по шпалам – после объявления тревоги шли мимо нас люди. Мама ясно слышала ночью взрывы, я спала крепким сном.

Около 6-ти часов утра вдоль тоннеля по узкому тротуарчику у нас над головами шёл служащий метро и будил спящих, требуя покинуть тоннель. Просыпались с трудом, но фраза «скоро будем ток включать» действовала безотказно – все подымались, свёртывали постели и двигались по шпалам к выходу. По улице Горького и Старо-пименовскому переулку шли мы к нашему дому, и мама говорила мне одну и ту же фразу: «Лёлька, беги вперёд, посмотри, дом стоит?» Я летела вперёд и радостно кричала издали: «Стоит!». Мысль о том, что в доме оставался папа, мне не приходила в голову.

И вот в середине августа я снова в Новосёлках, и снова без родителей. Мой интерес к событиям на фронте разгорелся с новой силой. В нашей избе, конечно, радио не было, только около сельсовета был громкоговоритель на улице. Рано утром, когда все ещё спали, за мной заходила Лёка Фёдорова, девочка из интерната

на несколько лет старше меня, и мы вместе с ней бежали к сельсовету. Любая погода, дождь и ветер, меня не пугала, к ужасу бабушки, которая чувствовала свою ответственность за меня и не имела возможности меня удержать. Утренние сводки передавали в 6 часов утра, к этому времени мы уже стояли у сельсовета – обычно, мы одни. Прослушав одну сводку, ждали следующей – в 7 часов, потом в 7 час. 45 мин. У меня появилась тетрадка, я записывала всё, что услышала. И всегда находила что-то радостное, предвещающее конец войны и победу – и это осенью 1941 года, когда фронт неумолимо приближался к Москве.

## **16 октября 1941 года. Возвращение в Москву**

Наступил сентябрь, а с ним и занятия в школе. Из моей школы родители получили и прислали нам справку о том, что я в 1940–1941 учебном году окончила три класса и переведена в четвертый. И я поступила в 4-й класс сельской школы в Новосёлках.

Учиться мне было легко несмотря на то, что занятия надо было совмещать с работой в колхозе – копали картошку, собирали шиповник. Осень выдалась необычно дождливая, холодная, москвичи в Новосёлках готовились к зиме, и я писала родителям «о наших хозяйственных делах».

«Рамы вторые у нас вставлены в 3-х окнах, на днях вставят в остальные 2 окна. Завалинку завалили, но несмотря на это пол очень холодный, ноги мерзнут. ...Печку топим каждый день. Вчера поставили 3 самовара и вымыли головы. Как только вмажут трубы, вымоемся сами» (5 октября 41 года).

Всё чаще говорили о дальнейшей эвакуации на восток, в Пермь – фронт неуклонно приближался, бомбёжки и у нас становились привычными.

«Сегодня утром я как всегда пошла в школу, пришла – и тут же объявили воздушную тревогу. Нас отпустили домой, велел прийти после отбоя. Едва я пришла домой, как прозвучал отбой. Я пошла в школу. Собралось 5 человек. Тут опять тревога. Нас опять отпустили и велели больше не приходиться. Это было в 10 часов. Сейчас час дня. Отбоя ещё не давали. До 12 часов почти без перерыва бахало. Бомбили Рыбное, Рязань, Дивово и Дягилево» (9 октября 41 года).

В памяти остался страшный случай. Объявили воздушную тревогу, и учительница отправила всех домой. Мы вышли и большой толпой направились по дороге к селу. Вдруг над головой появился немецкий самолет, летевший очень низко – помню не только кресты на крыльях, но кажется, даже лётчика в кабине. Самолёт описывал над нами круг за кругом, пока толпа ребят бежала по дороге, сбившись в кучу. Помню, я кричала, что надо «падать в канаву», но продолжала бежать со всеми вместе. Покружив немного, самолет улетел. Потом я не раз думала, какой лёгкой мишенью была эта толпа ребят, но видно на наше счастье лётчик не был хладнокровным убийцей.

В середине октября должна была уезжать в эвакуацию оставшаяся часть папиного института. Родители решили забрать меня из Новосёлок и уезжать вместе – они боялись, что при дальнейшей эвакуации нашего лагеря могут потерять меня в неразберихе военного времени. В начале октября дядя Коля приехал к нам из Москвы, чтобы начать сборы. А 15 октября ждали папу, который должен был привезти необходимые бумаги для нас с Малюней: в это время детям не разрешали въезд в Москву, и в бумагах было указано, что нас везут для дальнейшей эвакуации.

Эти бумаги сохранились. Справка на бланке военного факультета при Втором мединституте, выданная маме, что Елену Викторовну Чернохвостову 10-ти лет и Людмилу Николаевну Кац 13-ти лет доставляют в Москву для эвакуации в Киров. Ещё одна невзрачная бумажка с гербовой печатью Гороно<sup>31</sup> – разрешение взять детей из школьного интерната для дальнейшей эвакуации. И наконец, пропуск, выданный папе, с разрешением на «въезд и проживание» в деревне Новосёлки сроком на 6 дней и с указанием цели поездки – «переевакуация детей». Пропуск сделан на бланке, который служил в мирное время для въезда в пограничные и запретные зоны (на оборотной стороне пропуска – правила въезда в такие зоны), а в военное время нужен был и для Богом забытой деревни Новосёлки. Бумагам этим не суждено было попасть к нам – наступило 16 октября, и папа не смог выехать из Москвы.

Поскольку в ближайшие дни лагерь переезжал в Пермь, наш отъезд в Москву стал неизбежен. Упаковали вещи, взяли самое ценное из продуктов – мёд, масло, сахар (в Москве уже остро ощущалась нехватка продовольствия), и утром 16 октября погрузились на пароход, идущий из Рязани в Коломну. Наступал конец навигации, приближались морозы – наш рейс был последним. Второй раз за последние 3 месяца я ехала тем же путём в Москву. Перед самым отъездом услышала от кого-то фразу из сводки Совинформбюро: «Положение на фронте резко ухудшилось». Эта фраза прочно застряла в памяти.

Утром 17 октября мы были в Коломне. И тут нас ждала неприятность: так называемые «рабочие поезда», на которые мы рассчитывали, в Москву больше не ходили, потому что заводы в Москве больше не работали... С грудой вещей у пристани мы ждали, пока тётя Соня бегала куда-то, пыталась узнать, как можно

---

<sup>31</sup> Городской отдел народного образования.



добраться до Москвы или где снять комнату для ночлега. Было холодно, и бабушку оставили на дебаркадере в относительном тепле. Взволнованные неопределенностью положения, не сразу заметили, что дебаркадер «отрубает» от берега, чтобы отправить вниз по течению в затон на зимовку. За бабушкой кинулись, когда дебаркадер уже начал отходить от берега, и перетащили её на берег каким-то невероятным прыжком!

Неожиданно перед нашей кучей вещей появился автобус, и водитель спросил, куда мы направляемся. Оказалось, автобус едет в Москву, везет матрацы для какого-то детского дома (тогда?! в Москву?!), и готов подвезти нас. Действительно, весь салон автобуса был набит доверху детскими матрасиками, так что оставалось небольшое пространство под потолком, где можно было не столько сидеть, сколько лежать. Быстро договорились о цене, бабушку посадили в кабину, сами улеглись под потолком, и автобус двинулся в Москву. Было уже довольно поздно, очень хотелось есть. С нами были только «ценные продукты», но ни кусочка хлеба. На несколько сухариков наворачивали масло и мёд и жевали их.

Была уже тёмная ночь, когда автобус внезапно остановился прямо на проезжей части шоссе. Водитель повозился с мотором и заявил, что поломка серьёзная, он сам ничего сделать не может. Ночевать попросились в ближайшую крестьянскую избу, где и улеглись на жёстких деревянных лавках, стоящих вдоль стен. Но сначала хозяева накормили нас картошкой, которая произвела неизгладимое впечатление, и наверное, не только потому, что мы всё были изрядно голодны. Как сейчас вижу на столе черный чугунок, полный горячей картошки с лопнувшей местами светлой кожурой, открывавшей белое, рассыпчатое, сахаристое картофельное нутро. Наверное, это был знаменитый тогда сорт Лорх, названный так по фамилии селекционера. Никогда после ни в России ни в Америке я не встречала

картошки подобной той, которую ела по дороге из Коломны в Москву в октябре 1941 года...

Рано утром, едва рассвело, мы вышли на шоссе «голосовать» – ловить машину, идущую к Москве. Эти утренние часы на шоссе 18-го октября 1941 года не забыть никогда. По шоссе шли люди. Они вышли из Москвы 16 октября. Шли ребята – ученики ремесленного училища, мальчики 10–12 лет, одетые в форму училища. Шли взрослые, старые, дети. Помню старушку, медленно толкавшую детскую коляску, в которой был сложен весь её скарб. Эти люди шли просто на восток из Москвы, уходили от немцев.

Наконец, нам повезло – остановился грузовик, и шофер согласился подвезти нас в Москву. И вот опять – бабушка в кабине, мы в открытом кузове грузовика, я и Малюня накрыты с головой брезентом для маскировки от «страшных застав», которые могли не пропустить детей. Выглядывая из-под брезента, мы вновь и вновь видели вереницы людей, идущих пешком из Москвы.

Ожидались на нашем пути 7 застав – совсем как в сказках, из них самая страшная седьмая – Абельмановская. Но никаких застав не было, никто нами не интересовался – утром 18 октября город был всё ещё объят паникой.

\* \* \*

В эти же дни папа пытался выехать к нам в Новосёлки. Целый день 15 октября он провёл на Казанском вокзале, стараясь попасть на поезд в Рыбное – безуспешно. Вечером итти домой было уже нельзя – для ночной Москвы нужно было иметь специальный пропуск. И папа остался на вокзале, прикорнул на скамейке. Очнулся он под утро от гула голосов. Вокзал был полон людей, собирались группами, то и дело слышались голоса, объявляющие названия разных наркоматов, управлений, институтов. Шла массовая эвакуация, похожая на бегство. О поездке в Рыбное нечего было и

мечтать, и папа отправился домой. Мама дома уже не было, она рано уходила читать лекции. Папа прилёг на диване и уснул, ничего не зная о панике.

Мама тем временем шла по Калужской улице к военфаку. Потом она рассказывала, что на улице ощущалось напряжение: люди то и дело оглядывались, смотрели, не входят ли немцы? «Будет ли сегодня лекция?» – спросила мама начальника военфака. Он ответил удивленно – «А как же? конечно!». И весь курс, как всегда, гаркнул свое «Здрасьт!»

Папу разбудил звонок от директора ЦИЭМа Янкелевича: «Завтра уезжает последняя группа сотрудников, собирайтесь!» И в голосе – выразительный намек: или хотите немцев дожидаться?! Звонок этот повторялся, а папа всё тянул с ответом, говорил, что вот-вот должна вернуться дочь из Рязани. Нашего приезда ждали с часу на час, а вестей всё не было. Родители не знали, что делать. И вдруг вечером 17 октября – звонок от знакомой учительницы – «Ваши едут в Москву, их видели в Коломне» (кого-то из знакомых встретила там тётя Соня). И сразу всё стало ясно: уезжать нельзя, надо ждать нас. Папа отказался уезжать с ЦИЭМом, выслушал откровенные угрозы Янкелевича, попытался что-то ему объяснять...

Мы вернулись утром 18 октября. Вещи с грузовика скинули на углу Воротниковского и Садово-Триумфальной, по частям перетащили их к дому. Мама, папа, Москва – я была абсолютно счастлива! Обед в нашей большой комнате. А мама еле слышно говорит, наклонившись ко мне: «Лёлка, но ты знаешь, что Москву сдают немцам?» Я смеюсь в ответ – мне ничего не страшно, когда я дома с родителями...

Мне трудно сейчас объяснить, как решились остаться в Москве мои родители и семья дяди Коли, почему не бежали они без оглядки сразу после нашего возвращения из Новосёлок? Ведь если бы Москву сдали немцам, нашим семьям вряд ли удалось бы выжить.

Может ли быть, что в октябре 1941 года родители ещё не знали о поголовном истреблении евреев на оккупированных немцами землях? Или ко времени нашего приезда пик паники миновал, появилась надежда на сохранение Москвы?

Как возникла паника 16 октября? Удивительно мало написано об этом. Когда-то писать и говорить об этом было нельзя, а потом, очевидно, не хотелось возвращаться мыслью к таким негероическим дням в столице.

Позже в мои руки попала книга Александра Верта «Россия в войне. 1941–1945»<sup>32</sup>.

Положение на фронте к середине октября действительно было критическим: 12 октября пала Калуга, затем Калинин, Можайск, а 14 октября бои шли уже в районе Волоколамска, в 80 км от Москвы. 12 и 13 октября из Москвы в Куйбышев эвакуировали часть аппарата ЦК, ряд государственных учреждений, включая многие наркоматы, и весь дипломатический корпус.

Но по-видимому, непосредственным толчком к панике, охватившей Москву 16 октября, послужила мрачная по стилю сводка Совинформбюро, которую я и услышала перед отъездом из Новосёлки. До той поры, как пишет Верт, сводки «давали только смутное представление о том, где шли бои, но люди скоро научились читать между строк. Сообщение о боях на Минском направлении или на Смоленском направлении означало, что эти города уже сданы, ...выражение «тяжелые оборонительные бои против превосходящих сил противника» означало, что части Красной Армии терпели поражение на данном участке». Я вспоминаю штампованную фразу о том, что наши войска «отошли на заранее подготовленные позиции». И вдруг неожиданно утром 16 октября появилось сообще-

---

<sup>32</sup> Книга корреспондента Санди таймс и Би-Би-Си А. Верта вышла на английском языке в 1964 году, в русском переводе – в 1967 году. А. Верт – англичанин, наполовину русский по крови, всю войну был в России и настроен был просоветски. В 1968 году Верт, потрясённый вторжением советских войск в Чехословакию, покончил с собой.

ние: «В течение ночи 14–15 октября положение на Западном фронте ухудшилось. Немецко-фашистские войска бросили против наших частей большое количество танков, мотопехоты и на одном участке прорвали нашу оборону».

Почему появилась такая фраза? В этот день фронт не был на самом близком расстоянии от Москвы. Во время второго наступления немцев под Москвой (17 ноября – 5 декабря) они захватили Клин на севере и Истру на западе, откуда, по воспоминаниям немецких генералов, «можно было видеть Москву в сильный полевой бинокль».

16-го октября впервые в Москве не открылось метро. Перестали работать заводы. Пригородные поезда были отменены. Охраны нигде не было, свирепствовали мародёры – грабили магазины, вскрывали склады. На шоссе Энтузиастов толпа останавливала машины убежавшей «номенклатуры» и грабила их.

17 октября папа пошел в ЦИЭМ, в свой отдел, взглянуть, что делается в оставленном институте. В виварии визжали голодные морские свинки, ни еды ни персонала не было, и папе пришлось усыпить всю массу оставшихся беспризорными животных.

Упорно говорили о том, что «всё минировано». Я знала из первых рук, что заводы и фабрики были подготовлены к взрыву. Сейчас на основании документов установлено, что «ликвидации подлежали не только военные заводы, но и хлебозаводы, холодильники, мясокомбинаты, вокзалы, трамвайные и троллейбусные парки, мосты, электростанции, а также здания ТАСС, Центрального телеграфа и телефонные станции. Иначе говоря, жизнь в городе должна была стать невозможной»<sup>33</sup>.

На Лубянке летал пепел и черные кусочки обгоревшей бумаги – перед бегством всемогущие чекисты жгли документы. Многие учреждения и предприятия

---

<sup>33</sup> Л. Млечин. Октябрьский позор Москвы. Жизнь №36 (497) от 2 октября 2006 года.

поспешно эвакуировались, многие люди уезжали сами, как могли, или уходили пешком. Говорили, что в Химках видели немецкого мотоциклиста, что немцы высадили десант. Потом многие говорили, что немцы просто не знали о панике, охватившей город – иначе Москву они могли взять небольшим десантом. Другие утверждали, что паника была только в городе – фронт держался по-прежнему.

В последующие после 16 октября дни паника постепенно стихала. 17 октября выступил секретарь ЦК и МГК Щербаков и сообщил, что Сталин в Москве, и что Москву не собираются сдавать. С паникой начали бороться привычными жёсткими методами: 19 октября в Москве было введено осадное положение, по которому следовало «провокаторов, шпионов и прочих агентов врага ...расстреливать на месте».

## **Москва во время войны**

С октября 1941 года началась моя жизнь в военной Москве.

После отъезда ЦИЭМа в эвакуацию папа поступил на работу в городской бактериологический институт (Горбак), который находился совсем рядом с нашим домом, в Успенском переулке. Он стал заведовать иммунологической лабораторией, занимался вакцинами против кишечных инфекций. Сотрудники института получали «броню», т.е. их не призывали в армию, так как институт работал на военные нужды, например, готовил вакцину против сыпного тифа для армии. Директором института был Иван Иванович Шатров, личность весьма примечательная, я пишу о нём дальше.

После эвакуации военфака и Второго мединститута мама тоже оказалась без работы. Осенью 41-го года она

поступила в Краснопресненский райздрав<sup>34</sup> на должность районного эпидемиолога – чисто практическую работу. Райздрав помещался недалеко от Никитских ворот, в Хлебном переулке, и я часто приходила туда к маме. В Москве той поры, когда в большинстве домов не работали ни канализация, ни служба вывоза мусора, когда антисанитарные условия жизни приводили к распространению вшивости, вполне реальной была угроза кишечных инфекций и сыпного тифа, постоянных спутников войны, и работа эпидемиолога была особенно тяжёлой и сложной.

### Холодная зима 1941–1942 года

В ту осень сильные морозы начались очень рано. Ещё в начале октября мама писала мне в Новосёлки, как они мёрзнут, но бодро сообщала, что «к котельной нашего дома завезли 4 грузовика угля», а «папа купил электрокамин». Увы, эта бодрость не имела оснований.

Многим знакомы кадры кинохроники – парад 7 ноября 1941-го года на Красной площади, заснеженной, зимней, морозной. Войска проходили мимо трибун и прямо с площади уходили к линии фронта. Такая же ранняя и суровая зима была и в 1812 году, во времена нашествия Наполеона, и так же как для французов тогда, морозы оказались губительными для немецких войск. Но и армия и население Москвы платили дороговую цену за эти спасительные морозы.

Запасы топлива в котельных домов очень быстро истощались. Где-то удавалось поддерживать едва теплые батареи центрального отопления, но во многих местах вода замерзала, чугунные батареи лопались, система отопления в целых секциях домов выходила из строя. Нашей квартире ещё повезло: чуть теплые батареи сохранялись всю зиму, в квартире была температура выше нуля, хотя и не более 5 градусов. В квартире на-

---

<sup>34</sup> Районный отдел здравоохранения.

против был мороз: замерзшая вода разорвала батареи, частично вылилась на пол и образовала настоящий ледяной каток.

Пожалуй, из всех лишений этого самого тяжёлого времени в Москве был именно холод. Даже для меня. Трудно представить себе, каково было моей 85-тилетней бабушке. Дома не раздевались, оставаясь в шерстяных носках, валенках, свитерах и ватниках с химическими грелками в карманах для согревания рук. Не помню, трудно ли было добывать эти грелки. Это были пакеты из прочной бумаги, куда наливалась вода, и пакеты закупоривались. Химическая реакция, которая шла при добавлении воды, сопровождалась выделением тепла. Зажав руками пакеты в карманах ватника, можно было согреть на какое-то время руки. Тем не менее у меня от постоянного охлаждения суставы пальцев распухали, краснели и сильно чесались. Химические грелки закладывали вечером под одеяла, чтобы хоть немножко согреть постель. Утром вылезать из постели в «бодрящую» атмосферу комнаты было очень трудно.

Не работала канализация. Пользовались ночными горшками, которые выносили во двор – все нечистоты, мгновенно замерзающие, выливали около помойки, и там из них образовался настоящий ледяной Эверест.

Мыться было невозможно – мытьё заменили кое-каким обтиранием. Очень скоро появились головные вши – и у меня, и у Малюни, и у бабушки. Мама боролась с ними, вычёсывая частым гребешком с ватой и иногда мыла нам волосы дегтярным мылом.

Папин электрокамин оказался бесполезным. Электричество оставалось, но был введён жёсткий лимит на потребление электроэнергии. Пытались жульничать – отводили ток от лампочки на батарею отопления. Эти приёмы были хорошо известны, время от времени приходили с проверкой, и потому при звонке в дверь у нас быстро убирали провод, ведущий к батарее. Конечно, ни о камине, ни об электрической плитке речи не было,



хорошо ещё, что у нас почти всегда было освещение. Тем не менее, иногда приходилось пользоваться свечками, купить которые было почти невозможно. Папа делал свечки сам, заливая воск в стеклянные трубки, со вставленным в них фитилем.

### **Бомбежки**

Осенью и зимой 1941 года тревоги и бомбежки стали привычными. Привычными стали окна, заклеенные крест накрест бумажными полосами. Привычным стало затемнение: лампочки синего света в подъездах домов, на окнах – шторы затемнения из плотной темной бумаги. Каждый вечер бригады девушек в военной форме поднимали в воздух отдохавшие на московских бульварах «аэростаты заграждения»- огромные баллоны-дирижабли. Они повисали над городом, и стальные тросы, державшие их, создавали сетку в московском небе. Вечерами в темном небе шарили прожектора, искали, не прорвались ли немецкие самолеты. Все высокие здания в центральной части Москвы были зарисованы так, чтобы сверху возникало впечатление нескольких маленьких домиков или скверов. На Театральной площади, прямо напротив Большого театра, где теперь сквер с голландскими тюльпанами, был выставлен сбитый над Москвой немецкий самолет. Вокруг него всегда толпились любопытные.

По переулкам маршировали, стараясь попасть в ногу, группы удивительно штатских людей – это обучали московское ополчение. Ополченцы были пожилыми людьми, совершенно не готовыми физически, нетренированными, необученными. Их бросили плохо вооруженными в подмосковные бои осенью 1941 года на верную смерть.

Мы уже не ходили каждую ночь в метро, и даже не всегда спускались в бомбоубежище, оборудованное в подвале нашего дома. С родителями у меня был твердый договор: днём, когда они на работе, я при объём-

лении тревоги немедленно спускаюсь в бомбоубежище. Вечером и ночью, когда мы все вместе, мы остаёмся в нашей квартире на 4-м этаже. Всё тот же принцип – главное, не быть врозь. Впрочем, папа по тревоге должен был идти дежурить на крышу, а кроме того, часто оставался на ночные дежурства в институте. Бабушка при тревогах всегда оставалась у себя в комнате.

Радио не выключали никогда. Днём, услышав глубокий баритон Левитана – «Граждане, воздушная тревога», повторявший это сообщение несколько раз в течение 1–2 минут, я спускалась вниз вместе с Малюней. В подвале собиралась толпа перепуганных женщин, тащивших узлы с вещами в надежде сберечь хоть что-то, если верхние этажи будут разрушены. Мы, несколько легкомысленных подростков, устраивали в бомбоубежище игры, веселились, хохотали, раздражая этим окружающих. Услышав голос Левитана: «Угроза воздушного нападения миновала – от-бой!», бежали на улицу в поисках мелких осколков от зенитных снарядов.

Свист падающих бомб я помню очень хорошо – долгий, назойливый, нарастающий. И затем взрыв. Но откуда-то пришла удачно придуманная легенда: «Если слышишь свист бомбы – значит, она в тебя не попадет». Вероятно, это не так, но для нас эта легенда была очень утешительной.

Помню много разрушенных бомбежкой зданий. На площади Маяковского прямым попаданием разбило небольшой дом, где находился ювелирный магазин. Бомба попала во двор магазина «Овощи-фрукты» на улице Горького около Старопименовского переулка. От взрыва сильно пострадала наша школа, а у нас дома вылетели стекла из окон. Помню взрыв, раздавшийся совсем близко от нас однажды утром – кстати, без объявления воздушной тревоги. Мама только что ушла на работу, а я побежала смотреть. Бомба (или зенитный снаряд) попала в дом на углу улицы Горького и Дегтярного переулка, попала как-то сбоку, засыпала бомбоубежище, но

не повредила верхние этажи. Когда я подошла, дом уже был огорожен наскоро сколоченным забором, и там работали спасатели.

Когда родители возвращались домой, мы уже не обращали внимания на объявление воздушной тревоги. Ели, ложились спать, но радио не выключали, чтобы хоть сквозь сон услышать отбой и продолжать спать. Тревоги были иногда по несколько раз в сутки. Однажды ночью объявили тревогу, а потом неожиданно прозвучал голос Левитана: «Произошла техническая ошибка, в Москве тревоги нет». Мы очень развеселились, заснули, и вдруг снова разбудил голос Левитана: «Граждане, спокойно отдыхайте, в Москве тревоги нет». Посмеялись, заснули снова. Но ещё не раз повторял Левитан эту фразу, явно мешавшую спокойно отдыхать. Голос Левитана для моего поколения навсегда связан с войной. Это объявление воздушных тревог и отбоя, а позже – объявления о взятии городов и о салютах в честь этих побед. Вообще же в 11 лет всё переносится легко, в том числе и трудности военного времени. И сейчас, сама мать и бабушка, я понимаю, насколько тяжелее приходилось в эти годы моим родителям.

В 1942 году бомбежек было очень мало (последняя тревога прозвучала в марте), а в 1943-м их не было совсем. Тем более запомнился мне взрыв на Камушках в январе 1943 года, потрясший Москву.

В утро взрыва мы проснулись в 6 часов утра от странного ощущения – наш дом качнулся из стороны в сторону, словно коробок спичек, поставленный на ребро. Звук взрыва не было, но ощущение взрывной волны было очень ясным. В окнах открылись незапертые форточки, в буфете посуда сдвинулась к дверцам. Папа в этот день дежурил в институте, и мама кинулась звонить ему. Телефон был занят – папа звонил нам. Выяснив, что и в институте и у нас всё нормально, мы снова заснули. Утром на работе у мамы все говорили одно и то же: «Около нас был сильный взрыв, во всяком случае –

сильная взрывная волна». Говорили люди, жившие в разных концах города.

Потом выяснилось - произошел взрыв на заводе авиабомб, расположенном на так называемых Камушках, в удалённой от центра части Краснопресненского района. Взрыв произошёл в 6 часов утра, во время утренней смены - погибли рабочие двух смен. Позже, весной, я видела на этом месте огромный пустырь - это было недалеко от наших огородов на Черногряжской улице. Об этом взрыве я никогда ничего не читала, а «агентство ОГГ», конечно, говорило о диверсии.

### **Голодные времена**

Не помню точно, когда были введены карточки на продукты питания и промышленные товары (одежду, обувь и т.д.) – наверное, в августе. Но после введения карточек ещё некоторое время можно было купить некоторые продукты и без карточек, но по более высокой цене.

Память не позволяет отнести события к определенному времени. Помню полупустые продовольственные магазины, в витринах которых красуются башни из консервов chatka с мясом дальневосточных крабов. Современный деликатес совершенно не пользовался спросом в то время, и консервы с мясом крабов, очень дешёвые, были едва ли не единственным продуктом, долго сохранявшимся на прилавках магазинов. Было это в конце июня? Или в августе, когда я приезжала в Москву на неделю? Или память подводит меня, и эта картина относится ко временам предвоенного дефицита продуктов? Точно знаю, что когда мы в октябре 1941-го года вернулись в Москву, продукты можно было покупать только по карточкам.

Сохранились у меня последние карточки на декабрь 1947-го года, использованные не полностью, и даже справка для получения карточек на январь 1948 года. Справка не пригодилась – в 1948 году карточки были отменены.

Хлебная карточка с индексом Ш-К (школьник, то-есть моя) – норма хлеба 400 г. в день, из них 200 г. пшеничного, 200 г. ржаного. Хлебная карточка бабушки, иждивенца, с индексом И – норма хлеба 250 г. в день, из них 100 г. пшеничного, 150 г. ржаного. И наконец, карточки с индексом Н-Р, научный работник (эти карточки родителей появились поздно и были равны рабочим карточкам; сначала родители получали карточки служащих) – норма хлеба 550 г. в день. На всех карточках грозное предупреждение – при утере не возобновляется. Это я помню хорошо – потеря хлебной карточки была настоящей трагедией.

Карточки на другие продукты, сохранившиеся у меня, частично использованы, но норму можно увидеть на корешке карточки. Эти цифры, однако, мало говорят о действительном положении дел. В самом деле, 600 г. «мясо-рыбопродуктов» – это хорошо при том, что есть овощи, картофель, молоко, масло. Но ведь и «крупа-макарон» – только 1 или 2 кг на месяц. А эти «мясо-рыбопродукты», даже когда удастся «отovarить» карточку (а удаётся не всегда, карточка может остаться пустой бумажкой), это всё с костями и хрящами, из этого надо ещё суметь сделать что-то съедобное. Нет, цифры тут беспомощны, вернее передать оставшиеся в памяти ощущения.

Когда я вернулась в Москву, сахара уже не было, был сахарин, его крошечные таблетки делали чай сладким, но оставляли неприятный металлический привкус. Как-то осенью случилась неожиданная радость – папа принес пакет сахарной пудры, которую распределили между сотрудниками института после закрытия производства каких-то таблеток. И ещё – я однажды обнаружила в старом школьном ранце конфету Мишка косопалый! Событие незабываемое!.. Помню, что съела ее немедленно, не вставая с коленок – в такой позе я вытаскивала и исследовала свой школьный ранец... И сразу изрекла: «Конфета милая была, она в волненье привела давно умолкнувшие чувства»...

Мама на своей работе районного эпидемиолога получала специальный паёк, называвшийся УДП<sup>35</sup>. Это был более чем скромный обед, который давали ежедневно в столовой у Никитских ворот. Мама вызывала меня туда телефонным звонком, мы встречались у входа в столовую и обедали вместе: суп делили пополам, а второе съедала я одна. При этом совсем не думала о том, что мама остаётся голодной...

Я и бабушка были в привилегированном положении в семье и получали лучший и больший кусок. Наверное, именно поэтому я не помню острого чувства голода. Родители, как я поняла только значительно позже, голодали по-настоящему.

Немного о бабушке. У неё была карточка иждивенца, то есть она была официально признана человеком, находящимся на иждивении работающей дочери, хотя и получала пенсию после смерти бабушки – «по случаю потери кормильца». Эта пенсия, как и другие виды пенсий в то время, были чисто символическими, жить на пенсию было невозможно. В бюджет семьи бабушкина пенсия мало что прибавляла, а бабушка с её толстовско-христианским мировоззрением хотела помогать бедным и отдавала свою пенсию нищей старушке, Максимовне, которая регулярно раз в месяц приходила к ней – точно в тот день, когда приносили пенсию. Не знаю, откуда взялась эта Максимовна, всегда в черном, с головой, повязанной черным платком.

Зимой 1941–1942 года, в гололед, Максимовна упала и сломала ногу, мы с Малюней по указанию бабушки отправились к ней домой отнести бабушкину пенсию и кое-какую еду. Жила Максимовна в районе Тверских-Ямских улиц. Убогая коммунальная квартира, холодная и темная комната с парашей, и Максимовна на кровати, укутанная каким-то тряпьем. Помню в душе я немного гордилась,

---

<sup>35</sup> Усиленное Дополнительное Питание. Народ раскрывал это сокращение иначе – Умрешь Днём Позже.

что мы сделали доброе дело, отвезли что-то Максимовне. Но больше мы туда не ездили. Может быть, ее перевезли в больницу, а вернее, она недолго прожила.

Иметь карточку ещё не значило иметь продукты. Все доставалось после поисков, удач и разочарований, бесконечных очередей и волнений – достанется или не достанется. В карточках помимо талонов на определённые продукты были и пустые талоны, по которым вдруг иногда что-то выдавали, всегда что-то неожиданное – то мыло, то спички, то что-то съедобное. Вспоминаю очереди на улице за «суфле» (так назывался некий суррогат молока), отпускали его по талонам.

В это время мама нашла домработницу – без её помощи родители не могли бы справиться с добычей продуктов. Шура была одинокой женщиной неопределенного возраста и с дефектом развития<sup>36</sup> – маленького роста, с непропорционально короткими ногами и руками. Шура даже ухитрялась ладить с бабушкой, что было очень сложно, и с большим энтузиазмом «охотилась» за продуктами. Прожила она в нашей семье несколько лет, и позже, уже после войны, к удивлению всех окружающих, вышла замуж, поселилась с мужем недалеко от нас, родила ребёнка. Мы часто потом встречались, гуляя с детьми, и всегда очень радостно.

Зима 1941–1942-го года была самым голодным временем. Летом 1942-го появились собственные огороды и, следовательно, свои запасы картошки и овощей. Москвичи получали участки за городом, а кроме того было разрешено расчищать под огороды свалки и пустыри в черте города. Один из участков родители получили в районе Царицыно, довольно далеко от станции. Участок был большим – 4 сотки (400 квадратных метров). Распахать землю помогли, а сажать, окучивать, удобрять картошку и собирать урожай приходилось нам

---

<sup>36</sup> Брахи...

втроём. Работать приезжали по воскресеньям. Картошка у нас росла образцовая: ровные полосы, дружно цветущие, казались самыми красивыми среди других участков. Но однажды мы приехали и обнаружили, что грядки наши перекопаны и добрая половина урожая украдена. Очень было обидно... Ещё один участок родители получили у станции Красный Строитель. Там земля была тяжёлая, глинистая, и картошка выросла не такая красивая как в Царицыно. Урожай тащили к станции в рюкзаках. Очень живо помню маму, маленькую, хрупкую, идущую по тропинке через поле с огромным рюкзаком. А у неё с молодости было большое сердце, отёки на ногах...

Были у нас и городские участки. Недалеко от станции метро Парк Культуры, на улице Метростроевская (теперь вновь Остоженка) стоит Московский институт международных отношений (МИМО).

Это здание во все времена было занято привилегированными учебными заведениями, разными в разные исторические периоды. До революции там было учебное заведение имени кого-то из великих князей, предназначенное для отпрысков российских аристократических семей. После революции там же разместился Институт красной профессуры, куда могли поступить только пользующиеся доверием партийные деятели – большевикам нужны были свои красные профессора. И наконец – МИМО, институт для тех, кому можно было доверить дипломатическую работу и поездки за границу.

Обширный двор института, расчищенный от мусора, был отведен под огороды для членов Дома учёных. На каждого полагалось по 10 кв. метров, и мои родители, оба члены Дома учёных, получили грядку вдвое шире, чем у большинства. Это были мои владения, я ухаживала за этой грядкой. Основная часть была засеяна морковью, а по краям, в бока грядки, посадили чёрную редьку – она выросла огромная, с голову новорожден-



ного. Я ездила на метро поливать и полоть нашу грядку, а осенью собирала урожай. Морковь мыла, резала тонкими кружками, нанизывала на толстые нитки и развешивала оранжевые гирлянды в комнате для суши – запасала на зиму.

Ещё один городской участок мама получила от Краснопресненского райздравица, где работала эпидемиологом. Этот участок был довольно далеко от нас, на Черногряжской улице. Там была свалка, и её расчищали все сотрудники райздравица и других учреждений района – собирали и вывозили стекло, битый кирпич и прочий мусор. И под мусором появлялась жирная, черная земля. Этот участок был тоже под моим надзором. Кажется, огород на Черногряжской оставался у нас всю войну – во всяком случае, включая год 1943, когда произошел взрыв на заводе авиабомб неподалёку, о чём я писала.

Осенью 1942 года наша семья, как и многие другие московские семьи, уже не стояла перед угрозой голода. Но как сохранить это богатство в московской квартире, где нормально работает отопление? Для картошки в прихожей отгородили фанерой угол около входной двери, там помещалось несколько мешков картошки. Осенью картошка была великолепной, а к весне она становилась коричневой и была пригодна только для малосъедобных запеканок.

Огороды были важным дополнением к продуктам, выдававшимся по карточкам. Кроме того, для меня и бабушки родители покупали безумно дорогие продукты на рынке – топленое масло и мёд. Когда мама получала зарплату, мы вместе с ней отправлялись на Центральный рынок. Килограмм мёда стоил 1000 рублей, и килограмм масла – столько же. Цифры мало что говорят, но помнится мне, что на рынке мама оставляла почти всю свою зарплату.

В 1943 году родителям стали выдавать обеды от Дома ученых. Их можно было получать «на вынос» в столовой, находившейся в подвальном этаже старо-

го здания университета на Моховой улице. Приносить обед домой входило в мои ежедневные обязанности. Я шла пешком по улице Горького вниз до Манежной площади, стараясь пристроиться за кем-нибудь из военных и наблюдать, как он отдаёт честь встречным военным. Это развлекало меня.

Постепенно система льгот на продукты становилась всё более сложной. Появились так называемые «лимитные книжки», по которым можно было покупать кое-какие продукты, а также промтовары – одежду, обувь. Лимит А был для советской «номенклатуры», а лимит Б – для граждан помельче, в том числе для научных работников. Владельцы лимитных книжек прикреплялись к определенным магазинам по месту жительства.

Кажется, в том же 1943 году стали появляться американские консервы. Многие годы спустя воспоминания о них продолжали тревожить воображение – казалось, ничего более вкусного в природе не существовало. Колбасный фарш в высоких, квадратных в поперечном сечении банках, открывавшихся ключиком, прикрепленном к верхнему краю банки. Яичный порошок, из которого можно было делать умопомрачительно вкусные омлеты. И вершина – консервы Sliced bacon с длинными и тонкими, розоватого оттенка ломтиками сала, вертикально уложенными в небольших круглых консервных банках. Всё это не без иронии называли «второй фронт». Открытия союзниками второго (западного) фронта, который должен был отвлечь от России силы немецкой армии, ждали с первого дня войны. Союзников обвиняли и официальная пресса и граждане в намеренном затягивании открытия второго фронта. Я тогда не представляла себе всех сложностей этого шага для западных держав и как и все обвиняла их в эгоизме. Но продовольственный «второй фронт», очень важный для жителей, появился задолго до высадки в Нормандии, и даже в Италии, и те консервы, которые мы видели в тылу, были только верхушкой айсберга. По так называ-

емому ленд-лизу<sup>37</sup> армия была накормлена, обута и одета американцами. Помню у солдат ботинки-вездеходы, называемые почему-то «студебеккерами», очевидно, по аналогии с американскими же вездеходами-грузовиками. Кстати, в армии появилось в то время множество американских машин – студебеккеров, виллисов, доджей.

## Школа № 175

Зимой 1941–1942 года школьных занятий в Москве не было – большинство детей было эвакуировано, да и организовать занятия в тот год было невозможно. Но весной 1942-го в нескольких школах организовали приём экзаменов для тех, кто готовился самостоятельно и не хотел пропускать год. Я занималась в течение всего года, а потом интенсивно готовилась к экзаменам. За 4-й класс мне надо было сдать 8 экзаменов – больше, чем сдавали потом в 7-м классе за неполную среднюю школу.

В сентябре 1942 года открылись московские школы, и я поступила в 5-й класс своей довоенной школы № 175. Здание школы было сильно повреждено взрывной волной<sup>38</sup>, и заниматься мы начали в помещении

---

<sup>37</sup> *Lend – Lease*

<sup>38</sup> По некоторым данным школа была разрушена прямым попаданием. Мне помнится, что здание было повреждено взрывной волной от прямого попадания бомбы в магазин «Овощи и Фрукты» на улице Горького (теперь Тверская), поскольку магазин и школа почти соприкасались дворами. Есть также данные, что угол здания был разрушен снарядом (зенитным?). Пишут о том, что во время ремонта школы здание надстроили, и она стала 5-ти этажной. По моим воспоминаниям надстройка была сделана позже – во всяком случае после 1948 года, когда я уже окончила школу.

школы № 169 в Успенском переулке, а после уроков ходили разбирать вещи в разрушенных кабинетах нашей школы. К январю 1943 года помещение было отремонтировано и готово к приему учеников.

В моих довоенных школьных воспоминаниях я обещала рассказать об истории моей школы и сделаю это сейчас – она того заслуживает.

### **История школы**

До середины девятнадцатого века в России частных школ не было. При царе Александре Втором частные школы были разрешены.

«В 1857 году по ходатайству Санкт-Петербургского и Московского попечителей было разрешено открывать частные учебные заведения, не ограничивая их числа»<sup>39</sup>.

Среди первых в Москве основал свой пансион Франц Иванович Крейман, опытный педагог, выпускник Дерптского университета. Он решил положить в основу преподавания западноевропейскую классическую программу. В пансионе в начале было всего 4 ученика, располагался он на третьем этаже дома по 1-й Мещанской улице. Но число учеников росло, и скоро достигло почти 200 человек. В 1860 году школа переехала на Петровку в бывший особняк купца Михаила Губина, а в 1865 году император Александр II даровал право переименовать частный пансион Креймана в частную мужскую гимназию, ставшую одной из первых в России.

«В 1901 году Франц Иванович передаёт руководство гимназией своему сыну, Рихарду Францевичу. Вскоре

---

<sup>39</sup> *Ольга Траханова*. Школа, где учились дети Сталина. <http://bg.ru/blogs/posts/11528/>

*Егор Сенников*. «Здесь учились дети Сталина, Берии и Микояна...». <https://aurora.network/articles/23-istorija-i-filosofija/62577-zdes-uchilis-deti-stalina-berii-i-mikojana-kak-chastnaja-gimnazija-stalashkoloy-dlja-partijnoy-jelity>

принимается решение построить «новый дом» для гимназии, и в 1904 году архитектором Николаем Львовичем Шевяковым<sup>40</sup> в Пименовском переулке<sup>41</sup> возводится трехэтажное кирпичное здание будущей школы».

Строительство здания Общество выпускников гимназии осуществило на собственные деньги. Надо отметить, что члены Общества выпускников гимназии Креймана часто были выходцами из богатых семей, крупными меценатами и промышленниками. Среди выпускников было немало людей, добившихся многого в жизни. Гимназию закончили дети известного московского купца Абрикосова. Алексей Иванович Абрикосов стал выдающимся патологоанатомом, его брат Дмитрий – дипломатом (после революции 1917 года в Россию не вернулся). Гимназию закончили дети сахарозаводчика Терещенко. В здании на Петровке учились будущий революционер и философ Илья Фондаминский, историк Юрий Готье, физик Александр Эйхенвальд, филолог Алексей Шахматов, поэт Валерий Брюсов.

Трехэтажное здание школы в Старо-Пименовском переулке имело красивый полукруглый вход с лестницей в несколько ступеней, колоннами и навесом. Внутри широкая, отделанная мрамором лестница шла от входа вверх. Между первым и вторым этажами она разделялась на две, которые с двух сторон поднимались к актовому залу на втором этаже. Зал был просторный, двухсветный, с окнами от пола до потолка и полукруглым балконом, расположенным на крыше навеса над колоннами входа. Рядом с залом справа была комната учителей и кабинет директора, слева от зала – классные комнаты.

---

<sup>40</sup> Ему же принадлежит здание «Метрополя» и Галерея Румянцевского музея в Доме Пашкова.

<sup>41</sup> С 1922 года – Старо-Пименовский переулок.

\* \* \*

Вскоре после 1917 года история гимназии Креймана прервалась. Она была национализирована, Рихард Крейман лишен должности. В здании школы по разным данным располагались ветеринарный институт, училище, польская школа, затем обычная трудовая московская школа №38.

В 1930-е годы планировалось преобразование начального и среднего образования и создание образцовых школ для подрастающих детей советской элиты. В 1931 году школу №38 превратили в 25-ю московскую образцовую школу, куда поступили дети Сталина.

В 1937 году существование образцовых школ было признано нецелесообразным, и 25-ю школу переименовали в московскую 175-ю школу. Я поступила в эту школу в 1938 году, поскольку она относилась к моему микрорайону. О моих первых школьных годах я писала раньше, сейчас – о военном времени.

### **Возвращение к старым порядкам**

В 1943 году в школах Москвы, а позже в школах всего Союза, было введено раздельное обучение для девочек и мальчиков. Организовать отдельные школы в середине учебного года было невозможно, ограничились полумерами. У нас в школе были введены занятия в две смены: девочки – с утра, мальчики – в тех же классах с середины дня. Я вспоминаю, что именно с этого момента изменились отношения между мальчиками и девочками – встречи между сменами приобрели оттенок свиданий, в партах стали оставлять друг другу записочки. В некоторых школах девочки и мальчики занимались одновременно, но в разных классных комнатах. К следующему учебному году в большинстве школ Москвы уже были организованы отдельные мужские и женские школы, позже то же самое было сделано в других городах и республиках.

По сути это было возвращением к прежним дореволюционным порядкам. Такое возвращение к прошлому происходило и во многом другом. Была «реабилитирована» религия, церквям было разрешено призывать к священной всенародной войне. В армии «красноармейцев» или «бойцов» стали называть солдатами, «командиров» (комвзвода, комроты и так далее) – «офицерами»: появились лейтенанты, капитаны, майоры, потом даже генералы. Слова эти поначалу резали слух – слишком долго существовали они только в ругательном смысле – белые офицеры, «офицерье». Восстановлена была и старая форма – погоны, прочно связанные со старой русской (и белой!) армиями. Наконец, Красную Армию переименовали в Советскую Армию. И в этом же контексте появление отдельных мужских и женских школ воспринималось как ещё один элемент реставрации прошлого. Вероятно, в это тяжёлое время Сталину прошлые порядки показались более надёжными. Раздельное обучение продолжалось до 1954 года. После смерти Сталина школы были вновь объединены.

Вслед за разделением на мужские и женские школы в некоторых школах была введена форма. Раньше одежда школьников не регламентировалась – только праздничная пионерская форма была определена чётко: «белый верх, темный низ», что означало белые рубашки (блузки) и темные брюки (юбки). Но в нашей школе и до войны мальчики и девочки должны были носить поверх платья тёмные сатиновые халатики с белыми воротничками. Новой формой для девочек были тёмно-синее платье с белым воротничком и чёрный (в праздничный день – белый) фартук, для мальчиков – темно-серый костюм и белая рубашка. В разгар войны, в обстановке жесточайшего дефицита, форма фактически была введена только в отдельных школах, включая нашу.

В связи со школьной формой вспоминается такой случай. После возвращения из эвакуации в нашу школу пришла девочка Валя Тарарова, с которой мы вместе были в Новосёлках, в интернате. Валя была из очень

бедной семьи – отец погиб, мать была душевно больной женщиной и не работала. Из Новосёлок я постоянно писала маме, что надо купить и послать для Вали, у неё не было самого необходимого. Валя пришла в класс, где училась дочь Молотова<sup>42</sup>. Было на Вале тёмное платье, но не форменное. На перемене Светлана Молотова подошла к ней и сказала, что она позорит школу, что в таком виде она в класс приходить не должна. Валя расплакалась и в нашу школу больше не пошла.

Примерно в это же время были введены и другие строгие правила для школьников: детям до 16 лет запрещалось появляться вечером на улице и ходить на вечерние спектакли в кино или театр. Был в этом элемент разумного. В военные годы, да и в первые послевоенные, в Москве выросла преступность. Появились шайки, о которых ходили страшные слухи, действовала легендарная банда «Черная кошка». Темнота в городе – затемнённые окна, синие лампочки над номерами домов, не дававшие света, тёмные подьезды – способствовала активности бандитов. В печати, конечно, ничего не сообщалось, всё было на уровне слухов, но московские улицы стали в это время небезопасны. Но как и многие разумные дела, строгие правила для школьников были доведены до абсурда. Однажды мама купила билеты в Большой театр на оперу «Снегурочка» Римского-Корсакова – спектакль, рассчитанный в большой мере на детскую аудиторию. Пошли мы с ней вместе и не ожидали, что запрет распространяется и на детей с родителями. Мне было тогда лет 13–14. Меня на «Снегурочку» не пустили. Мама пыталась добиться разрешения у администратора театра. Вместе с нами были ещё несколько мам и пап с плачущими детьми. Администратор был твёрд – билеты наши пропали.

---

<sup>42</sup> В.М. Молотов – Председатель Совета Народных Комиссаров, потом – Министр иностранных дел.



### **Мои одноклассники**

Мой класс в 1942–1943-м учебном году отличался по составу от предвоенного класса. Во-первых, отделили мальчиков, а во-вторых, многие из моих прежних соучениц были ещё в эвакуации. Не было со мной моей подруги Инны Цветаевой – она надолго задержалась в эвакуации. О некоторых моих одноклассниках в то время я расскажу подробнее, и в первую очередь – о детях правительственной элиты.

Я сидела за одной партой с Майей, дочкой председателя Госплана Н.А. Вознесенского, сталинского любимца. Почему-то Майе очень хотелось со мной дружить, и она настойчиво отодвигала других претендентов сидеть рядом со мной. Майя была симпатичной и очень неглупой девочкой с хорошими способностями к математике, музыке и рисованию. Дома её обучали английскому языку. Майя боготворила отца и буквально с придыханием упоминала имя Сталина – думаю, отец внушал ей это не столько из любви к вождю и учителю, сколько из страха перед ним.

Несколько раз мне приходилось бывать у Майи в доме – она приглашала меня на дни рождения и ёлки. Дом Правительства на улице Грановского тщательно охранялся, по улице Грановского даже просто пройти было неудобно, чувствовались следящие за тобой взгляды многочисленных молодых людей «в штатском». У входа во двор была проходная, войти можно было только по предварительному приглашению, сообщив свою фамилию дежурному. Так приходили на праздник мы, «плебеи».

На праздничном столе бывала еда, от которой мы давно отвыкли. Мать Майи, молодая женщина, сидела за столом вместе с ребятами и их родителями и вызывала горничную звонком, укрепленным под доской стола. Горничная в белой наколке на голове и белом халате уносила грязную посуду и приносила следующую смену блюд. Звонком у стола как-то особенно шокировал

меня, я подробно рассказывала об этом маме, а мама при упоминании о белом халате на горничной морщилась и говорила: «Фу, какой дурной вкус». Мать Майи рассказывала за столом кому-то из взрослых, что окончила педагогический факультет и начала преподавать в школе, но проверять тетради было так скучно, что она бросила работу. В общем, вся обстановка в доме была совершенно чуждой. И пожалуй, самым чуждым были фильмы, которые нам показывали в конце праздника.

Фильмы были полнометражные цветные, в основном американские, впрочем, может быть, были и трофейные немецкие. Показывал их приезжавший к празднику механик. Единственным отличием от настоящего кинотеатра были перерывы между частями, поскольку проектор был только один. Меня, как и всех ребят, воспитанных в пуританском советском духе, да ещё постоянно слышавших о «загнивающем Западе», шокировали эти фильмы. Помню впечатление от фильма «Луна над Миами» (так и было в переводе – Миами, а не Майами), где девушки в юбочках до середины бедра отплясывали, задирая ноги, в каком-то увеселительном заведении, а шикарные молодые люди гонялись на моторных лодках вдоль океанского побережья. Содержание фильма я совершенно не помню, может быть, его даже и не было, может быть, это был рекламный ролик, показывающий красивую жизнь американских миллионеров (любой курорт такого типа казался доступным только миллионерам!). И демонстрация подобных фильмов в доме самой «верхней» номенклатуры, казалась невероятной. Мы ещё не понимали тогда, что сказки про «загнивающий Запад» предназначались только для «народных масс».

В связи с праздниками у Майи вспоминаю своё впечатление от трофейного немецкого фильма «Девушка моей мечты» с Мариккой Рокк в главной роли. Фильм шёл во многих кинотеатрах, но купить билеты было очень труд-

но, все хотели посмотреть на это чудо. В учреждениях делали заявки на коллективные просмотры – я ходила с мамой по заявке Первого мединститута. И сцена, где Марикка Рокк купается в высокой бочке с водой, а рядом, глядя на неё сверху вниз, стоит молодой человек, казалась верхом разврата. Или сцена, где она же лежит в ванне, закрытая пеной, и тоже разговаривает с молодым человеком. Боже мой, но ведь легко было домыслить, что под пеной она голая! К тому же пенящиеся шампуни для ванн были вообще в это время нам неизвестны. А песенка о том, что не следует мужчине быть одному ночью! Словом, после фильма многие зрители не смотрели друг на друга от смущения... И чтобы нейтрализовать впечатление в газете появилась статья «настоящих комсомольцев» под названием: «Это девушка не нашей мечты!».

У Майи дома случалось видеть и её отца – всегда только мельком. Он приезжал домой пообедать вечером часов в 9–10 и уезжал снова на работу. Сталин любил работать по ночам, и все правительственные чиновники сверху донизу тоже тогда работали ночью.

Майя, конечно, жила в совсем другом мире и о нашей жизни имела очень смутное понятие. Бывало, в середине школьного дня на большой перемене мы открывали принесённые с собой завтраки: я – бутерброды с мёдом (с Центрального рынка), Майя – бутерброды с черной икрой и ветчиной. У меня и сейчас перед глазами эта ветчина – светлорозовая, тонкая, ароматная. А Майе очень соблазнительным казался мёд - этого не было в её «меню», и она предлагала – «Давай - братскую половинку?» И мы делили каждая свою порцию пополам...

Вскоре после войны, наверное, в 1946 году, мы всем классом поехали на экскурсию на завод сухого льда, организованную нашим учителем химии, Дмитрием Сергеевичем Загудаевым. Ехали на трамвае. Майя садилась в трамвай так, как я в детстве поднималась на парашютную вышку в Парке Культуры – с плохо скры-

ваемым страхом. Оказалось, это её первая в жизни поездка на трамвае – её транспортом был автомобиль, в школу её и других «элитных» детей привозили на государственных машинах с шофёром. Помню, что после этой экскурсии мы с Инной обсуждали, как это возможно – в 16 лет первый раз ехать на трамвае?

Мы были детьми военного времени. В 1942 году, в 12-тилетнем возрасте, я ездила по Москве на огороды, а чуть позже, в 13–14 лет, я и мои одноклассницы из числа «обычных» детей уже ездили летом и осенью на поезде в подмосковные колхозы на работу собирать и сортировать овощи, убирать картофель. Поезда нередко были переполнены, в вагон трудно было втиснуться. Однажды мы никак не могли уехать из Косино в Москву – пропускали поезд за другим. Наконец, мне удалось втиснуться в двери, но когда поезд тронулся, все, кто прицепился позади меня, попрыгали обратно на платформу, и я оказалась последней, кто повис у двери, опираясь одной ногой и держась одной рукой за поручень. Было очень страшно, я даже думала, не спрыгнуть ли на ходу, но тоже побоялась и продержалась до следующей остановки. А там сойти было уже невозможно – толпа на следующей станции вдавила меня внутрь вагона.

Жизнь Майи очень скоро круто изменилась. Мы кончили школу в 1948 году, Майя с золотой медалью. Она поступила в Архитектурный институт – у неё действительно были немалые способности к математике и рисованию. Её сестра Наташа поступила в первый класс нашей школы. А зимой, в начале 1949 года, отец её был арестован по так называемому «Ленинградскому делу». В то время смертная казнь в России была отменена, но во время следствия закон изменили, и Вознесенского, вместе с другими арестованными по этому делу, расстреляли. Мать Майи была арестована и сослана. Майю с сестрой выселили из дома на улице Грановского и дали им комнату где-то в районе Зубовской

площади. Сестру Майя забрала из нашей привилегированной школы.

Я снова встретилась с Майей через 10 лет, в 1958 году, в кафе «Шоколадница» на Калужской площади (сейчас Октябрьская) – отмечали 10 лет со дня окончания школы. Я пришла с опозданием, все уже сидели за общим столом, и в первую минуту у меня было странное ощущение, что передо мной – знакомые люди, но я их я не узнаю. Через минуту это ощущение прошло, знакомые лица обрели имена и фамилии. Рассказывали о себе. Майя выглядела прекрасно, она была замужем, и у неё была дочь Елена. Сестра кончила школу. О прошлом её семьи мы не говорили.

Было в нашем классе немало детей номенклатуры рангом пониже:

Кира Первухина, дочь министра химической промышленности;

Рита Фирюбина, дочь Николая Павловича Фирюбина, секретаря Московского горкома ВКП(б), потом дипломата, заместителя министра иностранных дел, и падчерица Екатерины Алексеевны Фурцевой, будущего министра культуры;

Алла Лавочкина, дочь конструктора реактивных самолетов и крылатых ракет Семена Алексеевича Лавочкина;

Тамара Смородинская, дочь крупного гебэшного чина. Вспоминаю, как была в гостях у Тамары, и ее мать пила чай с сахаром «в накладку», по два куска в чашку! В годы военного дефицита всего на свете это меня потрясло.

Немало «элитных» детей училось и в других классах школы. Двумя классами старше меня училась Светлана Молотова и Соня Стрельцова, её подружка, дочь кого-то из obsługi Кремля, взятая в семью Молотова для компании Светлане. Вспоминаю как эти девочки при-

езжали в школу: машину останавливали во дворе школы, у самого подъезда, девочки (вспоминаю их зимой, в одинаковых светло-серых беличьих шубках) выходили из машины и поднимались по ступенькам к парадной двери, а за ними, в нескольких шагах, следовал охранник с их портфелями в руках. Девочки не спускались в общую раздевалку в цокольном этаже школы – охранник снимал с них шубки и вешал в запирающийся шкафчик здесь же, на 1-ом этаже. Потом они в том же порядке – девочки впереди, охранник с портфелями сзади – поднимались по широкой центральной лестнице на 2-й этаж, где находился их класс. Во время занятий и перемены охранник сидел напротив двери класса. На большой перемене обе девочки спускались на 1-й этаж в комнату рядом с канцелярией, куда привозили для них «спец-еду». В классе Молотовой училась ещё дочь маршала Жукова, классом моложе меня – дочь сталинского секретаря Поскребышева, в младших классах – дочка Булганина.

Иногда в школе появлялись «дамы-патронессы». Помню Жемчужину, жену Молотова, в норковом палантине, идущую как хозяйка, не глядя на окружающих в кабинет директрисы, и директрису, почтительно согнувшуюся и преданно улыбающуюся.

Осенью 1943 года мы узнали о гибели девочки и мальчика из нашей школы – Нины Уманской, дочери советского дипломата Константина Уманского, и её одноклассника Володи Шахурин, сына наркома авиационной промышленности. В Москве много говорили об этой истории, но ни слова не писали. Сейчас я могла прочитать об этом событии в интернете<sup>43</sup>:

---

<sup>43</sup> Подробности и фотографии - <http://novodevichye.narod.ru/umanskaya.html>

«Володя и Нина знали друг друга с детства, так как учились в одной школе. Со временем между ними завязались романтические отношения. В мае 1943 года отец Нины получил новое назначение – посланником в Мексике, должен был выехать в эту страну вместе с семьёй. Когда Нина рассказала об этом Володе, он воспринял новость как личную трагедию, несколько дней уговаривал её остаться. Накануне отъезда Уманских он назначил Нине прощальную встречу на гранитной лестнице Большого Каменного моста, ведущей к нынешнему Театру Эстрады. Между ними состоялся, вероятно, не очень приятный разговор. Володя вновь попытался уговорить Нину, но получив отказ, в порыве отчаяния и гнева выхватил пистолет, выстрелил в неё, а потом в себя. Нина скончалась на месте, Володя умер через двое суток».

Обоим было по пятнадцать лет. Такие вот шекспировские страсти. На Новодевичьем кладбище в Москве есть памятник на могиле Володи Шахурин, неподалеку в стене захоронена урна с прахом Нины. В школе были «приняты меры» – снята директор школы Леонова. На смену ей пришла Анастасия Петровна Моисеенко, особа мало приятная.

Рита Фрумкина<sup>44</sup>, выпускница 1949 года, в своих воспоминаниях пишет: «Директором в школу прислали Анастасию Петровну Моисеенко – женщину с безусловными садистическими наклонностями. Она могла бы быть начальницей в советской колонии для малолетних преступников».

У истории с Шахуриным и Уманской было продолжение<sup>45</sup>. В дневниках Володи обнаружили записи об

---

<sup>44</sup> Р.М. Фрумкина. О нас наискосок. М: Русские словари, 1997.

<sup>45</sup> Егор Сенников. Здесь учились дети Сталина, Берии и Микояна... <https://aurora.network/articles/23-istorija-i-filosofija/62577-zdesuchilis-deti-stalina-berii-i-mikojana-kak-chastnaja-gimnazija-stalashkoloy-dlja-partiynoy-jelity>

организации «Четвёртая империя» с прогитлеровской фразеологией и символикой. Туда входили 13–15-летние дети из семей А.И. Микояна, А.С. Аллилуевой, хирурга профессора А.Н. Бакулева, американского бизнесмена Хаммера и других. Пистолет Володи Шахурина принадлежал сыну А.И. Микояна, Вану Микояну. Ребята отделались легко: полгода в камерах-одиночках на Лубянке, потом высылка из Москвы.

Судьба всей семьи Уманских оказалась трагической. Похоронив единственную дочь, родители вылетели в Мексику, где вскоре погибли в авиационной катастрофе.

Оглядываясь назад и думаю, почему детям элиты было разрешено смешиваться с обычными ребятами? Между тем, обычных, попавших в школу по территориальному признаку, было немало. Я уже упоминала о моих подругах Инне Цветаевой и Наташе Обух, обе жили неподалёку, так же как я. Были среди нас дети коминтерновцев – из соседнего со школой дома на углу Старо-Пименовского и Воротниковского переулков. Училась в нашей школе Нина Гамбарова, позже – друг нашей семьи. Нина тоже жила недалеко, в Трёхпрудном переулке.

В тридцатые годы у доброй половины класса, где училась Нина, отцы, а нередко и матери, были арестованы как «враги народа». Отец Нины был репрессирован по так называемому «грузинскому делу» (вместе с отцом Булата Окуджавы), осуждён «тройкой» и тут же расстрелян. Нина по моей просьбе написала мне о своём классе:

«В 1937–1938 году в нашем единственном в школе Б классе<sup>46</sup>, пятом, учились Светлана Сталина, Марфа Пешкова, Светлана Тухачевская, Алеша Туполев<sup>47</sup>. Двух по-

---

<sup>46</sup> В нашей школе было, как правило, по одному классу каждой ступени, когда же было по 2 класса, они обозначались как А и Б.



следних после ареста их отцов перевели в 167-ую школу, а ещё шестерых (меня в том числе) – в параллельный А класс, обменяв на 4-х благонадёжных и незапятнанных. Таким образом, Светлане было обеспечено приличное окружение, а класс А оказался скопищем детей репрессированных родителей, у большинства – обоих» (письмо от 22 апреля 1993 года).

### **Наши учителя**

Казалось бы, в такой школе как наша, в «Сталинском лицее», как назвал нашу школу один журналист, должны были быть специально подобранные учителя. По формальным признакам учителя были самые разные – по возрасту, национальности, по профессиональным качествам. О некоторых напишу подробнее..

Самой незаурядной личностью была преподаватель литературы в старших классах Анна Алексеевна Яснопольская. В её внешности ничего примечательного не было – напротив, была она маленького роста, некрасивая, с простой и не слишком аккуратной прической – расчесанными на прямой пробор и забранными в пучок седыми волосами. Замечательными были глаза – умные, выразительные, молодые. Глаза говорили – и многие из нас понимали этот разговор.

Она была интеллигентна – не просто образованна и умна, а именно интеллигентна. К сожалению, я ничего не знаю о её семье, о её происхождении, знаю только, что дочь<sup>48</sup> её была искусствоведом и работала в Третьяковской галерее, на её экскурсии Анна Алексеевна не раз водила наш класс.

Я знала, что Анна Алексеевна презирует чиновников народного образования, что она не приемлет советскую

---

<sup>47</sup> Марфа Пешкова – внучка Горького; Светлана Тухачевская – дочь расстрелянного маршала; Алеша Туполев – сын репрессированного авиаконструктора.

<sup>48</sup> Может быть, не дочь, а племянница (по воспоминаниям Ревекки Фрумкиной).

систему – знала, что она была из тех, кого в более поздние времена стали называть диссидентами. И знала я это, хотя она никогда не говорила открыто (и как могло быть иначе!), по её глазам, по тону голоса, по мимике её выразительного лица. Единственный факт её жизни, косвенно подтверждавший это – поддержка, которую она оказывала Ире Лилеевой и Инне Цветаевой после ареста их матери. Ира в тот трагический год была её ученицей, к тому же ученицей с выраженным уклоном в литературу (потом Ира окончила филологический факультет МГУ и стала специалистом по французской литературе). Анна Алексеевна знала, что сёстры остались без средств к существованию, она устроила для Иры платные уроки с одной из внучек Горького. Возможно, Анна Алексеевна оказывала и другую поддержку – но Инна об этом или не знала или не говорила.

Анна Алексеевна позволяла себе выходить за положенные рамки преподавания. Помню её уроки, посвящённые «поэтам-декадентам» – их не было в программе, более того – они не были «рекомендованы» для школы. А она на уроках читала стихи Блока, Брюсова, Северянина и других поэтов Серебряного века. У неё были артистические способности. Блоковскую поэму «Двенадцать» она читала так, что у меня бежали по коже мурашки:

*Чёрный вечер* (тихо, едва слышно)  
*Белый снег* (чуть громче, нараспев)  
*Ветер, ветер* (нараспев, с нажимом)  
*На ногах не стоит человек...*

И все замирали, потрясённые...

Она была резка, умела жестоко высмеять, никогда не фамильярничала с учениками, но большинство из нас её обожало. Между нею и классом (точнее сказать, многими в классе) был особый контакт. Хорошо помню такой эпизод.

Был обычный урок, Анна Алексеевна вызвала кого-то к доске отвечать. Вдруг распахиваются двери и входят директриса и два или три визитёра из РОНО<sup>49</sup>. Дав знак Анне Алексеевне, чтобы она продолжала урок, гости проходят к задней парте и садятся там. Лицо Анны Алексеевны меняется на глазах – она в буквальном смысле слова надевает маску. Ученицу, отвечавшую что-то, она отправляет на место, а сама начинает объяснение новой темы. Лицо совершенно непроницаемо, голос монотонный, тусклый, подчёркнуто невыразительный. Долго слушать невозможно. Посетители поднимаются и направляются к двери. Прощальный поклон. Дверь закрывается. В глазах у Анны Алексеевны вспыхивают задорные искры – она подмигивает классу и смеётся. Класс взрывается хохотом.

За пару недель до перехода к новой теме она предлагала прочитать нужные произведения, а перед началом темы просила поднять руку тех, кто не прочитал. Никто не осмеливался соврать. Однажды я никак не могла дочитать безумно скучный роман Герцена «Кто виноват?», и из урока в урок поднимала руку, что не читала. Наконец, она позвала меня в учительскую: «Чернохвостова, неужели нельзя дочитать эту маленькую книжонку? Я понимаю, что она скучна и бездарна, но неужели нельзя сделать над собой усилие?!» Её доверие было как ценный подарок – после этого нельзя было не прочитать всё, что требовалось.

Анна Алексеевна не выносила штампов, которыми, увы, была пропитана и жизнь и литература. Однажды мы писали в классе сочинения по Чехову – темы были присланы сверху. Мне досталась тема: «Старые и новые хозяева Вишневого Сада». Само название вынуждало начать с экономических предпосылок – с разорения дворянства, формирования буржуазии, словом, с развития капитализма в России. Так я и начала. В день

---

<sup>49</sup> Районный Отдел Народного Образования

выдачи сочинений я встретила Анну Алексеевну в раздевалке – она была «дежурным преподавателем», следила за порядком в раздевалке утром. Она подозвала меня и сказала возмущенно: «Чернохвостова, что Вы мне дали – сочинение по литературе или Краткий Курс ВКП(б)?!». Я была в ужасе и уже ждала двойки. Когда Анна Алексеевна раздала сочинения, я увидела свою обычную пятерку, но она не радовала меня – я стыдилась своего штампованного начала и понимала, что Анна Алексеевна просто не могла снизить мне за него отметку. А сколько издёвки было в её словах, когда она находила в работах «красной нитью проходит...» или «патриот своей родины...». «Это литературная работа или статья в «Правде»?» – спрашивала она.

В упомянутой уже книге Ревекки Фрумкиной рассказано о событии, которое ярко характеризует Анну Алексеевну. В августе 1946 года вышло Постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград», явившееся апогеем идеологического диктата в области литературы. Главными жертвами были назначены лирическая поэтесса Ахматова и сатирик Зощенко, полностью отлученные от литературной работы и изгнанные из Ленинградской писательской организации. Вот что пишет Р. Фрумкина в своей книге: «О *Постановлении* на наших уроках литературы не было сказано ни слова, но в связи с Пушкиным были прочитаны ахматовские стихи о «смуглом отроке» и некоторые «царскосельские» строфы». Имя Ахматовой не было названо, но кто-то из учеников мог узнать стихи, и риск для Анны Алексеевны был значительный.

По окончании школы я встретила с Анной Алексеевной только однажды – вместе с Инной поехала провести её летом на дачу, помнится, по Ярославской железной дороге, где она жила. Она уже давно не работала, была глубоким инвалидом, скованная жесточайшим артритом.

«Мы ленивы и не любопытны» – сказал как-то Пушкин. Много раз думала я так о себе. Почему в те годы я не интересовалась тем, кто такая наша Анна Алексеевна и откуда она?! Не только тогда, в школьные годы, но и значительно позже. Уже живя в Америке и вспоминая свое прошлое и свою жизнь. Однажды была в Москве и встретила соседа по дому, которого знала еще в те времена, когда он приходил к моей бабушке со своими литературными работами – Леву Берлина. Вспоминая прошлое, я заговорила об Анне Алексеевне. Лева тоже кончал нашу школу. «Еще бы» – сказал он мне в ответ на мои восторженные воспоминания. «Она же из семьи Тютчевых». А я? Я не задала ему ни одного вопроса! Нет Левы, некого спросить, в истории семьи Тютчевых ничего найти не удалось. Действительно – ленивы и не любопытны...

Совсем недавно попал мне на глаза номер газеты «Комсомольская правда» от января 1944 года, а там – статья об Анне Алексеевне и даже ее фотография – она навещала в госпитале своего ученика... Статья посвящена Анне Алексеевне, ее приверженности преподаванию литературы, ее дружбе со своими учениками, многие из которых были на фронте, а многие погибли. Автор статьи – Фрида Вигдорова<sup>50</sup>.

\* \* \*

Прекрасным преподавателем был наш математик, Юлий Осипович Гурвиц. О его жизни и работе можно многое найти в интернете<sup>51</sup>. С этого я и начну.

---

<sup>50</sup> [https://ru.wikipedia.org/wiki/Фрида\\_Абрамовна\\_Вигдорова](https://ru.wikipedia.org/wiki/Фрида_Абрамовна_Вигдорова) – литератор, преподаватель, журналист, правозащитник. В 1964 году сделала и опубликовала запись суда над Бродским.

<sup>51</sup> [https://ru.wikipedia.org/wiki/Гурвиц\\_Юлий\\_Осипович](https://ru.wikipedia.org/wiki/Гурвиц_Юлий_Осипович).

Юлий Осипович родился в 1882 году, учился в Петри-шуле<sup>52</sup>, которую закончил в 1901 году с золотой медалью, а в 1907 году окончил физико-математический факультет Московского университета с дипломом первой степени. С этого года началась педагогическая деятельность Юлия Осиповича, он приступил к преподаванию математики в частных учебных заведениях: в реальном училище, затем в Петри-шуле – в мужской гимназии, которую сам окончил, и в женской гимназии.

После революции Юлий Осипович стал заведующим одной из московских школ, активным участником профсоюза работников просвещения, а с 1922 года заведовал школьным отделом в Московском отделе народного образования. Далее Юлий Осипович был приглашен преподавать математику на рабфаках, а когда рабфаки были закрыты, с 1935 года и до последнего дня жизни, в течение 18 лет, преподавал математику в нашей школе № 175, где одно время заведовал учебной частью.

Одновременно он преподавал математику в высшей школе – в Московском областном педагогическом институте и в Московском учительском институте. С 1952 года был доцентом кафедры математики в Государственном педагогическом институте имени Ленина. Юлий Осипович вел методическую работу с учителями Москвы – в институтах повышения квалификации педагогов, в институтах усовершенствования учителей (городском и областном). В 1946 году Юлий Осипович был приглашен в состав редакционной коллегии журнала «Математика в школе» и активно работал в журнале до последних дней жизни. Ему принадлежат многочисленные статьи в журналах «Вестник просвещения», «Математика в школе», методические рекомендации. Юлий Осипович совместно с Р.В. Гангнусом были авторами первого в стране стабильного учебника геометрии в 2-х частях, который переиздавался несколько раз (до 1938 года, когда Гангнус был арестован).

---

<sup>52</sup> Около Петропавловской евангелическо-лютеранской церкви в Москве были мужская гимназия, реальное училище и женская гимназия. Преподавание велось на немецком и русском языках.

Такова официальная биография Юлия Осиповича. Несколько слов о его семье. Дочь Гурвица, Людмила Юльевна Тихомирова, была санитарным врачом, а ее сын, внук Гурвица, Владимир Михайлович Тихомиров – стал крупным математиком: ученик Колмогорова, профессор механико-математического факультета МГУ.

Мы, ученики Юлия Осиповича, хорошо понимали, каким замечательным педагогом он был, прежде всего потому, что математика для всех была предметом очень простым, не требующим усилий и времени на домашние уроки, в том числе и для меня, хотя у меня были очень скромные способности к точным наукам. Я регулярно получала свои пятерки, но частенько – пятерки с минусом, именно как знак малых способностей. Юлий Осипович очень хорошо чувствовал математический склад ума у своих учениц. К классу он иногда обращался, гремя своим раскатистым р-р-р: «Ну-с, Печер-р-рская, Полякова и tutti quanti!<sup>53</sup>». Юля Печерская и Вера Полякова имели к математике дар Божий, нередко предлагали оригинальные пути решения задач. А остальные были, действительно, «tutti quanti», получавшие пятерки или тройки в зависимости от прилежания.

Вижу Юлия Осиповича идущим по Старо-Пименовскому переулку. Небольшого роста, чисто выбритое лицо, большой семитский нос и совершенно лысый череп с бахромкой седых волос на висках и затылке. Идет чёткими короткими шажками, переходит переулок под абсолютно прямым углом, никогда не скашивая, словно чертит прямоугольник. В руке – неизменный портфель. Такими же короткими шажками входит в класс, кладет портфель на учительский стол. И раскатывается по классу: «Теор-р-рема Р-р-рене Декар-р-рта». Объяснял Юлий Осипович необыкновенно просто – только очень неспособные к математике девочки могли испытывать

---

<sup>53</sup> И все прочие (лат.)

какие-либо затруднения. Для меня, с моими – повторяю – скромными способностями, математика была несложным предметом.

Вот ещё короткое воспоминание о Юлии Осиповиче – пишет Нина Гамбарова, ученица класса, где он был классным руководителем:

«Это уже где-нибудь в 8-ом классе. Подвижный, быстрый, входит в класс. «Здравствуйте, дети, садитесь, запишем – контрольная р-р-работа» – раскатывает он свое громогласное р-р-р. Мы очень радостные и довольные собой – «Юлий Осипович, мы не можем писать, у нас нет ручек». Быстрый взгляд наверх, на потолок. Туда, в плафон одной из ламп, закинута (не без спортивного мастерства) ручки со всех парт. В ответ ни одного дурацкого пустого слова. Сдержанно, грозно, в ответ звучит раскатистое р-р-р. «Нина, пойдешь а тридцатую комнату, в моем столе, в нижнем ящике –тридцать ручек, тридцать перьев». Тридцатая комната почти напротив. Через две минуты снова звучит его голос: «Запишем, дети, контрольная работа». Мы посрамлены так элегантно. И обожаем его всю оставшуюся жизнь» (письмо от 22 апреля 1993 года).

Но Анна Алексеевна и Юлий Осипович были звёздами – и как преподаватели и главное – как личности. А кроме них было немало бесцветных учителей, особенно в младших классах, да и позже.

Географию преподавала нам довольно бестолковая Евгения Филипповна Юзефович. Она совершенно была лишена чувства юмора и не понимала, когда мы подсмеиваемся над ней – а мы, конечно, не пропускали такой возможности. Из всех её занятий запомнилось только, как она объясняла, что такое вертолёт (так называли тогда вертолёты) и заставляла нас хором скандировать: ге-ли-коп-тер!. Тем же способом под её управлением мы скандировали: Ко-вен-три-за-ци-я – слово, возникшее после полного уничтожения немецкими бомбежками английского городка Ковентри. Нина Гамбарова вспо-



минала, как они всем классом под руководством Евгении Филипповны скандировали – А-зер-бай-джан. Много лет спустя, во времена Перестройки, Нина и её одноклассники при встречах вспоминали, что Горбачёв явно не бывал на уроках Евгении Филипповны<sup>54</sup>.

И наконец, коротко расскажу о двух преподавателях истории – А.Ф. Альштадт и С.М. Кочановой. Каждая по-своему, но были они «продуктами эпохи», в которой мы жили.

Александра Федоровна Альштадт преподавала нам историю Древнего Мира (Рима и Греции) и историю Древней Руси. Сейчас я думаю, что она была плохим педагогом – эти периоды истории могли бы остаться в памяти как очень интересные, а этого не было. Осталось в памяти другое, о чём я и расскажу.

Летом 1943 года мы (разумеется, не все, а только «обычные» школьники) ежедневно ездили на работу в колхоз. Мы готовили свеклу для закладки в овощехранилище: обрезали ботву, складывали в корзины и относили куда-то на хранение. Работа была скучная и однообразная, и мы начали развлекаться – сначала выдергивали на свекле часть мохнатых корней, так, чтобы оставались усы и борода, потом начали вырезать глаза и рот и соревноваться, у кого выйдет более занятая рожица.

В разгар наших игр это заметил кто-то из преподавателей и поднял тревогу. Нас, человек 10 девочек, отвели в сторону, выстроили в ряд, отчитали и учинили настоящий допрос – кто зачинщик этого вредительского занятия, направленного на то, чтобы свекла в хранилище сгнила? Конечно, занятие наше было неумное и несомненно вредное – но была это всего лишь игра заскучавших 13-ти летних девчонок, которые и не думали о том, как будут храниться эти рожицы. И тем

---

<sup>54</sup> Горбачёв упорно говорил «Азедаржан»

более никто не мог сказать, кому первому пришла в голову такая идея – она родилась как общее развлечение. Но допрос был суров и термины использовались хорошо известные (вредительство!). И самой яростной на этом допросе была Александра Федоровна: «Зачинщики – шаг вперед!» Почему-то я решила выйти вперёд (на самом деле я совсем не была уверена в своём авторстве), а за мною вышла из строя и моя подруга Юля Печерская. Остальных отправили работать, а нас оставили без обеда и обещали, что сообщат о нашем вредительском поступке директору, и нас не примут в комсомол. А нам обоим осенью должно было исполниться 14 лет, и в комсомол мы обе ужасно хотели попасть первыми. Я вернулась домой довольно поздно, родителей дома ещё не было, я оставила маме записку обо всём, что случилось, и в слезах легла спать. Все обошлось – в комсомол нас приняли, и вообще всё это и не обсуждали в школе. А в моих воспоминаниях об Александре Федоровне осталась обидная оскомина.

Софья Моисеевна Качанова вела курс русской истории, в том числе и последний период – предреволюционные годы, революция и социалистическое строительство. Такие историки как Ключевский и даже Соловьев были запрещены. Учебник, написанный советским историком Панкратовой, и весь курс, представляли собой нечто ужасное. Как могла преподавать это Софья Моисеевна?!

У Софьи Моисеевны была сильнейшая близорукость, и даже в очках с толстыми стеклами она практически ничего не видела в классе, а в журнале разбиралась, водя носом по бумаге. И мы пользовались её болезнью безобразно. Отвечающий становился рядом с одной из первых парт, где лежал учебник, развёрнутый на нужной странице. Софья Моисеевна восхищалась отличной подготовкой, а мы хихикали. Иногда мне становилось совестно – но только иногда.

Я занималась как всегда прилежно, но с трудом преодолевала отвращение к предмету. Когда начали проходить предреволюционное время, где надо было знать по дням, когда и что написал или сказал Ленин и его соратники, у меня началась настоящая сшибка. Я не улавливала смысла, голова отказывалась запоминать события и даты. А когда дошло дело до разгрома разных уклонов, я в полном отчаянии пришла к Софье Моисеевне и просила её объяснить разницу между левой и правой оппозициями. Она заволновалась, стала уверять меня, что разница между ними не такая уж большая<sup>55</sup>, и что мне просто надо отдохнуть. Не знаю, что думала Софья Моисеевна на самом деле.

Её дочь Зельма, о которой Софья Моисеевна иногда упоминала, кончала школу в тот же год, что и мы. Она была отличницей и, кроме того, секретарем комсомольской организации школы. Это как бы дополняло образ самой Софьи Моисеевны, которая воспринималась как настоящий проводник идей партии.

Между тем это был 1948 год, расцветал антисемитизм, борьба с «безродными космополитами» была в разгаре. Была пора раскрытия псевдонимов, чтобы никакой Рабинович не мог спрятаться за приличную русскую фамилию. Были увольнения, были аресты. Евреев перестали принимать в престижные учебные заведения, в том числе, в московский университет. Я же только в это время начала осознавать, что мои соученицы отличаются по национальности. Раньше я знала только об экзотических национальностях – знала, что Инга Гофмайер из Австрии, а Светлана Визирян – армянка. А вот что моя подруга Юлия Печерская наполовину еврейка, что из двух подруг Бобровой и Богуславской первая русская, а вторая еврейка – это я узнавала только тогда, одновременно понимая, что для евреек первые же

---

<sup>55</sup> Знаменитое выражение Сталина: «Спрашивают, какой уклон хуже, правый или левый? Отвечаю – оба хуже».

шаги в после-школьной жизни будут труднее, чем для русских. Такое позднее развитие моё было, вероятно, связано с тем, что меня лично, несмотря на не вполне арийское происхождение, антисемитизм не касался – отчасти из-за русской фамилии и русской внешности, отчасти из-за своего положения круглой отличницы, и потому ещё, что в школе был довольно интеллигентный состав и учеников и учителей. Впрочем, это было время осознания и других несправедливостей. Я видела, что путь в медалисты не простой, и результат зависит не только от успеваемости. В это время я уже серьёзнее стала относиться и к выбору своей будущей профессии.

Склад у меня был несомненно гуманитарный. Занятия литературой я любила не только благодаря Анне Алексеевне – мне доставляло удовольствие писать сочинения, особенно домашние, когда не было ограничений во времени и можно было спокойно читать и размышлять. Однажды я провела все весенние каникулы за сочинением на тему «Личность Пушкина по лирическим отступлениям в "Евгении Онегине"». Эта работа для меня была настоящим творчеством, я была очень увлечена, много размышляла и читала. Чтение критиков (Писарева, Белинского) занимало меня в то время не менее, чем художественная литература. Вместе с тем историю, как предмет в школе, особенно историю России, и тем более – историю Советского периода, я ненавидела. Странно, что я, в те годы мало интересовавшаяся политикой и защищённая родителями от злободневных жизненных вопросов (родители, запуганные годами террора, боялись говорить со мной о «политике»), хорошо понимала, что гуманитарными науками в стране, где мы живем, заниматься нельзя. С другой стороны, я понимала, что к точным наукам у меня нет достаточных способностей, и очень рассудочно подходила к выбору будущей профессии: раз заниматься литературой и историей здесь невозможно, а к математике, физике, технике у меня нет способностей, то остается –

естествознание в разных его областях – химия, биология, медицина.

Уже студенткой Первого медицинского института я как-то встретила на улице Горького Софью Моисеевну. Я уже знала, что её дочку, медалистку и отменную комсомолку, не приняли в МГУ. Софья Моисеевна была убита, но сказала она мне такую, очень хорошо запомнившуюся фразу: «Я знаю, что это временно, но всё равно это ужасно». Под «это» понимался государственный антисемитизм. А я вдруг почувствовала себя старше и взрослее Софьи Моисеевны – у меня, 18-тилетней, не было уже тогда иллюзий, и я подумала о том, каково сейчас Софье Моисеевне расставаться с её коммунистическими идеалами.

Потом Софью Моисеевну с её быстро прогрессирующей близорукостью лечила моя подруга Наташа Обух, ставшая офтальмологом. Софья Моисеевна совсем потеряла зрение, и уже слепая уехала вслед за дочкой Зельмой в Америку. «Это» оказалось совсем не временным.

Пытаюсь понять, как уживалось во мне понимание мира, в котором я жила, с сильным желанием вступить в комсомол. Наверное, это было неполное понимание. Я была принята в комсомол одной из первых в классе, была счастлива и горда, и рвалась к общественно-полезной деятельности.

Принимали нас на комитете комсомола школы, где секретарем была умненькая и циничная Наташа Тинькова. К вступлению в комсомол готовились – особенно к вопросам «по политике». Среди вопросов был и такой: сколько должностей у товарища Сталина? А было их очень много, сейчас не смогу их назвать, а тогда помнила твёрдо.

Сразу же по вступлении в комсомол меня ввели в состав комитета комсомола - я стала «учебный сектор». В мои обязанности входило ежедневно в конце занятий выяснять, кто получил двойки. Я быстро обегала классы, узнавала, вписывала в свой журнал. А дальше?

Дальше возникал тупик. Больше делать было нечего. Я тормозила Наташу, она отмахивалась – думаю, я ей очень надоедала. А я всё стремилась приносить пользу, выяснять, помогать, в общем делать что-то, чего я сама себе не представляла. Излечилась я от этого не сразу, но довольно скоро, и не без помощи той же Наташи.

Как член комитета комсомола школы я принимала участие в приёме новых членов. Вступавших девочек было много, каждую вызывали, слушали биографию, задавали вопросы по биографии, затем экзаменовали по политике. Это тянулось часами. И Наташа начинала хулиганить. Помню, как она серьёзно начала спрашивать дрожащую от волнения девочку: «В каком году родилась твоя бабушка? Что она готовила на обед?» и т.д. Та сначала таращила глаза, а потом, видя смешливое Наташино лицо, сама начинала улыбаться, принимать шутку. И все хохотали – пока не появлялся кто-нибудь из проверяющих. Тут лица снова становились серьёзными, и представление продолжалось. А я постепенно теряла своё по-дурацки серьёзное отношение к общественной работе. В старших классах, мне помнится, вся моя комсомольская деятельность сводилась к уплате членских взносов.

## **9 мая 1945 года**

Когда немцы были отброшены от Москвы, когда прекратились бомбежки и сняты были осадное положение и комендатский час, сама война немного отодвинулась в моём сознании. Сводки Совинформбюро я слушала по-прежнему внимательно, но теперь это было связано ещё и с необходимостью на уроках отвечать о положении на фронте. В классе висела карта с красными флажками, показывающими линию фронта и ход наступления.

На уроках истории часто первые 15 минут занимала политинформация – кто-нибудь из нас делал доклад о положении на фронте, передвигая флажки на карте все дальше к западу. Мы учили «Десять сталинских ударов» – вероятно, туда входили победа под Сталинградом, битва на Курской дуге, и другие.

Никто из моих близких не был на фронте, и конечно, это играло большую роль в моем восприятии последних лет войны. Годы 1943-й и особенно 1944-й были годами салютов, отмечавших освобождение городов. Мы слушали торжественный голос Левитана, читавший очередной Приказ Верховного Главнокомандующего – сколько залпами и из скольких орудий будет отмечено сегодня взятие города, и бежали вечером на открытое место смотреть салют.

Первый салют был 5 августа 1943 года в честь взятия городов Орел и Белгород. Это был единственный салют с трассирующими пулями, сверкавшими в небе. Говорили, что эти пули оказались не безобидными – были жертвы среди москвичей. Больше трассирующих пуль во время салютов не было. К 7-му ноября, к годовщине Октябрьской революции, был взят Киев. Тогда в голову не могло прийти, что дата взятия Киева была задолго назначена Сталиным, приказавшим любой ценой взять город к празднику.

Должно быть, это было воскресенье. Я проснулась от приглушённых звуков радио – мама не спала, а слушала. «Лёлька, война кончилась» – сказала она мне. Я нырнула к ней под одеяло, и мы продолжали слушать вместе.

О предстоящей капитуляции Германии говорили уже несколько дней, были слухи, что с союзниками капитуляция уже подписана. Действительно, вскоре после сдачи Берлина (2 мая) была подписана капитуляция в Реймсе, где были представлены в основном союзники. На следующий день капитуляция была подписана в

Берлине, где от Советского Союза был маршал Жуков. В результате и празднование победы на Западе было назначено на 8 мая, а в СССР объявили о капитуляции Германии только утром 9 мая.

Это был необыкновенный день. Стояла яркая, солнечная погода, как на заказ. Никаких официальных демонстраций не планировали, но улицы с утра были заполнены народом. Радостные, сияющие лица, ощущение всеобщего счастья. Люди окружали военных и начинали подбрасывать их в воздух. Такого всеобщего стихийного праздника, не регламентированного сверху, такого безудержного ликования больше не было никогда в моей жизни.

Днем 9-го мая мы с Юлей Печерской отправились по улице Горького к Красной площади. Около Центрального Телеграфа мы остановились в недоумении – большой глобус на стене телеграфа вращался, но не в ту сторону! Мы простояли несколько минут, наблюдая за глобусом и обсуждая, действительно ли при таком движении солнце должно всходить на западе, а не на востоке, потом вошли в здание телеграфа и обратились к какой-то барышне за окошком. Она не сразу поняла, о чём мы говорим и причём тут вращение Земли и восход солнца. Мы были робки, но настойчивы. Наконец, она позвала механика, ведавшего глобусом, и мы стали подробно объяснять ему, где должно всходить солнце при таком странном вращении нашей планеты. Он таращил глаза сначала на нас, потом, выйдя с нами на улицу – на глобус, и в конце концов обещал разобраться. Ещё немного мы постояли около телеграфа, увидели, что глобус остановлен, и двинулись дальше к Красной площади. Должно быть, механик пошёл советоваться со сведущими людьми, не доверяя 14-тилетним девчонкам. Когда мы возвращались назад, глобус вращался в положенном ему направлении, и солнце снова всходило на востоке. Дома мы с гордостью рассказывали, что сегодня изменили вращение Земли!



Вечером ждали необыкновенного салюта, и мы отправились снова на Красную площадь. Сразу стало ясно, что туда же двинулась вся Москва. С трудом добрались до здания Моссовета, а дальше пойти не решились. Толпа на улице Горького стала такой плотной, что нам едва удалось выбраться.

Официальный Парад Победы был назначен Сталиным на 24 июня. Мы смотрели по телевизору военный парад, который принимал маршал Жуков. В завершающей части парада войска проходили мимо мавзолея и бросали на специальный помост у подножия немецкие знамена и штандарты. Было холодно, лил дождь, из-за дождя отменили воздушный парад и «демонстрацию трудящихся столицы». Ничего похожего на 9 мая не повторилось.

## **В старших классах**

В последние годы войны моя жизнь была почти нормальной. Я начала ходить в литературный кружок Дома художественного воспитания детей, который был рядом с Театром Юного Зрителя. К моему большому сожалению меня не могли принять в старшую группу, а в своей группе я была самой старшей. Иногда я заходила в старшую группу просто послушать, как идут занятия, и на всю жизнь запомнила потрясшую меня декламацию одной девочки, читавшей Лермонтовского «Измаила Бея».

В школьные годы я очень много читала, и это было, по-видимому, типичным для ребят моего поколения. Помимо русской классической литературы, чтение которой было к тому же и обязательным, круг моего чтения был довольно странным. Я легко и с удовольствием одолела «Илиаду» и «Одиссею» Гомера, и споткнулась

только на «Энеиде» Вергилия, очевидно, объевшись гекзаметрами. Моими любимыми книгами были «Овод» Войнич и «Камо Грядеши» Сенкевича. С увлечением читала пьесы Ибсена из бабушкиной библиотеки и бесконечное количество раз читала и знала почти наизусть «Трилогию» Алексея Константиновича Толстого.

Но были у меня странные пробелы, и не совсем по моей вине: как и многие мои сверстники, я почти ничего не знала о Достоевском. Из курса русской классики Достоевский был полностью исключён. О нём даже не упоминали, как будто такого писателя в России не было вообще, его не переиздавали, он был почти запрещённым. За что он был так наказан Советской властью? Наверное, не могли простить ему роман «Бесы»<sup>56</sup>.

Вряд ли в каких-нибудь других московских школах бывали такие особые гости, как в нашей. Запомнились два интересных визита в военные годы: приезд леди Черчилль со своей секретаршей миссис Джонсон, и визит настоятеля Кентерберийского собора, по-моему, тоже Джонсона<sup>57</sup>.

О визите леди Черчилль нам сказали заранее. Предупредили, что если придётся обращаться к ней, надо говорить «леди Ч-ё-рчилль», а не Ч-е-рчилль, как все произносили имя Уинстона Черчилля. Было известно, что она придёт в наш класс на урок физики, даже предупредили, что отвечать вызовут меня. Обе дамы пришли в самом начале урока, я уже была у доски и говорила что-то насчёт английского физика Михаила Фарадея. Впрочем, урок их не интересовал. Через переводчика они познакомились с нашей учительницей, одной из старейших в школе, Ниной Ивановной Бело-

---

<sup>56</sup> Достоевский был «реабилитирован» и включён в школьную программу по русской литературе только в самом конце 60-х годов.

<sup>57</sup> В литературе его нередко называют «красный настоятель» за добрые отношения с Советским Союзом и коммунистами

горской. Леди Черчилль сказала несколько слов о том, что в детстве она не любила физику, и попрощалась.

Вскоре за этим к нам пришёл кто-то из учителей и распорядился очень тихо, на цыпочках, двигаться в акт-овый зал. Так же тихо, как и мы, в зал пробирались и строились там другие классы. На эту процедуру сбора и построения ушел как раз весь урок. Когда по школе прозвенел звонок, все ученики уже были в зале, построенные аккуратным каре. Спустя пару минут в зал вошли гости в сопровождении директрисы. Очевидно, школьное начальство имело в виду показать, что все ученики построились в зале вот за эти две минуты после звонка. Приветствовать гостей вышла Светлана Молотова, обратившаяся к леди Черчилль на прекрасном английском языке (во всяком случае, это был не тот английский, которому мы могли научиться в школе). Всё бы ничего – но над потёмкинской деревней с построением в зале все мы посмеивались.

Настоятель Кентерберийского собора появился для всех неожиданно и на уроки не ходил. Просто на одной из перемен к нам на третий этаж прибежал кто-то из девочек и с расширенными от возбуждения глазами сообщил, что по второму этажу ходит какой-то мужчина в чулках и туфлях. И все ринулись вниз, пытаясь (безуспешно) скрыть нахальное любопытство и притвориться, что мы просто так прогуливаемся по коридорам второго этажа. Зрелище и в самом деле было необычайное – в сопровождении директрисы ходил человек, словно сошедший с иллюстраций к Шекспировским трагедиям. Мне помнится, что он был одет как один из принцев, которых уводят в Тауэр по приказу короля Ричарда Третьего (картинка в старом томике Шекспира), во всяком случае за чулки и туфли – ручаюсь. В результате коридор оказался буквально забит толпой девочек всех возрастов, которые рассматривали удивительного человека. Выглядело всё это неприлично, но ни у кого не хватало сил пропустить такое уникальное зрелище.

В Москве в последние годы войны усилились контакты с союзниками – англичанами (особенно!) и американцами. На русском языке выходила и пользовалась популярностью английская газета «Британский Союзник». Я думаю, многие мои сверстники помнят фотографии короля Георга и его дочек-принцесс Маргарет и Элизабет на первой странице газеты – вся семья едет на велосипедах работать на огородах, совсем как рядовые англичане. Появились американские кинофильмы с Диной Дурбин, кинозвездой того времени. Все мы смотрели «Серенаду солнечной долины», «Сестру его дворецкого» и другие голливудские фильмы. Тогда же впервые появился в Москве Поль Робсон, американский чернокожий певец, покорявший слушателей своим глубоким и лиричным басом. Он выступал и в театрах, и на открытых эстрадах, пел не только на английском языке, но и на русском. Помню в его исполнении песню «Полюшко-поле», которую он пел с сильным, но приятным акцентом: «Полюшко – полье ты». Робсон жил в России периодически, или часто приезжал. Во всяком случае, как я недавно узнала, его сын какое-то время учился в нашей школе.

Может быть, именно в связи с общим интересом к союзникам мне очень захотелось всерьёз заниматься английским языком. Я договорилась с мамой, что вместо опостылевшей мне музыки я начну учить язык. Это было уже после окончания войны, в конце 1946 года, я была в 9-м классе. Моя необыкновенная учительница, Ольга Арнольдовна Виноградова, жила в одном из переулков между Петровкой и Пушкинской улицей, и я ходила к ней дважды в неделю. Она занималась с двумя ученицами вместе – кроме меня была ещё девочка на пару лет старше меня, учившаяся в заочном юридическом институте.

Уроки были для нас обоих настоящим праздником. Ольга Арнольдовна сразу же влюбила нас в английский

язык и каким-то образом сразу «разговорила» нас: мы начали говорить по-английски с нашим убогим запасом слов и столь же убогим знанием грамматики, да так начали, что продолжали говорить между собой и по дороге с урока, а я продолжала говорить и дома с родителями. Ольга Арнольдовна была, несомненно, талантливым педагогом. Она преподавала в ВИИЯКе<sup>58</sup>. Если все преподаватели в этом институте были такого уровня, подготовка там должна была быть очень высокой...

В чём заключался преподавательский дар Ольги Арнольдовны? Я могу вспомнить только некоторые из её приемов. Она читала нам стихи, которые мы учили наизусть, запоминая не только слова, но и музыку английской речи, «тьюны», подъёмы и спуски голоса. Среди стихов помню до сих пор кусочки из Шекспира, помню интонационно, не всегда помня смысл слов. Она декламировала увлечённо, как актриса, и заражала нас – мы стремились к подражанию. Заучивали наизусть и куски прозаического текста – и тоже с «тьюнами». Были и упражнения и грамматика – но помню я в основном эту покоряющую артистичность её уроков.

Я занималась с Ольгой Арнольдовной 2 года – вплоть до окончания школы. Мне кажется, я никогда по собственной воле не перестала бы заниматься с ней, но осенью 1948 года она сама отказалась от частных уроков и порекомендовала мне учительницу, с которой я, однако, прозанималась очень недолго – уж очень не похожа была она на Ольгу Арнольдовну. С той поры я начинала заниматься английским ещё пару раз, но опять-таки неудачно – может быть, потому, что всегда сравнивала эти уроки с уроками Ольги Арнольдовны. И я до сих пор уверена, что все мои знания в английском приоб-

---

<sup>58</sup> Всесоюзный Институт Иностранных Языков Красной армии, где готовили и советских разведчиков.

ретенны в те последние два школьных года, за время занятий с ней<sup>59</sup>.

Каким-то образом Ольге Арнольдшне удалось внушить нам уверенность, что мы действительно можем говорить по-английски. Эта уверенность сыграла со мною скверную шутку, когда однажды к нам на урок пришла группа американцев из какой-то радиокомпании, чтобы записать, как идет урок географии в русской школе. Должно быть, это было в начале 1947 года, когда ещё не началась «холодная война». Американцы установили микрофон и обратились к классу: кто мог бы отвечать урок по-английски? И внушённая Ольгой Арнольдшной уверенность была так велика, что я подняла руку!

Тема урока была удачной – реки и озёра Северной Америки. Я бодро начала с Великих Озёр и в двух первых фразах переплыла через озера Эри, Онтарио и Мичиган. Озеро Верхнее – Боже мой! я так и сказала: «Верхнее»! Потом Ниагару назвала Ниагарой (и не подозревала, что она Найягра!), совсем не знала слова «водопад», и смешалась совершенно. Один из американцев сказал мне что-то утешительное, вроде «It is too much for you to speak before the microphone<sup>60</sup>». Я вернулась на свою парту абсолютно убитая и проплакала весь урок до конца.

В школе бывали вечера – с торжественной частью, которую вели директриса и учителя, и художественной самодеятельностью, где выступали мои одноклассницы. В моём классе были две очень талантливые девочки – Инна Боброва и Дина Богуславская, которые прекрасно декламировали. Помню Дину, читающую отрывок из Пушкинской «Полтавы» – сцену свидания Мазепы с

---

<sup>59</sup>Даже годы жизни в Америке, мне кажется, дали только новый словарный запас, в основном за счет новых понятий, которых не было ни в русском языке, ни в российской жизни, но кардинально не изменили ничего.

<sup>60</sup> Это слишком трудно для тебя – говорить перед микрофоном.

безумной Марией: «Его усы белее снега, а на твоих засохла... кровь!». Это было потрясающе, у меня мурашки бежали по коже! А Инна Боброва читала (вернее, играла, как настоящая актриса) отрывки из Толстовского «Семейного счастья». Не знаю, как бы оценивали эти выступления специалисты, но я воспринимала их как настоящий спектакль с прекрасными артистами, и такими они остались в моих воспоминаниях. Дальнейшую судьбу этих девочек я не знаю.

Бывали в школе и танцевальные вечера, на которые приглашали мальчиков из 110-й школы (там учились сыновья номенклатуры, переведённые из нашей школы, такие как Юра Шкирятов, мой соученик ещё по первому классу, и сын маршала Костя Тимошенко). Танцевали только бальные танцы – па-де-грас, па-де-патинер и венгерку, более живой и темпераментный, но тоже бальный танец. В этих танцах мальчик и девочка почти не касаются друг друга. Впрочем, вальс был разрешён. Но такие западные танцы как фокстрот и танго, танцы «загнивающего Запада», в школе (и вообще в публичных местах) были категорически запрещены.

Для меня и моих подружек танцевальные вечера были испытанием. Раздельное обучение не прошло бесследно – мальчики стали для нас какой-то особой породой людей и вызывали невероятную стеснительность. К началу такого вечера актовый зал бывал как бы разделён невидимой стенкой – мальчики и девочки тяготели к противоположным углам. Потом постепенно наиболее смелые покидали стулья у стен и двигались к середине зала. Я большей частью не покидала стенку, а Инна старалась даже забаррикадироваться в углу за роялем, откуда только очень смелый мальчик мог её пригласить на танец. Однажды такой смелый нашёлся, и Инна, вся вспыхнув до корней волос, вышла и стала с ним в танцевальную позицию для венгерки. Но как раз в этот момент музыка оборвалась, Инна тут же выскочила вон из зала и больше не вернулась.

Такого рода школьные вечера с приглашением мальчиков (или соответственно, девочек) из других школ были обычными всюду. А вот исключительным для нашей школы явлением были концерты с участием первокурсных артистов. Я хорошо запомнила вечер, на котором пели Максим Дормидонтович Михайлов, знаменитый бас, солист Большого театра, и Иван Семенович Козловский, несравненный тенор. Думаю, что обеспечивала подобные концерты Жемчужина – кто смел бы отказать супруге Молотова? В нашем актовом зале, неплохом, но вполне скромных размеров, голоса этих великолепных оперных певцов звучали потрясающе. В исполнении Михайлова помню арию Сусанина («Ты взойдешь, моя заря»), а Козловский пел вальс «На сопках Маньчжурии» – его необычайный голос с мягким украинским акцентом заполнял зал.

В первые послевоенные годы была разрешена, и даже поощрялась, переписка между московскими школьниками и школьниками из стран Восточной Европы. В 1946–1947 годах началась переписка между девочками нашего класса и ребятами из Чехословакии.

Я и моя подруга Юля Печерская переписывались с двумя очень разными мальчиками, неплохо писавшими по-русски. Юлин корреспондент много и очень «правильно» писал о политике, о замечательной Советской власти, о Советской Армии, освободившей Чехословакию. Мне писал мальчик по имени Милослав Зучек – писал о книгах, о природе, о том, как он живет в своей «деревне Тржемошна, у Пльзне». Он написал мне, что работает каменщиком, и прислал свою фотографию: интеллигентное лицо, тонкие черты, очки в модной оправе, белая рубашка с галстуком-бабочкой. Словом, лицо студента консерватории, а никак не каменщика из деревни. Надо мной смеялись: «Каменщик?! Может быть, он имеет в виду «вольный каменщик», масон? Или архитектор?»



Наша переписка продолжалась до февраля 1948 года, когда в Чехословакии произошел коммунистический переворот. Письма Зучека внезапно прекратились. Я написала ему ещё несколько раз – потом перестала писать и я. Стало ли ему ясно истинное лицо Советского Союза? Или что-то случилось лично с ним? Во всяком случае именно тогда начала меркнуть слава освободителей Чехословакии, окончательно погасшая в августе 1968 года.

## **Летние поездки после войны**

Во время войны в летние месяцы меня посылали на пару недель к папиным родственникам в Ногинск, а дважды – в пионерские лагеря. Об одном из них немного расскажу.

Лагерь был расположен около станции Мамонтовка, недалеко от нашей будущей дачи. Я была в старшей группе и жила со своими однолетками-девочками в домике, стоявшем в стороне от основных построек лагеря. Поздно вечером к домику иногда приходили ребята из соседних деревень, кидали камни в стенки домика, пугали нас, и мы действительно трусили. Но главное воспоминание о лагере – это постоянное чувство голода, которое испытывали мы все. Помню, как на завтрак нам давали по яйцу и объясняли, что оно по калорийности соответствует килограмму картошки. А нам так хотелось именно килограмм картошки! Бывали какие-то задержки с доставкой продовольствия в лагерь, и тогда нам, старшим, говорили: «Если хотите обедать – все на сбор крапивы!» Мы собирали крапиву и имели в тот день вкусные крапивные щи. Мама приезжала ко мне два раза в неделю и привозила полную сумку еды – хорошо помню громадные омлеты из американского

яичного порошка. Потом мама говорила мне, что рассчитывала привезти мне еду на 3–4 дня, но к её ужасу я прямо при ней быстро съедала всё, что она привозила.

И вот наиболее активные из ребят решили пойти ночью на ближайшее картофельное поле воровать картошку. Предложили и мне, но я отказалась. Как ни голодно было, я не могла позволить себе такого поступка. Однако, хватило моей принципиальности ненадолго. Ворованную картошку отнесли на кухню, договорились, чтобы там её сварили, и вечером вся компания приступила к трапезе. Аромат горячей картошки разносился по всей палате и был невыносимо прекрасен. Меня угощали, но как же могла я есть – я же не принимала участия в добыче! Это испытание заглушило голос совести, и на следующий вечер я пошла вместе со всеми «на дело» и стояла «на шухере», пока другие копали картошку. А потом пировала со всеми вместе.

В первое мирное лето мы с мамой уехали отдыхать в Тарусу. Это были мои первые настоящие каникулы после 1940 года. Поехали вместе с семьёй Обухов – Наташей и её родителями. Сняли избу у местной учительницы, немолодой женщины, жившей вдвоём с дочкой лет восьми. Продукты привезли с собой из Москвы и готовили еду в огромной русской печке.

Таруса – это райский уголок, одно из красивейших мест средне-русской полосы. Городок расположен на крутом левом берегу Оки, которая здесь широка и живописна. На противоположном берегу – песчаные пляжи и бесконечные поля. Попасть на правый берег можно только на пароме, паромщик работает с утра до темноты, руками наматывает трос на барабан, стоящий на пароме. Вокруг городка на многие километры тянутся великолепные леса – разнообразные и очень гостеприимные. Нет непролазных чащ, мало густых еловых лесов – преобладают дубы, березы, сосны. Множество светлых полян...

Должно быть, мы приехали в Тарусу в конце июля и прожили там весь август, до школы. Основным занятием для всех, от мала до велика, было собирание грибов, которыми так богаты тарусские леса. На грибы охотились со страстью, с азартом. Наташин отец уходил из дома первым, на рассвете, и когда мы вставали, он уже возвращался с полной корзиной невероятно красивых грибов, в основном белых. С ним никто не мог сравниться.

За переправой через Оку начиналась красивая лесная дорога в Поленово, бывшую усадьбу художника Поленова. Мы не раз бывали в музее, где в основном были работы самого Поленова – пейзажи и большие полотна на библейские сюжеты («Кто первый бросит в неё камень?» и «Возвращение блудного сына»), а кроме того и полотна других художников, работавших там.

В Тарусе мы полностью отключились от событий в мире. Не было ни газет ни радио. И не было потребности в них – ведь война кончилась. И мы прожили там весь август, не зная ни о войне с Японией ни об атомных бомбах, сброшенных американцами на Хиросиму и Нагасаки.

Американцы сбросили атомную бомбу на японский город Хиросиму утром 6-го августа. Это событие (в отличие от последующих советских побед над квантунской армией японцев) совсем не афишировалось в советской печати. Сообщение о Хиросиме появилось в газетах 8 августа в виде маленькой заметки (А.Верт пишет – размером в третью часть столбца), и в тот же день была опубликована нота Советского Союза – объявление войны Японии. О бомбе, сброшенной на Нагасаки, вообще долго не писали.

Война была короткой – меньше месяца, с 8-го августа до 2 сентября. Уже 14 августа император Японии согласился на безоговорочную капитуляцию, однако, квантунская армия продолжала сопротивляться и капитулировала только 22 августа, а 2 сентября на борту американского крейсера был подписан акт о капитуляции Японии.

Появление американской атомной бомбы имело важные последствия для научных работников в Советском Союзе. Правительство поняло, что учёные полезны для военной мощи страны. Это, конечно, в основном касалось физиков, математиков, химиков, но попутно отозвалось и на других научных работниках: всем была существенно увеличена зарплата. Мои родители, до той поры находившиеся на довольно низком уровне благосостояния, неожиданно почувствовали себя богатыми людьми. Привычка к скромному быту, однако, сохранялась, а дополнительные деньги наша семья стала тратить на путешествия, к которым мама особенно стремилась.

Летом 1946 года мы с мамой отправились в Крым, в санаторий научных работников в Гаспре. Папа оставался в Москве – мама надеялась, что он без нас в спокойной обстановке начнёт, наконец, писать свою докторскую диссертацию. Провожая нас, папа говорил маме: «Я тебе завидую – ты увидишь первую Лёлькину встречу с морем».

Моя встреча с морем оказалась неудачной. Меня в то время сильно укачивало, и пятичасовой путь из Симферополя в Ялту на автобусе по извилистой дороге, пересекающей Крымские горы, измотал меня совершенно. На остановке в Алуште «у самого синего моря» мне на море не хотелось и смотреть. Приехали в Гаспру вечером, и мама попыталась было тащить меня к морю – это было невозможно.

Южный берег Крыма – неширокая полоса побережья, от Алушты на западе до Симеиза на востоке, огражденная с севера спускающимися к морю отрогами Крымских гор. Южный берег – одно из красивейших мест на земле, а для меня – самое красивое из всего, что мне пришлось увидеть. Горы обрываются к берегу круто, склоны их покрыты местами сосновым лесом, а местами – это голые скалы. Из Ялты и Мисхора видны на фоне южного синего неба зубцы вершины Ай-Петри. Весь берег – это либо спуск к

морю, либо подъём к горам. Как ни выпрямляли шоссе между Алуштой и Симеизом, но оба они – и Верхнее и Нижнее – по-прежнему вьются серпантином, то спускаясь, то поднимаясь. Единственная горизонтальная дорога – Царская Тропа, проложенная от Ливадии до Ялты над морем: место верховых прогулок царской семьи.

Южный берег – это дворцы Российской знати и великолепные парки: царский дворец в Ливадии, Воронцовский в Алупке, Юсуповский в Кореизе. Здесь, на Южном берегу, проходила в 1944 году знаменитая Ялтинская конференция трёх держав. В Ливадийском дворце, где происходила сама конференция, размещалась американская делегация – это было сделано из-за болезни Рузвельта, в Воронцовском дворце – английская делегация, в Юсуповском – советская.

Не мне описывать Крым, да и не сумею мне этого сделать. С Крымом связано многое в моей и личной и профессиональной жизни. Я бывала там несколько раз с родителями, с Вадимом в пору нашего романа, с нашими маленькими детьми, со старшим сыном Витей перед его отъездом в Америку. Бывала там летом, золотой осенью и ранней весной, когда весь берег покрыт шапками цветущих деревьев, а в дворцовых парках неистово цветет глициния. Не раз я бывала в Ялте на конференциях по иммуноглобулинам (моя специальность). Эти конференции устраивал Роальд Незлин из института молекулярной биологии Академии наук и Серёжа Тэтин из мединститута в Симферополе. Незлин давно в Израиле, Тэтин – в Америке, и мы в Америке. Все разлетелись...

«Гаспра» – название татарского селения в верхней части Южного берега, между Ялтой и Алупкой. И «Гаспра» – название дворца, принадлежавшего графине Паниной. Дворец построен из серого камня, по бокам – симметричные зубчатые башни, увитые вечнозеленым плющом. От дворца вниз, от Верхнего шоссе к Нижнему, спускается парк – с аллеями пирамидальных кипарисов, каменными лестницами, скульптурами, бассейнами и фонтанами. Во дворце когда-то гостил Толстой,

поэтому санаторий для ученых называли «Ясная Поляна». Гаспру упоминает в своих воспоминаниях Надежда Мандельштам – это был санаторий ЦЕКУБУ<sup>61</sup>, где в конце 20-х или начале 30-х годов она с мужем отдыхала.

В санатории, в нашей палате (именно палата, а не комната) были сплошь доктора наук и профессора, всего не меньше 6-ти человек. Где-то был туалет и душ – я не помню где, и уж конечно не только для нас шестерых. Вспоминаю всё это сейчас с удивлением, потому что тогда это казалось большим комфортом, иного никто себе не представлял.

Крым был прекрасен, как ему и положено быть. Было чудесное, неповторимое море – живое и веселое, с игривым прибоем, с прозрачной водой и волнами, бьющими в прибрежные камни с зелеными «бородами» водорослей. Я плавала «от бороды к бороде» – на камнях, торчащих в отдалении, можно было всегда передохнуть. По морю вдоль берега, до Ялты и Гурзуфа в одну сторону и до Симеиза – в другую, бегал прогулочный катерок, с него можно было любоваться видом берега и гор. Больше никаких корабликов или лодок не было, море всегда было пустынно: ведь напротив, на другом берегу, Турция, море – это граница, которая в советские времена всегда была «на замке».

Мой первый Крым был Крымом 1946-го послевоенного года, и многое в нём казалось странным моей маме, знавшей его в другие времена. Крым маминой юности был Крымом крымских татар, которые жили там веками, Крымом виноградарей и виноградников. Я увидела Крым украинцев, которые перебрались сюда вместо выселенных в 1944 году татар. Подобно другим репрессированным народам (немцам Поволжья, калмыкам, чеченцам, ингушам) крымские татары, обвинённые в поддержке немцев, были выселены в Казахстан сразу

---

<sup>61</sup> Центральная Комиссия по Улучшению Быта Ученых

после освобождения Крыма. Украинские переселенцы 46-го года разместились в татарских саклях. Они были растеряны, не знали, как поступать с каменистой землей на сухих склонах, идущих к морю, уничтожали виноградники и сажали привычную им капусту, поражавшую своим чахлым видом.

Выселенные народы были реабилитированы только во времена Хрущева, но как-то не полностью. Насколько я знаю, на родину смогли вернуться только калмыки и народы Северного Кавказа. Мы бывали в Карачаево-Черкессии в 70-е годы и видели там ребятишек с отчетливо казахскими, широкоскулыми лицами – память о ссылке в Среднюю Азию. Чеченцы вернулись, сохранив стремление к независимости, которая потом обернулась страшной трагедией народа. Немцам Поволжья вернуться не разрешили – только в конце 90-х годов многие из них вернулись – но не в Поволжье, а в Германию, откуда их предки уехали в 18-ом веке. Крымские татары многие годы упорно боролись за право вернуться в Крым, боролись, рискуя тюрьмой и новой ссылкой.

Летом 1946 года добрая половина Южного берега представляла собой запретные зоны. Дворцы российской знати ремонтировались и обустроивались под дачи для новых хозяев – так, Ливадийский дворец царской семьи стал одной из дач Сталина. Мы узнали об этих запретных зонах случайно.

Гаспринский автобус каждое утро возил нас вниз к морю на принадлежавший Гаспре пляж, а к обеду – обратно вверх, потому что пешком подниматься было далеко и трудно. Однажды мама, я, и ещё 2–3 человека из санатория решили пройтись до Гаспры пешком и не по шоссе, а напрямик. На Южном берегу заблудиться трудно, всегда есть два постоянных ориентира, море и горы. Карабкаясь вверх, перешагнули через невысокую каменную ограду, попали на старое мусульманское кладбище, миновали его и вышли на шоссе с полосатой

будкой и вооружённым часовым. Не ожидая подвоха, подошли к нему спросить наиболее короткий путь в Гаспру, но вместо ответа часовой приказал нам сесть под деревом неподалёку и ждать, пока придёт его смена. Мама не хотела ждать и сказала, что мы лучше пойдём дальше по шоссе вверх. «Пойдете – буду стрелять» – решительно ответил страж. Такая вот угроза. Мы уселись под деревом и стали ждать.

Прошёл час, другой, третий. Попытки заговорить с часовым были безуспешны, на вопросы, когда же его сменят, он отвечал «разговаривать не положено». Время обеда мы пропустили, голод давал себя знать. У меня была с собой книжка, кажется, что-то Тургенева, я читала для всех вслух и как назло попадала на подробные описания пиршеств. В какой-то момент по тропинке сверху спустился высокий человек, и мы бросились к нему с нашими вопросами, но тот улыбнулся, развёл руками и сказал что-то по-немецки – это был один из пленных немцев, работавших на ремонтных работах.

Только под вечер к нашему стражу пришла смена, и он повёл нас в комендатуру. Сменившись, страж сразу приобрел человеческий облик, предложил провести нас в комендатуру через парк и даже показал бассейн, где плавали чёрные лебеди. Это был парк Юсуповского дворца, где позже разместилась дача Молотова.

В комендатуре нас вызывали по одному и допрашивали. В открытых летних платьях, с купальниками в руках и полотенцами через плечо, мы были не самой подходящей публикой для допроса. Но форма была выдержана до конца. Старший военный чин записал домашние адреса и ещё какие-то сведения, выяснял «как мы попали в запретную зону и с какой целью», и сообщил, что «при повторном задержании» отправит нас в Ливадию, в «наш центр». Мама не удержалась и состригла: «Ах так, теперь мы знаем, как посмотреть Ливадию».

Но вторично мы судьбу не испытывали и Ливадийского дворца в тот год не видали. Увидела я его уже



после смерти Сталина и воцарения Хрущёва, когда Ливадийский дворец стал санаторием. Парк дворца отличался от других парков Южного берега полным отсутствием пирамидальных кипарисов. Нам рассказали, что их приказал уничтожить Сталин – он боялся, что в их густой темной зелени может спрятаться злодей-убийца.

В следующем, 1947 году, наше летнее путешествие было особенно интересным. Я провела вместе с родителями полных два месяца – в июле на Финском заливе близ Выборга, в августе – в Сухуми.

Дом отдыха под Выборгом находился на острове Пуккин-Саари – по-фински это неблагозвучное имя означает «Остров цветов». Добирались туда железной дорогой через Ленинград, Выборг, а потом на «кукушке»<sup>62</sup>, которая ползла, рассыпая паровозные искры, через лес, стоящий непроницаемой густой стеной. Остров Пуккин-Саари весь был покрыт таким лесом, густым и мрачным – сосны, гранитные валуны, покрытые мхом, безлюдье и почему-то постоянное ожидание, что за камнем, за деревом, прячется враг. Лес был наполнен следами войны – той давней, финской: каски, гильзы...

Мы ездили на лодке на соседний островок, где сохранилась подземная, вернее, подводная, тюрьма – казематы были гораздо ниже уровня воды, и спускаться туда было жутко, словно в могилу. Говорили, что тюрьма построена была финнами, и там содержали советских военнопленных, потом с той же целью её использовали немцы. Так ли это – не знаю. У невысокой наружной ограды мы видели выщербленную пулями стену, стреляные гильзы вокруг. Следы расстрелов?

Пару раз ездили в соседний Выборг – город-призрак, уничтоженный финнами, покидавшими его в 1940 году. Поразительно выглядели улицы Выборга – прямые

---

<sup>62</sup> Маленький поезд одноколейной железной дороги.

и чистые, с рядами красивых невысоких домов. Улицы казались бы обычными, если бы не странное для города безлюдье, а стоило приглядеться, и становилось ясно, что все дома – это пустые коробки, сквозь окна-провалы видно небо: все дома были взорваны изнутри.

Из Пуккин-Саари через Ленинград и Москву отправились в Сухуми, где провели незабываемый месяц. Маленький дом отдыха Академии медицинских наук (АМН СССР) располагался в двухэтажном домике на горе Трапезия, в самом центре Сухумского обезьяньего питомника. Питомник был организован сначала как биологическая станция, а потом приобрел статус института – стал научно-исследовательским институтом экспериментальной патологии и терапии Академии медицинских наук.

Могла ли я тогда предвидеть наши будущие связи с этим институтом и дальнейшую его судьбу? Там много работал в 70-е и 80-е годы Вадим, проверяя на обезьянах эффективность своей дизентерийной вакцины. Он и его сотрудники ездили в Сухуми дважды в год, контакты с сотрудниками института стали систематическими, а отношения – дружескими. В конце 80-х годов начала работу с Сухумским институтом и я – мы пытались получить на обезьянах антисыворотки к субклассам иммуноглобулинов человека. Работа эта была прервана: уехала в Израиль моя основная и самая близкая сотрудница Галина Павловна Герман, потом уезжали в Америку мы.

Руководил институтом его фактический создатель профессор Б.А. Лапин, не только большой партийный босс в Абхазии, но и человек с сильнейшими связями в Москве. Именно ему удалось придать биостанции статус института, он умел добывать деньги, развивал международные связи института. Многие ученые из стран Восточной Европы стремились вести совместные работы с институтом, многим нужны были эксперименты на обезьянах. Лапин был жестким хозяином, и не без самодурства, но сотрудники его любили, и под его руководством институт расцветал.

Институт был образцом многонационального учреждения: в лаборатории, которой руководила милейшая женщина профессор Э.К. Джикидзе, работали грузины, русские, армяне, евреи, греки. Эта национальная пестрота отражала особенности населения Сухуми, столицы Абхазской автономной республики.

Но все это было, было... Некоторые уезжали. Уехала гречанка Афина из лаборатории Джикидзе. Начали уезжать евреи. Но главный удар был нанесен грузино-абхазским конфликтом, в котором неблагоприятную роль играла Россия. Конфликт привел к настоящей войне. Институт был разрушен, обезьяны погибли, хозяйство пришло в полный упадок. Полностью погибло вольное стадо обезьян, созданное на острове в горах – вооруженные люди (грузины? абхазцы? – Бог знает) просто развлекались, охотясь на обезьян. Лапину удалось что-то спасти, перевезти на территорию Российской Федерации, в соседний город Адлер. Туда же переехали некоторые сотрудники.

Но все это было потом, спустя десятилетия. Летом 1947 года мы жили в домике на территории института. Публика в доме отдыха была вполне академическая. Помню среди отдыхающих хирурга Петровского, будущего Министра здравоохранения, уже тогда знаменитого, ленинградского профессора-патологоанатома Цинзерлинга с дочкой Наташей, которая часто составляла нам компанию.

Вольеры с макаками и павианами находились рядом. Сбежавшие оттуда и гулявшие на свободе макаки приходили к отдыхающим выпрашивать персики и ели их почти из рук, сдирая и выплевывая пушистую шкурку. Характер у обезьянок был вздорный и злобный – когда они наедались, на предложение лишнего персика отвечали злобным оскалом и угрожающим шипением.

Территория института была настоящим парком с великолепными пальмами и другими субтропическими растениями. Так же как раньше в Крыму, я собирала гербарий. Внизу, под горой Трапедия, был небольшой,

но очень хорошо организованный ботанический сад, где можно было узнать названия растений, и я бывала там часто. Ездили мы на экскурсии, организованные домом отдыха, в том числе вверх по течению реки Кудор к знаменитой Богатской скале, где вырубленная в скале дорога проходит на высоте в несколько десятков метров над отвесным обрывом.

Но основное время мы проводили на море. У лодочной пристани брали всегда одну и ту же весельную лодку «Партизанка», отправлялись покататься на волнах, а потом гребли к берегу подальше от города и загорали.

\* \* \*

Пришла весна 1948 года. Пришли и прошли выпускные экзамены, в том числе и выпускное сочинение. Как же важно было узнать, какие темы будут «спущены» для сочинения! Кто-то пытался звонить знакомым во Владивосток, где благодаря разнице во времени единые по всей России темы известны были на несколько часов раньше. Столько было волнений в связи с этим, а сейчас я даже не помню, что писала в конце концов на выпускном экзамене...

Потом был выпускной вечер и традиционная прогулка по ночной Москве к Красной площади, храму Василия Блаженного и Васильевскому спуску к реке. Уставшие от долгой прогулки в туфлях на высоких каблуках, снимали туфли и шли босиком.

По-моему, все выпускники нашего класса поступили в институты – в университет, в архитектурный институт, в медицинский институт. Инна Цветаева поступила в Тимирязевскую Академию на факультет защиты растений. Я колебалась между биологическим факультетом МГУ и медицинским институтом, но в конце концов решила пойти в медицинский и заниматься микробиологией. В моём выборе, конечно, большое значение имел пример родителей.

Окончила я с золотой медалью, а золотых медалистов принимали без вступительных экзаменов. Я просто отнесла документы в Первый мединститут и спокойно уехала на Кавказ, по Военно-Грузинской дороге, а потом в Крым с родителями. Вернулась в Москву только в конце августа – к самому началу занятий в институте.

## Глава 3. Студенческая жизнь

### Начало студенческой жизни. Однокурсники

Кафедры младших курсов мединститута находились на Моховой улице среди старых зданий Московского университета. Это было недалеко от моего дома, ездить в институт мне было очень удобно: несколько остановок троллейбуса по улице Горького.

Практические занятия шли по группам в 25–30 человек. Лекции нам читали в больших аудиториях сразу большой группе студентов в 150–200 человек: так называемый «поток»<sup>63</sup>. Два раза в год, зимой и весной, устраивали экзаменационные сессии, а между ними – зачёты по отдельным разделам курса; на зачётах отметок не ставили. Всё это мало отличалось от школьных занятий. Да и предметы были почти те же – химия, физика, биология. Прибавились, правда, специфически медицинские предметы, и среди них самый трудный – анатомия человека. Клинические дисциплины появились с третьего курса.

Обучение было бесплатным, и это воспринималось так естественно, что не будь у меня сейчас американского опыта, наверное, я и не упоминала бы об этом. Более того, студенты получали стипендию: обычную

---

<sup>63</sup> На курсе было два потока.

(помнится, 200 рублей в месяц) или повышенную – при отличной успеваемости. Большой разницы между обычной и повышенной стипендиями не было, обе они не могли обеспечить нормальное существование, а служили только подспорьем к помощи из дома или к заработку. Был ещё особый вид стипендии – Сталинская. Эту стипендию получали студенты, занимавшиеся общественной работой (комсомольской, партийной, профсоюзной) причем на довольно больших должностях, вроде секретаря партийной организации курса. Сталинская стипендия была действительно большой (в 4–5 раз больше обычной), но таких стипендиатов были единицы.

Студенческая группа была гораздо более разнородной, чем школьный класс. Немало было таких же, как я, москвичей, вчерашних школьников, из вполне обеспеченных семей. В моей жизни стипендия, которую нам платили, мало что значила. Но много было приезжих из других городов, им приходилось жить в студенческом общежитии или снимать комнату. Кому-то помогали из дома, а если такой помощи не было, приходилось работать, часто в ночную смену. Нередко работали санитарями, а те, кто имел среднее медицинское образование – медсестрами (медбратьями), часто на «Скорой помощи».

Была среди нас и совсем особая категория студентов. Ведь это был 1948 год, только недавно окончилась война, и вчерашние фронтовики пришли в вузы. Их принимали без конкурса, надо было просто сдать вступительные экзамены. Ребята эти были на несколько лет старше нас, свежих выпускников школы. И дело было не только в возрасте – бывшие фронтовики были люди много повидавшие и пережившие, они знали жизнь не понаслышке, и к тому же в ее страшных проявлениях.

Моя компания, конечно, формировалась из вчерашних школьников. С моей будущей институтской подругой Вероникой Элькинд я была знакома и раньше, наши школы были расположены недалеко, мы встреча-

лись на каких-то районных собраниях, однажды были в одном летнем лагере, а в институте попали в одну группу, и между нами возникла прочная дружба.

Есть фотография, где наша группа снята на занятиях по анатомии в октябре 1948 года. В центре – Росалия де Франциско Гомес, испанка, и я вспоминаю о ещё одной категории моих однокурсников.

1936 год, гражданская война в Испании. С одной стороны – Франко, фашисты, фалангисты, с другой – республиканцы, а с ними коммунисты. Рука Сталина рвётся к Пиренеям. Создана интернациональная бригада, в которой доминируют коммунисты. Испанское золото «спасают» – вывозят в Россию... навсегда. И детей республиканцев вывозят в Россию – для их спасения, и для подготовки коммунистических кадров будущей Испании. Но Франко победил, республиканцы разбиты, их дети остаются в России. Они живут в специальных детских домах, держатся вместе, говорят между собой по-испански. Идут годы, дети подрастают, учатся, женятся и выходят замуж, мечтают о возвращении на родину. Пока там Франко, пока здесь Сталин – возвратиться нельзя. При Хрущёве и после смерти Франко им разрешили вернуться, и почти все они возвратились.

Со мной на курсе учились три девочки-испанки: Росалия в моей группе, Кармен и Ракель – в параллельной группе. Мы вместе занимались, вместе ездили осенью в колхозы собирать картошку. Как сейчас вижу – в крестьянской избе отмечаем день рождения Кармен. Она сидит за столом в центре, на ней – венок из васильков, красивая экзотическая девочка, заброшенная судьбой в чужие края.

Была на нашем курсе и ещё одна немногочисленная категория – студенты из других стран.

На первом курсе в нашей группе училась Таня Паукер, дочь румынской коммунистки Анны Паукер. Пер-



вые дни мы смотрели на Таню как на иностранку, присматривались к ней с любопытством – иностранцы в России были редкостью. Но очень скоро поняли, что Таня не отличается от нас. Она прекрасно владела русским языком, со сленгом и идиомами, без малейшего акцента, и все особенности нашей жизни знала не хуже нас. Оказалось, что вся её сознательная жизнь прошла в России, так же, наверное, как и жизнь её матери, работника Коминтерна. Не знаю, владела ли Таня румынским (молдавским) языком, но после окончания войны она жила некоторое время в Румынии и рассказывала нам, что бывала с матерью на приёмах у короля Михая Первого, награждённого в конце войны высшим советским военным орденом – Орденом Победы. Помню портрет короля Михая на первой странице газеты «Правда» – красивый молодой человек с орденой звездой на груди. Таня рассказывала, что Михай ей очень нравился, и она радовалась слухам, что Анна Паукер собирается выдать свою дочь замуж за молодого короля. Король, однако, вскоре вынужден был отречься от престола и покинуть свою страну, а коммунистка Анна Паукер стала министром иностранных дел Румынии. В 1952 году Анна Паукер была снята с этого поста, а в 1953 году арестована на волне антисемитской кампании в СССР. Таня Паукер уехала из Москвы, когда мы были ещё на первом курсе, и я ничего не знаю о дальнейшей её судьбе. Анна Паукер была освобождена из тюрьмы после смерти Сталина.

Еще одна иностранка появилась в нашей группе зимой на первом году учебы – венгерская девочка, Жужа Катко Иштванне. Жужа была «очень иностранной», прежде всего потому, что она не знала ни одного слова по-русски. Приехала она со своим мужем, Иштваном Катко, молодым рабочим парнем, которого направили в Советский Союз в качестве журналиста. Жужа срочно, перед самым отъездом, зарегистрировала свой брак, чтобы иметь возможность ехать вместе с ним. На курсе

она занималась дни и ночи – и специальными предметами и русским языком, и очень успешно. Мы все поражались её работоспособности и упорству. Была она скромной и милой девочкой, мы все её очень полюбили. Оказалось, однако, что муж её не был столь успешным в изучении русского языка, и его скоро решили отозвать назад в Венгрию. С ним вместе уехала и Жужа. На прощание она подарила мне свою фотографию с милой надписью по-русски, я храню её. Потом я получила от неё пару писем, она болела тяжёлым энцефалитом, только начала поправляться. Потом переписка прервалась – «дырки» в железном занавесе, образовавшиеся сразу после войны, заделывались быстро и эффективно.

Дать  
фото  
Жужи?

## **Советское средневековье.**

### **Сессия ВАСХНИЛ<sup>64</sup> и многое другое**

Поначалу казалось, что студенческая жизнь мало отличается от школьной. Но так только казалось. В школе мы были в узком, замкнутом мире, институт привел нас в соприкосновение с миром внешним, с реальностью. Первое соприкосновение с реальной жизнью было связано с печально известной сессией ВАСХНИЛ, проходившей в августе 1948 года, перед самым началом наших занятий в институте. Сессия ознаменовала полный и окончательный разгром научной генетики в стране. Об этом написано много, особенно в последнее время. И всё-таки я расскажу об этом событии ещё раз и о том, что ему предшествовало.

---

<sup>64</sup> Всесоюзная Академия Сельско-Хозяйственных Наук имени Ленина.

Августовская сессия была завершением разгрома. О начале этого страшного дела я и мои сверстники не знали – мы были для этого слишком незрелыми. Наступление Средневековья в советской биологической науке (и не только в биологической, но и в науке в целом, и в искусстве, и в любом творчестве) началось одновременно с террором, коллективизацией, индустриализацией, словом, одновременно со строительством социализма, и достигло апогея в послевоенные годы, в последние годы жизни Сталина.

Одной из непосредственных причин разгрома биологической науки была коллективизация. Нормальная жизнь деревни была сломана. Наиболее толковые и работающие крестьяне, «кулаки», ограблены, сосланы, уничтожены. В деревне хозяйничала пьянь и голь, они были основой советской власти в деревне, опорой строительства колхозов. И следствием этой политики было разрушение сельского хозяйства и голод. Проблемы сельского хозяйства надо было решать срочно, не откладывая. Только шарлатаны готовы были обещать всё, что угодно, и притом немедленно. На этом фоне и появился Лысенко, крайне невежественный агроном, «принципиально» не читавший мировую биологическую литературу и презиравший науку вообще и достижения современной генетики в частности. Прimitивный и невежественный, Лысенко считал, что новые виды растений можно создавать просто путем изменения условий среды, в которой культивируются растения. Он не подозревал, что следует в своих воззрениях давно отжившей теории Ламарка. На помощь Лысенко пришел И.И. Презент, «философ» советского выпуска, который специализировался на подведении марксистской базы под агрономические идеи Лысенко. Вместе Презент и Лысенко выдвинули понятие «творческого дарвинизма» и провозгласили решающую роль внешней среды в формировании наследственных признаков.

С помощью «творческого дарвинизма» Лысенко предлагал быстро решить проблему урожайности, используя яровизацию<sup>65</sup> озимой пшеницы, а заодно с помощью яровизации продвинуть на север хлопчатник, кукурузу, сою и другие теплолюбивые растения. Он обещал создать в кратчайшие сроки высокоурожайные виды проса, невырождающиеся сорта картофеля, обеспечить небывалые урожаи. Всё это Сталину нравилось, он поддерживал решительного агронома из крестьян, карьера Лысенко росла как на дрожжах, он быстро стал академиком, а затем и президентом ВАСХНИЛ.

Лысенко был не просто невежественным человеком – он был злым фанатиком, не отягченным моралью, готовым бороться со своими противниками-учёными всеми доступными методами, включая не просто демагогию, но и доносы в «органы». В 30-е годы он говорил о «вредителях-кулаках в науке», о том, что «классовый враг – всегда враг, учёный он или нет». На одной из таких конференций Сталин в ответ на слова Лысенко говорил «браво» и аплодировал. С помощью Лысенко в 30-е годы были арестованы и погибли многие сотрудники выдающегося биолога Николая Ивановича Вавилова, создателя и руководителя ВИР<sup>66</sup> в Ленинграде, создателя и президента ВАСХНИЛ. Затем был ликвидирован и сам Вавилов: в 1940 году он был арестован, приговорен к расстрелу, но «помилован», и в 1943 году умер от голода в тюрьме города Саратова. Однако, классическая генетика в Советском Союзе еще существовала, уровень науки был высоким, оставались сильные ученые-генетики. Такие ученые были по самому своему существу врагами Лысенко. Чтобы самому подняться к вершинам карьеры, он должен был их уничтожить.

---

<sup>65</sup> Предварительное выдерживание семян пшеницы на холоде.

<sup>66</sup> Всесоюзный Институт Растениеводства.

Решение покончить с врагами-генетиками в августе 1948 года было, возможно, связано с появлением критики Лысенко. Среди наиболее влиятельных критиков был Андрей Жданов (один из ближайших помощников Сталина) и его сын Юрий, возглавлявший отдел науки Центрального Комитета партии. После сессии ВАСХНИЛ Юрий Жданов был смещён со своей должности, а Андрей Жданов неожиданно умер в сентябре 1948 года.

Сессия ВАСХНИЛ была настоящим избиением генетиков бандой лысенковцев. Позиции Лысенко были одобрены лично Сталиным. Из 56-ти выступлений на сессии только несколько человек решились отстаивать научную генетику (Немчинов, Жебрак, Жуковский, Завадовский, Алиханян, Поляков, Рапопорт). В тех условиях их научная принципиальность была проявлением настоящего героизма. На следующий день некоторых из них вынудили покаяться в своих «заблуждениях».

Среди тех немногих, кто не отступился от своих взглядов, был генетик Иосиф Абрамович Рапопорт. Нам посчастливилось позже познакомиться с ним – с его братом, Константином Абрамовичем, мы много лет дружили, с его семьёй ездили вместе отдыхать. Иосиф Абрамович производил впечатление очень мягкого человека, совершенно лишённого резкости в манере и выражениях. Трудно было представить себе, что этот человек прошёл войну, на фронте несколько раз совершал настоящие подвиги храбрости, трижды был представлен к званию Героя Советского Союза, но не получил этого звания – евреев из списка представленных часто вычеркивали<sup>67</sup>. Трудно было представить его совершающим труднейший подвиг принципиальности в отстаивании своих взглядов наперекор указаниям партии и лично Сталина. После сессии ВАСХНИЛ Рапопорт был исключен из партии и уволен с работы. В течение 9-ти

---

<sup>67</sup> Это звание он получил только в 1990 году, за 2 месяца до смерти.

лет, до 1957 года, доктор наук И.А. Рапопорт перебивался случайными заработками, работал, например, лаборантом в геологической экспедиции. При всей своей внешней мягкости это был человек исключительной воли и смелости.

Позже я узнала о самоубийстве биолога Дмитрия Анатольевича Сабинина, работавшего на кафедре физиологии растений МГУ. Вскоре после сессии ВАСХНИЛ Сабинин выступил на Ученом Совете биофака и отказался отречься от научных истин, которым был предан. Его уволили. Он готовил к изданию книгу по физиологии растений – в 1951 году набор книги был рассыпан. Сабинин застрелился.

Я помню события конца 1947 года – дискуссию о внутривидовой борьбе, развёрнутую на страницах «Литературной Газеты». Мне тогда по моей общей и биологической неграмотности обсуждение вопроса о том, существует или нет борьба внутри вида, казалось настоящей дискуссией. Публиковались разные точки зрения, и мне казалось, что идет обсуждение по существу. Правда, помню как дядя Коля с отвращением морщил нос при упоминании имени Лысенко. Такое же чувство отвращения вызывало у него упоминание имени Презента. Позже, уже после сессии ВАСХНИЛ, наш институтский преподаватель марксизма Александр Моисеевич Козлов, глупый и потому иногда откровенный, говорил нам на занятиях по поводу этой дискуссии: «Я тогда во время сориентировался и занял нужную позицию». Фраза запомнилась, и многие годы служила нам выражением сути конформизма и беспринципности. Исход дискуссии был, конечно, предрешен, и формула лысенковцев – «волк волка не ест, волк ест зайца» – была поддержана официально.

Александр Моисеевичу Козлову, как я узнала недавно, принадлежит еще одна замечательная фраза, сказанная в более позднее время, уже после смерти Сталина,

в период хрущёвской оттепели, году в 1956–1957: «Нам, старым членам партии, нетрудно менять свои взгляды, не то, что вам, молодежи». Эта фраза своей откровенностью запомнилась студентам следующих за нами курсов.

Из положения «волк волка не ест» родилась демагогическая идея Лысенко создавать «полезащитные лесонасаждения» в степных районах путем «квадратно-гнездового» способа посадки дубков. Полезащитные полосы были призваны остановить разрушение плодородных земель оврагами. Гнездовой способ посадки, когда рядом, «гнездом», сажали по четыре молодых дубка, был основан на том, что «дубок дубку поможет», так как внутри вида конкуренции нет. Моя сестра Людмила, дочь дяди Коли, поступившая в 1946 году на географический факультет Московского университета, летом ездила вместе с другими студентами сажать полезащитные полосы. Это было объявлено таким же «всенародным делом», как при Хрущёве – освоение целинных и залежных земель, а при Брежневе – строительство БАМа (Байкало-Амурской Магистрала). И таким же, как оказалось, бессмысленным.

Осенью 1948 года я и моя подруга Вероника Элькинд отправились на биофак МГУ. Там в аудитории зоологического музея на улице Герцена проходила дискуссия по материалам августовской сессии ВАСХНИЛ. Студенты биофака, в отличие от студентов-медиков, находились в центре событий. Преподаватели биофака, известные биологи, вчерашние уважаемые учителя, выдающиеся ученые, любимые лекторы подвергались шельмованию лысенковцами, изгонялись из университета. Студенческая масса кипела, в аудитории чувствовалось напряжение. За столом президиума восседал главный «творческий дарвинист» Презент, только что оставивший кафедру философии Ленинградского университета и назначенный на должность декана биоло-

гического факультета МГУ<sup>68</sup>. Презента окружали ученики, ленинградские студенты-философы - один из них был докладчиком, пересказывал выступления на сессии ВАСХНИЛ. После доклада посыпались записки с вопросами. Один из вопросов касался существования классической монографии Шмальгаузена «Факторы эволюции»<sup>69</sup>. Ответ докладчика был коротким и вполне марксистским: «Я всякую макулатуру не читаю». Тут же пришла следующая записка: «Как же Вы можете называть макулатурой то, что не читали?» Докладчик в ответ поднял книгу «Сессия ВАСХНИЛ»: «Мне достаточно было прочитать вот эту книгу». Этот запомнившийся мне диалог очень точно отражал стиль дискуссии.

Когда все закончилось, студенты, и слушатели и докладчики, скопились в очереди в раздевалку. Там, в просторном фойе зоологического музея, висело большое, во всю стену, панно, изображавшее схватку самцов-олений: два рослых оленя сцепились рогами в пылу борьбы за самку. Передо мной в очереди стоял студент-докладчик со своим товарищем. «Смотри-ка», – сказал товарищ, кивая на панно. «А ведь тут внутривидовая борьба». «Ну и что?» – откликнулся философ. «Мы же тоже друг другу в морду даем». Достойное это было завершение научной дискуссии!

В медицинском институте последствия сессии ВАСХНИЛ сказывались значительно меньше, чем в МГУ – они коснулись некоторых наших преподавателей и структуры курса биологии. Уже в первый год стандартный курс биологии был пересмотрен.

---

<sup>68</sup> Его сняли только после смерти Сталина – за растление студенток. Тогда острили: «Был презент, а стал плюс-квям-перфект».

<sup>69</sup> Шмальгаузен, крупный ученый, теоретик дарвинизма, подвергался яростным нападкам на сессии ВАСХНИЛ.



Интересно, что и в школе и в институте учебники, по которым мы занимались, назывались стабильными. На самом деле, вряд ли можно было вообразить что-нибудь менее стабильное. Учебники менялись согласно последнему постановлению Партии и Правительства, начиная с учебников младших классов школы, где портреты арестованных маршалов вымарывали лиловыми чернилами, и кончая запрещенными учебниками и руководствами по биологии и генетике. В конце сороковых – начале пятидесятих годов в Первом медицинском институте работала специальная комиссия по пересмотру литературы в библиотеке института. Книги, написанные не так или не теми (арестованными и уничтоженными), изымались, уничтожались или передавались на «спец-хранение» (в точности по Оруэллу, см. «1984»).

Вместо генетики, преподавание которой было запрещено, мы детально, как в прежние времена Библию, изучали книгу Лысенко «Агробиология». Немало студентов, и я в том числе, искренне радовались, что нам не надо заниматься генетикой, что законы Менделя и прочие премудрости были заменены для нас примитивной книжкой Лысенко. «Не надо сдавать» – это была наша главная радость. И не думали мы о том, что на всю жизнь останется серьезный пробел в образовании, что ликвидировать его не так легко, и не всем это удастся. И не задумывались над тем, что запрет на понятия ген и даже хромосома был введен в те годы, когда западные ученые уже расшифровали структуру ДНК, основного вещества наследственности.

«Агробиология» Лысенко, написанная топорно и примитивно, не раз вызывала у нас бурное веселье своими нелепыми формулировками. Помню как во время подготовки к экзамену, уютно устроившись с Вероникой на чердаке её дачи, прочитали мы определение понятий роста и развития по Лысенко. Примерно они звучали так: «Рост есть воспроизведение себе подобного через себе подобное, а развитие – воспроизведение себе подобного через себе неподобное». Неудержимый, исте-

рический хохот напал на нас. Мы не могли заниматься дальше – только успокоимся, возьмём в руки книгу, и опять «себе подобное и себе неподобное» вызывают припадок смеха.

Лекции по биологии читал нам профессор Ильин. Он был приспособленцем и конформистом, но в тот роковой 1948 год попал в немилость. Борцы с формальной (то есть классической) генетикой набросились на него за его маленькую статью о морской свинке в медицинской энциклопедии. Статья была написана до известной сессии, и профессор Ильин «во время не сориентировался и не занял нужную позицию». Он написал, что у морской свинки есть четыре хромосомы в то время как слово хромосома было лишено права на существование. Мама рассказывала, что на ученом совете института Ильин каялся в своём «преступлении».

Я начала с попытки объяснить причины лысенковщины – коллективизация, разорение деревни, безответственные обещания Лысенко. Но подобные объяснения носят частный характер и не в состоянии объяснить наступления Средневековья в огромной стране. Августовская сессия – только одно из событий этого времени. В 1946 году были разгромлены журналы «Звезда» и «Ленинград», шельмовали поэтессу Ахматову и сатирика Зощенко. В начале 1948 года было опубликовано постановление о формализме в музыке, и началась травля наиболее талантливых и признанных советских композиторов – Шостаковича, Прокофьева, Мясковского. Годом раньше, в 1947 году, устроен был «суд чести» над учёными Ключевой и Роскиным, авторами противоракового препарата, которые якобы передали иностранцам тайну излечения рака. Препарат КР (от слова «канцер», рак, но вернее, по инициалам авторов), был получен из трипаномы, возбудителя африканской сонной болезни. Жизнь показала, что проблеме излечения рака этот препарат не решил, но его активность в отношении раковых клеток была несомненной.

Препарат КР в Советском Союзе никогда не выпускали, но французская фирма Мерье начала его производство под названием «трипаноза» и выпускала по крайней мере до 1957 года, когда умер от рака мой папа. Мы пытались тогда добыть трипанозу. Осенью 1957 года в Москве проходил Фестиваль молодежи и студентов, и я поехала в Первый Мединститут, чтобы найти там французского студента-медика и просить его прислать мне этот препарат. Всё это было очень наивно. Я нашла студента-медика, рассказала ему о болезни отца и просила взять у меня советских денег, которые он мог бы тратить в Москве (на что?!), а мне купил бы и прислал трипанозу. Студент отказался от денег и обещал прислать, если только присылать лекарства в Советский Союз разрешено. Потом я узнала, что это не разрешено<sup>70</sup>, от студента никаких вестей не было, а трипанозу папе достали через институт, где он работал, и министерство здравоохранения. Было это за месяц до его смерти, когда у него не было свободного от метастазов места и когда морфий приходилось колоть по несколько раз в день. Но трипаноза была активна – после первых же уколов количество морфия можно было уменьшить: очевидно, препарат вызывал распад опухоли.

После истории с препаратом КР резко усилились гонения на исследователей, которые осмеливались контактировать с иностранными учеными. Для широкой публики создана была легенда о том, что авторы противоракового препарата продали секрет иностранцам за ... паркеровскую ручку. Сразу же появилась пьеса «Закон чести» (автор Александр Штейн), а потом и фильм «Суд чести» режиссера А. Роома по сценарию А. Штейна, за который оба они получили в 1949 году Сталинскую премию.

С этого времени на пути публикаций научных статей построили железный занавес. Посылая статью в журнал, авторы должны были приложить к ней акт экспертизы, в котором удостоверялось, что статья не содержит

---

<sup>70</sup> А ещё позже я узнала, как дороги на Западе лекарства.

секретных данных, запрещённых к публикации бесчисленными постановлениями и указаниями, которые перечислялись тут же (и которых ни автор ни большинство членов экспертной комиссии никогда в глаза не видели). Венцом идиотизма была дополнительная авторская справка, тоже прилагаемая к каждой статье, в которой сам автор клялся, что в статье не содержится «сведений и данных, которые могут составить предмет изобретения или открытия, так как...» – и дальше две пустых строчки, которые каждый автор заполнял в меру своей изобретательности, потому что разумного объяснения, почему не сделано открытия, никто предложить не мог.

Я забежала вперёд и пишу уже о том времени, когда приобщилась к научной работе. Но раз уж я написала о железном занавесе, с которым столкнулась с первых же своих шагов в науке, должна рассказать и о других столкновениях с тем же занавесом. Принимались меры не только для того, чтобы советские открытия не проникали на Запад, но и чтобы достижения западной науки и «тлетворное влияние Запада» не могли проникнуть в Страну Советов и смутить покой советских ученых. Рядовым научным работникам запрещено было читать западные научные журналы. Так удобно было в этих условиях делать изобретения и открытия, вплоть до изобретения колеса или велосипеда, и об этом в свою очередь не публиковать в «открытой печати», дабы не узнал коварный Запад! Когда много лет спустя я рассказывала сотрудникам своей лаборатории, что в годы моей юности запрещено было читать западные биологические журналы, молодежь мне не верила. Между тем это было именно так. Мой папа, тогда научный руководитель института, доктор наук, относился к тем привилегированным ученым, которые имели специальное разрешение на чтение медицинских и биологических западных журналов. Справка-поручительство, по которой Центральная медицинская библиотека выдавала ему научные журналы, гласила, что за профессора

В.А. Чернохвостова ручаются (не помню кто – дирекция? парторганизация?), что он не будет использовать полученные при чтении западных журналов сведения во вред советскому государству. Как мне жаль, что эта справка не сохранилась – такой замечательный памятник времени! Я использовала справку в своих «преступных» целях – брала в библиотеке журналы якобы для папы, по его доверенности, но читала сама.

Очень важным элементом в создании железного занавеса была доходившая до абсурда пропаганда всего русского, как самого передового, пропаганда достижений советской науки, которая, как утверждалось, давно обогнала все достижения Запада. Так, оказалось, что паровую машину задолго до Уайта изобрел русский умелец Ползунов, что радио изобрел отнюдь не Маркони, а Попов, что электрическая лампочка была впервые сделана не Эдисоном, а Яблочкинским, и так далее. Это не было стопроцентным враньем – были в России талантливые инженеры и изобретатели, которые, однако, в силу общей технической отсталости России и её изолированности от остального мира не могли продвинуть свои изобретения. Но в конце сороковых – начале пятидесятых годов борьба за российские приоритеты везде, где мыслимо и немыслимо, приводила к абсурду. Одним из выражений этого абсурда на бытовательском уровне было переименование привычных видов еды и устранение иностранных названий. Привычные нам французские булочки и парижские батоны стали соответственно городскими булочками и городскими батонами, конфеты «Американский орех» превратились в «Южный орех», пирожное «Наполеон» стало просто «слоеным пирожным». Все варианты подобных изменений вспомнить трудно, больше запомнились остроты на эту тему. Так, вместо «Наполеона» предлагалось использовать имя «Багратион»<sup>71</sup>. Ходил анекдот о конкур-

---

<sup>71</sup> Русский полководец времен войны с Наполеоном.

се на лучшую книгу о слонах. Англичанин представил книгу «Слоны и Британская империя», француз – брошюру «Любовь у слонов», немец – 12-титомное «Введение в элѐфантологию», а русский – книгу «Россия – родина слонов», потому что в это время в Московском зоопарке родился первый слоненок.

Я написала пока только об августовской сессии ВАСХНИЛ и разгроме генетики, о создании железного занавеса в области науки. А впереди были еще Павловская сессия и разгром физиологии, борьба с «космополитами» и преследования евреев, и уже под занавес, накануне смерти Сталина – дело врачей-убийц. Объяснение этого безумия невозможно, это за пределами человеческого понимания. Вспоминается выражение Игоря Бунича – Полигон Сатаны.

На таком Полигоне Сатаны проходила моя студенческая жизнь. Но как это бывает в юности, мы не пропускали в жизни светлые и радостные моменты, а на многие мрачные вещи смотрели с юмором и легкомысленным весельем. Мне ещё придется возвращаться к теме Советского Средневековья, но писать об этом подряд трудно, а кроме того, возникнет ощущение сплошного мрака, и хоть это соответствует реальной действительности, но не отражает моего восприятия жизни в то время.

## **Просто жизнь**

В школьные годы моя жизнь была сосредоточена почти исключительно на учебе, отметки значили для меня непростительно много, и это лишало меня многих других радостей и развлечений. Я давала себе слово, что в институте такого не будет. Однако, психология отличницы стала моей второй натурой, бороться с ней

было трудно. И всё-таки моя институтская жизнь была иной.

В первую же институтскую осень я стала заниматься верховой ездой, и хотя продолжалось это не так долго, я до сих пор удивляюсь своему упорству и даже упрямству. Занятия эти были спровоцированы много раз слышанными мною от мамы рассказами о её детстве в деревне. Я знала, что бабушка была хорошей наездницей. В нашей московской квартире, где-то на антресолях, хранилось бабушкино старое кожаное седло амазонки – для посадки боком, как полагалось в те времена женщинам. Оно было для меня напоминанием о подвигах бабушки-наездницы. Мама тоже, как истинно деревенский ребёнок, умела кататься верхом, просто и смело. Все эти рассказы подогревали мое желание научиться верховой езде, а тут как раз Инна Цветаева, учившаяся в Тимирязевской Академии, рассказала об организованном у них кружке верховой езды.

На занятия я добрый час ехала на трамвае от Оружейного переулкa до Тимирязевки и после часовых занятий возвращалась уже ночью в совершенно пустом трамвае. Память сохранила все детали этого времени. На занятиях нам не разрешали пользоваться стремянами – то ли чтобы не застрять в них при падении, то ли чтобы укреплять мышцы ног. Без стремян я чувствовала себя очень неуверенно. Однажды мне дали высокую и красивую лошадь, на которую я с трудом взобралась, а она одним движением крупа скинула меня так, что я даже не поняла, что произошло: вдруг вместо седла я оказалась на опилках манежа. Другой раз мне достался мул, низкорослое ушастое и невероятно упрямое существо. Все лошади шли одна за другой по кругу, соблюдая одинаковый промежуток, мой же упрямец, которого тренер поставил последним, двигался несмотря на все мои усилия так медленно, что скоро оказывался первым в группе. Тренер щелкал хлыстом перед его носом, он срывался в галоп, и мне едва удавалось

удержаться в седле. В конце концов я всё-таки сдалась и до занятий со стременами не доучилась – не выдержала долгих поездок в осенней темноте.

Я всегда любила зиму, и в первую очередь – из-за коньков. В годы моей юности не существовало искусственного льда, и катки открывались только с наступлением морозов. Из раннего детства остались воспоминания о «снегурочках», привязанных на валенки, и о папе, расчищающем каток от снега на Нарышкинском скверике. Дальше помню уже каток в Парке Культуры и в доме отдыха Истра, недалеко от Москвы, где я проводила с родителями две недели зимних каникул. На Истре рядом с домом отдыха был каток на большом замёрзшем пруду, и после утренних лыж и обеда я крутилась там дотемна. В это время у меня были «гаги», привинченные к специальным коньковым ботинкам, и я старалась освоить какие-то элементы фигурного катания: довольно ловко могла двигаться и вперед и задом и даже изображала нечто похожее на вращение в вальсе.

Должно быть, именно конец сороковых годов был временем растущего интереса к фигурному катанью. Как удавалось смотреть фигурное катание без телевизора? – трудно вспомнить. Смутно вижу себя на каком-то стадионе, где выступала в одиночном катании чешка по имени Догмара. Потом – супруги Романовы, тоже чехи, в парном катании. Но это, может быть, уже по телевизору. Мне помнится, тогда впереди были чешские фигуристы. И на маленьком катке на Петровке в центре катка всегда крутился кто-нибудь на фигурных коньках – под музыку вальсов и популярных фронтовых песен. Там, на Петровке, вспоминаю танцующую на коньках Рину Зелёную<sup>72</sup>. Увлечение фигурным катанием носилось в воздухе и толкало меня выделять какие-то доморощенные номера на истринском пруду.

---

<sup>72</sup> Знаменитая в то время актриса, известная своим умением имитировать детскую речь.



Любимым моим катком был Парк Культуры и Отдыха имени Горького. Там заливали под каток огромную набережную Москва-реки, площадки в центре, «пруд с лягушками», по углам которого сидели большие каменные лягушки, и многочисленные дорожки парка, в том числе ландышевые, где над дорожкой склонялись фонари в форме цветков ландыша. Попасть на каток вечером, после занятий (на любой каток, и особенно в Парк Культуры) было очень трудно. Катков, как и всего в нашей жизни, не хватало. За билетами стояли длинные очереди, двигавшиеся очень медленно или совсем не двигавшиеся, потому что лихие парни прорывались к кассам поверх голов и получали свои билеты, отталкивая стоявших в очереди девочек. Возможности одиноких девочек были близки к нулю. Рассказываю об этом потому, что это объясняет мой довольно длительный и совершенно односторонний роман с Женей Жаровым, мальчиком из параллельной группы.

Женя был неинтеллигентным и неинтересным парнем, но он уже на первом курсе начал настойчиво ухаживать за мной. Его ухаживание выражалось прежде всего в том, что он приглашал меня на каток, и меня это очень устраивало. Катался Женя очень хорошо – сильно, уверенно, решительно, в паре с ним я чувствовала себя прекрасно. А кроме того – и это было очень важно – он очень умело пробивался в очередях за билетами на каток. Эта специфически коньковая дружба продолжалась довольно долго, пока я не получила от Жени письмо с признаниями в любви и требованием решить, отвечаю ли я его чувствам. Ох, как же я огорчилась: значит, конец конькам! Это огорчение было глубоко эгоистическим. Но конец не наступил – всё пошло по удивительно банальному пути: я предложила дружбу, и он согласился.

Жене я обязана сменой своих любимых коньков («гаги») на беговые. Он не просто рассказывал мне про беговые коньки, но и принёс мне на пробу пару, взятую

взаймы у товарища<sup>73</sup>. Коньки были замечательные – с очень узким лезвием, хорошей стали, они сами бежали вперед, давали ощущение лёгкости, скорость достигалась без всяких усилий. Я сразу заболела беговыми коньками, и даже однажды участвовала в соревнованиях, хотя не имела к тому времени ни малейшего представления, как они, соревнования, происходят – просто мне предложили выступить за курс, или за поток, нужно было «выставить» определенное количество участников, и я согласилась.

Приехала на каток к месту соревнований в своем обычном лыжном костюме – и ахнула, увидев настоящих конькобежных «волчиц» в спортивных трико! Я не знала ничего ни о смене дорожек, внешней и внутренней, ни о том, как разбегаются на старте – я просто никогда не видела соревнований по бегу на коньках, все мои познания были из опыта катания в Парке Культуры. Меня поставили у полосы старта, а несколько впереди, на другой дорожке, поставили бегущую в паре со мной спортсменку в трико. Дали старт (выстрел), и я мирно поехала вперед, как было мне привычно на катке. Моя спортсменка сразу исчезла впереди. Где финиш, я не знала, и всё катилась и катилась, пока меня не остановили, сказав, что финиш позади. Должно быть, я представляла довольно забавное зрелище для спортсменов.

Наш коньковый роман с Женей продолжался до пятого курса. Должно быть, Женя на что-то надеялся, но для меня эти отношения были всегда только коньковыми, тем более, что была у меня всё это время настоящая, тщательно скрываемая ото всех любовь.

Эта любовь началась на первом курсе, или точнее – после окончания первого курса. Могу назвать точно момент, когда во мне, как говорится в романах, «вспыхнула любовь». Я страдала, писала стихи, планировала хитрые ходы, чтобы каким-нибудь нечаянным образом

---

<sup>73</sup> Товарищем, как я узнала позже, был Вадим.

встретиться с Ним, а больше всего думала о том, как бы никто, и в первую очередь Он, не узнал об этом. Так прошло несколько лет, и Он действительно никогда не узнал о моей влюбленности, и думаю, очень удивился бы, если узнал.

Я никогда не кокетничала. Может быть, не умела кокетничать, а может быть, отсутствие кокетства было само по себе формой кокетства. Когда-то в детстве или отрочестве на меня произвела впечатление мамина фраза, точные слова которой я не помню, но смысл помню хорошо: мужчины всегда чувствуют, когда девушка хочет выйти замуж, и именно это их часто отталкивает. Когда и в связи с чем сказала это мама – не помню. Может быть, в те вечера, когда вернувшись с работы она шла со мной погулять и пересказывала содержание «Графа Монтекристо» – она брала с собой этот роман на французском и читала в трамвае по дороге на работу и с работы. Её рассказ был строго ограничен тем кусочком, который она прочитала в этот день – никаких «расскажи ещё» быть не могло. В целом я проводила с мамой очень мало времени, она работала с утра до ночи, но каким-то непостижимым образом мама была всегда полностью в курсе моей жизни, мне никогда не надо было «начинать» что-то рассказывать ей, я всегда «продолжала», всегда «после запятой». И её влияние на меня было огромным, хотя и не всегда осозанным. Так вот эта фраза, сказанная как-то между делом, запечатлелась в моем сознании и определяла моё поведение с мальчиками: я старалась всегда казаться «незаинтересованной».

Летний отдых после окончания первого курса, в 1949 году, у меня сорвался – так я считала. В это время я уже была заражена страстью к путешествиям. До 15 лет, до конца войны, я не ездила никуда дальше дачи на Истре, а потом начались ежегодные поездки: Крым, Карелия, Сухуми, Военно-Грузинская дорога. И план на лето 1949 года был тоже кавказский – Военно-Сухумская дорога. Но весной у меня начал поба-

ливать правый бок, хирург заподозрил аппендицит, и мама категорически запретила куда-либо ехать. Тогда я стала настаивать на операции, чтобы вновь обрести свободу поездок. Не знаю, были ли другие показания к операции, но весной 1949 года я легла в Ново-Екатерининскую больницу у Петровских ворот на плановую операцию и лишилась там своего аппендикса. Свободы поездок в это лето я не обрела – спустя месяц после операции я еще не могла даже толком с лестницы спускаться – продолжала придерживать рукой правый бок. О том, чтобы взвалить на себя рюкзак, и речи быть не могло. И мама спланировала легкий отдых: на пароходе по Москва-реке, Волге и Каме.

Уезжали из речного порта в Химках. Перед отплытием в порту я встретила своего однокурсника Илью Пурижанского, работавшего в Химках фельдшером. Илья был фронтовик, на несколько лет старше нас, вчерашних школьников. В институте я была едва знакома с ним, но мама, всегда очень легко и просто сходявшаяся с людьми, сразу узнала, что Илья едет с нами в качестве фельдшера.

Наш пароход со странным названием «Гражданка» был преклонного возраста, может быть, даже колёсный. Поначалу на пароходе было очень скучно – сидеть в каюте или на палубе и смотреть на проплывающие мимо берега. Я не знала куда себя деть, чем заняться. Потом незаметно начала втягиваться в безделье, заполнять время какими-то ненастоящими делами. Дни начали ускорять свой ход, пока темп их не стал казаться почти нормальным. Илья заходил к нам с мамой не раз, и мама расспрашивала его, как всегда живо интересуясь новой для неё человеческой судьбой. Я в основном помалкивала. Илья кончил 10-й класс в 1941 году и сразу попал на фронт, не успел проститься с родителями – они были за городом, под Ленинградом. Илья рассказывал спокойным, даже безучастным тоном – словно и не о себе. Больше он родителей не видел: «Родители в

Ленинграде погибли». Эта фраза, сказанная спокойно, почти равнодушно, заставила меня вздрогнуть, поднять глаза. Вот тогда-то всё и произошло. С той минуты вся моя жизнь на «Гражданке» была полна Ильёй – где он, куда пошёл, что делает, и как бы встретиться с ним, но только случайно, ненароком, на палубе. И так оставалось все последующие 4 года, до самого появления Вадима на моем горизонте.

Ореол трагичности? Героизма? «Она его за муки полюбила»? Может быть. Но было в Илье несомненно что-то очень располагающее, по-настоящему хорошее. И эта поразившая меня фраза нужна была только для того, чтобы это хорошее увидеть.

Наверное, я переоценивала свою способность скрыть свои чувства. Вспоминаю, как мы с мамой следующей зимой уезжали на Истру. До остановки междугороднего автобуса ехали на трамвае, окна были сплошь закрыты морозным рисунком, я была в мрачном настроении, стояла на площадке и царапала замёрзшее стекло. И вдруг мама улыбаясь продекларировала:

*«Прелестным пальчиком чертила  
На затуманенном стекле  
Заветный вензель И да П...»*

Я взвилась!... – но поняла, что маме всё ясно, она знает, что происходит в моей душе лучше, чем я сама. Откуда, каким образом? Но мама знала всё, и это было чудом – словно наши души так и не разделились, подобно телам, при моём рождении...

На курсе Ильи был в другой компании, расписание занятий у нас не совпадало, встречи были редкие и случайные, я видела его только мельком на лекциях. И я стремилась познакомиться с теми, кто был в его компании. Мои усилия сказались на составе нашей группы, созданной к третьему курсу, о чём никто и не подозревал.

Илья по-прежнему работал фельдшером в речном пароходстве, и я часто собирала компанию поехать в Химки, где был прекрасный парк. Там был шанс случайно встретить Илью. Были стихи о Химках:

*Не охватишь ни сердцем, ни взглядом  
Этот дивный осенний покой.  
Он так близко, со мною он рядом,  
Но далёкий, далёкий, не мой.  
Может большего счастья и нету  
Чем минуты щемящей тоски?  
Чудно в Химках. Как отблеском лета  
Озарились осенние дни.*

Никогда ни до ни после не писала я столько стихов, как в годы своей влюбленности в Илью. Записочки и блокноты со стихами хранились в единственном запирающемся ящичке моего письменного стола – наверное, я выкинула всё это творчество только перед отъездом в Америку. Интересно, что Вадиму, моей настоящей, невыдуманной любви, я не срифмовала ни единой строчки. А годы спустя Маша Пурижанская, дочка Ильи, училась в той же 29-й школе, что и мой сын Витя, в параллельном классе...

## **Кафедра микробиологии**

При многих кафедрах института были научные студенческие кружки, и обычно студенты начинали работать в таких кружках, когда проходили основной курс на выбранной кафедре. Я пришла в кружок при кафедре микробиологии то ли в конце первого, то ли в начале второго курса, до начала занятий по микробиологии, потому что у меня был уже заранее составлен-

ный план. Как и многие решения в том моём возрасте, это решение было связано с родителями, их работа казалась мне очень интересной, хотя другой работы я просто не знала. Причина, конечно, несерьёзная, хотя сейчас я думаю, она была не хуже любой другой, столь же случайной. Моя будущая сотрудница Галина Павловна Герман, с которой я не только долго работала, но и дружила, пришла в медицинский институт и на кафедру микробиологии, прочитав книгу Поля де Крюи «Охотники за микробами», где в увлекательной форме рассказывалось о первых микробиологах – о создателе первого микроскопа Левенгукке, о родоначальниках вакцинопрофилактики Дженнере и Пастере, о Кохе, открывшем возбудителя туберкулеза. Но вся последующая работа и моя и Галины Павловны была интересной и радостной вовсе не из-за книги Поля де Крюи, а в силу других, тоже случайных причин. Да и занимались мы с ней всю жизнь не столько микробиологией, сколько иммунологией, а потом и гематологией. Однако, главное я угадала: свою склонность к работе не среди людей, а в одиночестве и тишине лаборатории.

Кафедра микробиологии находилась в двухэтажном старом здании на Моховой улице. На втором этаже были комнаты, где шли занятия со студентами, на первом этаже – лаборатории, комнаты сотрудников кафедры и аспирантов. Оба этажа соединялись очень романтической винтовой лестницей. Там в лаборатории с пробирками и белыми мышами проводила я прекрасные и радостные часы моей студенческой жизни, а потом и аспирантуры. Подробнее о моей работе я расскажу позже, сейчас – о людях, с которыми там встретилась.

Начну с фотографии примерно 1949–1950 года, где собралась вся кафедральная молодежь, аспиранты, кружковцы разных лет, и я – студентка 2-го курса. В центре – заведующая кафедрой Мария Николаевна Лебедева.

Лебедева, статная немолодая дама, как говорили, была в молодости красавицей и пользовалась большим успехом. На столе в её кабинете стоял её скульптурный портрет из белого камня – головка камеи, с красивой шеей и гладко зачесанными волосами. Когда я впервые увидела Марию Николаевну, она была высокой, но сильно располневшей матроной, в которой трудно было угадать бывшую красавицу. Сходство со статуэткой ограничивалось гладкими, на прямой пробор, волосами, а от бывшей красавицы оставался только характер – самоуверенный и капризный.

Научная карьера Марии Николаевны была сделана в те годы, когда появились сульфамидные препараты – она опубликовала тогда ряд работ, защитила докторскую диссертацию. В годы, когда я знала её, она не вела никакой научной работы, жила исключительно прежним багажом, вряд ли следила за научной литературой, и думаю, чувствовала себя в науке неуверенно. Поэтому она опасалась публикаций своих сотрудников и аспирантов в сколько-нибудь читаемых журналах, предпочитая мало-тиражные, незаметные сборники. Позже, в аспирантские годы, мне пришлось немало сражаться с ней за право публикации своих данных.

Лекции Марии Николаевны были убогими. Она с большой точностью повторяла учебник, а учебник тоже был не из лучших. К тому же она немного шепелявила, и если это могло казаться милым у молодой красивой женщины, то лектора отнюдь не украшало.

Чем держалась Мария Николаевна, каким образом сохраняла в институте положение видного, известного профессора? Возможно, за счёт её прежних заслуг или прежних знакомств, а может быть и просто в связи с её уверенным поведением, королевской осанкой и прочими манерами красавицы, хотя и бывшей.

Была и ещё одна существенная причина. Резкая в обращении с подчиненными, Мария Николаевна стремилась не раздражать начальство. В самом начале



50-х годов она подготовила к печати новое издание «Руководства к практическим занятиям по микробиологии» для студентов и включила в своё руководство данные некоего Бошьяна, книга которого была опубликована в 1949 году на Лысенковской волне. Даже среди публиковавшихся в то время дремучих «научных» работ книга Бошьяна была явлением исключительным. Он утверждал, что микробы, фильтрующиеся вирусы и неживые кристаллы есть разные формы одного и того же возбудителя инфекции и что в стерильных материалах может зародиться жизнь из «кристаллического белка». Идеи Бошьяна вполне соответствовали средневековым убеждениям о зарождении мышей из грязного белья.

Сейчас передо мною эта книга – в твердом переплете, с многочисленными фотографиями, подтверждающими открытия Бошьяна. Я привезла ее недавно из Москвы. Мой хороший знакомый, коллекционирующий подобные перлы советской науки, щедрой рукой дал мне ее с собой и посетовал: «Сейчас мало кого интересуют эти события». Очень жаль. История должна учить.

Даже в те годы необязательно было включать этот бред в практическое руководство для студентов. Мария Николаевна включила. Мама была рецензентом и пыталась отговорить её: «О Бошьяне скоро забудут, а Ваш практикум студенты будут использовать ещё годы». Но Мария Николаевна не решилась исключить данные об «открытиях» Бошьяна.

И наконец, прочность своего положения Мария Николаевна обеспечивала умением нейтрализовать возможных конкурентов на кафедре. Очень трудную жизнь создала она для своего доцента, а потом и второго профессора Синюшиной, тоже Марии Николаевны, человека более энергичного, способного, и активного, а главное, более молодого, чем она сама.

Мария Николаевна Синюшина пришла на кафедру из ЦИЭМа (Центрального Института Эпидемиологии и Микробиологии), где она работала вместе с папой, в его лаборатории. Мы были знакомы домами, я уже писала о том, как после окончания школы мы все вместе, включая сына Марии Николаевны, Колю Озерецковского, ездили по Военно-Грузинской дороге. На кафедре сколько-нибудь серьезную научную работу вести было невозможно – не было оборудования, средств и даже просто времени – все силы уходили на преподавание. Но у Синюшиной закваска научного работника сохранялась и в период кафедральной жизни. Она следила за научной литературой, старалась быть в курсе научных новинок, лекции её были серьезными и основательными. Знакомство с иностранной литературой было в те времена очень затруднено – я уже писала о том, как сложно было в Сталинские времена получить разрешение читать иностранные научные журналы. Позже запреты с чтения научной литературы были сняты, но библиотеки, даже Московские, имели ограниченные средства и многих важных журналов, книг, руководств не получали. Покупать иностранные научные книги или журналы за свои собственные деньги было невозможно, поскольку рубль был неконвертируем в иностранную валюту. Была, однако, одна интересная льгота для тех, кто имел степень доктора наук<sup>74</sup>. Через Книжный отдел Дома Ученых доктора наук имели право ежегодно приобретать книги и журналы по своей специальности на сумму 30 рублей (при этом действовал официальный, и совершенно нереальный, курс: один доллар равен 60 копейкам!). Более того, если приобретаемая книга стоила дороже 30 рублей, можно было доплатить и еще некоторое количество рублей. Когда мы с Вадимом защитили докторские диссертации, мы получили возможность приобретать иностранные научные книги на целых 60

---

<sup>74</sup> Вторая и высшая научная степень после степени кандидата наук.

рублей (на двоих!). Далеко не все доктора наук готовы были потратить свои кровные деньги на покупку научной литературы. Из всех сотрудников кафедры, мне кажется, только Мария Николаевна Синюшина регулярно покупала иностранные руководства. Я нередко брала у нее книги почитать. Во время моей работы в кружке, да и позже, когда я была в аспирантуре, единственное реальное руководство и помощь я получала от Синюшиной.

Лебедева не могла спокойно вынести присутствия рядом активного, образованного и к тому же более молодого сотрудника и прилагала все усилия к тому, чтобы устранить возможного кандидата в заведующие кафедрой. Она не останавливалась перед угрозами, оскорблениями, превратив существование Синюшиной на кафедре в настоящий ад. Все сотрудники кафедры были свидетелями этой травли, но ничего сделать не могли – на кафедре царил диктатура. Синюшина была исключительно выдержанным человеком, но и её возможности подошли к концу. Она была уже не так молода, чтобы легко сменить место работы. И тогда, чтобы оградить себя от преследований и утвердить своё положение на кафедре, она приняла предложение стать деканом младших курсов института. Работа трудная, беспокойная, берущая массу времени и нервов, мало привлекательная для человека, имеющего вкус к научной работе – но эта работа позволила ей получить независимость от Лебедевой.

Но время шло, настала пора и для Марии Николаевны Лебедевой оставить кафедру и уйти на пенсию. Она жила одна, в отдельной квартире кооперативного дома на Новослободской улице – это была роскошь по тем временам. Я бывала у неё несколько раз и с содроганием вспоминаю её одинокую старость. Она завела у себя целое стадо кошек, которые прыгали везде – по столам, шкафам, стульям. Если одна кошка способна увеличить уют человеческого жилья, то во множестве они вносят что-то дикое, ненормальное, гротескное...

После ухода Лебедевой заведовать кафедрой стала доцент кафедры, Марина Михайловна Дыхно. Уже во время своей американской жизни я получила как-то письмо из Москвы от старой знакомой Светланы Дмитриевны Воропаевой, которая во времена моего кружковства была на кафедре в аспирантуре. Она написала мне, что навещала Марину Михайловну, что ей должно исполниться 89 лет, что у нее кроме внучки есть два правнука, но живет она одна «и по-прежнему красива». И мне захотелось написать о ней.

В годы моей работы в кружке Марине Михайловне было около 40 лет. Она была доцентом, вела занятия, наверное (точно не помню) читала лекции. Считалось, что она ведет научную работу с культурой возбудителя туберкулеза. Но все это не имело ровно никакого значения. Марина Михайловна была красивой женщиной, исполненной удивительного очарования. Все её должности, звания и научная работа были для неё как бы ещё одной элегантною шляпкой или ещё одной оригинальной и неожиданной прической. Ее женское очарование было её сутью, её жизнью, кругом её интересов, основой её взаимоотношения с окружающим миром. Она была очень хороша – и чертами лица, и фигурой, и бархатными карими глазами, словом, всем, чем одарила её природа и что прибавила она сама с помощью искусства красоты, которым владела в совершенстве.

Вспоминаю Марину Михайловну всегда с теплыми чувствами и именно как очень красивую женщину. Описать её внешность непросто – она была на редкость разнообразной. Блондинка с роскошной золотой косой вокруг головы и румянцем на белой коже лица, или загорелая брюнетка с короткой стрижкой – это всё была она, и только её бархатные глаза оставались неизменными. У нее был не голос, а голосок, словно щебетание птички, короткий, высокий смешок, и всегда (или это так казалось?) лёгкая, радостная улыбка. Помню, она упрекала меня, встретив как-то утром с помятым ли-

цом: «Ты спишь, уткнувшись в подушку?! Так нельзя спать, спать надо только на спине, иначе у тебя будут морщины».

Я уже была в аспирантуре, когда Марина Михайловна вышла замуж. Это был её третий муж, она познакомилась с ним в Сочи, на курорте. Приносила его фотографию на кафедру, показывала всем. Я не знала, что надо говорить, когда тебе показывают фотографию мужа. Когда показывают фото сына или дочери, говоришь «О, какой славный, какие глаза» и т.д., а что говорить о муже?! Марина Михайловна, показывая фотографию, гордо поясняла: «Видите, какие зубы? Все свои!» – словно показывала лошадь на базаре. Её непосредственность ставила в тупик. Возвратившись с курорта, загорелая и еще более красивая, чем всегда, она вздергивала юбку до трусов и демонстрировала свой загар всем собравшимся, совершенно не стесняясь присутствием немногочисленных сотрудников мужского пола.

У нее была дочь Ирина от первого брака, похожая на мать лицом, но полностью лишенная её очарования. Решительная и жесткая, Ирина быстро сделала стандартную карьеру научного работника (институт, аспирантура, защита кандидатской, потом докторской диссертации) и стала заведовать лабораторией в Институте Эпидемиологии и Микробиологии имени Гамалея. В отличие от матери Ирина вступила в партию, была «выездной», то есть получила право ездить за границу, бывала в научных командировках. Как и мать, следила за собой, за своими туалетами, но никогда даже приблизительно не достигала в этом уровня матери. После перестройки она распрощалась с научной карьерой, и идя в ногу со временем, создала фирму по производству каких-то кремов. Дочь Ирины я не помню – вспоминаю только как Марина Михайловна отмечала её красоту и гордо говорила: «Наша порода!»

Я верю, что в свои 89 лет Марина Михайловна была по-прежнему красива. Но не только потому, что владе-

ла искусством ухода за красотой, пользовалась им (кремами, массажами и прочим) и спала на спине. Главная причина её неизменной красоты была в лёгкости характера. Она не грустила, она не тревожилась, самые тяжелые события ранили её неглубоко, огорчали ненадолго. Она не была чёрствой, эгоистичной – нет, эти слова к ней как-то не подходят. Вспоминаю, как однажды пришла по какому-то поводу к ней домой. Она собиралась уезжать на курорт в Сочи (ее традиционная летняя поездка) и была поглощена отбором своего гардероба. Всюду были разложены разнообразные туалеты, ей помогала приятельница, она же её «персональная шляпница» Лена. Раздался звонок, Марина Михайловна пошла открывать дверь, сказав, что это доктор, и на некоторое время исчезла. Потом вернулась и сообщила с немного грустным выражением лица, что доктор приходил к маме, что у мамы рак, она в тяжёлом состоянии. Но через пять минут – нет, раньше – она уже снова была поглощена проблемой туалетов. Равнодушие? Эгоизм? Я уверена, что уезжая, она обо всем позаботилась, обеспечила уход маме, но всерьёз огорчаться она просто не умела.

При всём этом заведовать кафедрой после ухода Лебедевой стала именно Марина Михайловна, а не Синюшина, которая была к этому времени уже пожилым человеком и не могла баллотироваться на заведование, хотя именно она заслуживала этого положения более всего. Марину Михайловну в своё время Лебедева не рассматривала как конкурента, и та могла защитить докторскую диссертацию и стать в свой час профессором и заведующей. Судьба!..

Пока я написала только о «верхнем эшелоне», профессорах кафедры. Между тем я естественным образом была ближе с теми, кто больше соответствовал моему возрасту и положению. Хочу рассказать прежде всего о Люсе Шнеерсон.

На той же фотографии 1951-го года, где в основном собрали кружковцев и аспирантов кафедры, по правую руку от Марии Николаевны Лебедевой сидит аспирантка Шнеерсон Людмила Натановна, для меня – Люся. У нас была некоторая разница в возрасте, я думаю, Люся была старше меня лет на 5, она была уже аспиранткой, а я – «кружковкой», студенткой 3-го курса. Взаимная симпатия возникла при первом же знакомстве, а далее в процессе работы на кафедре сложились довольно близкие отношения.

Забегу вперед, в то время, когда нашему знакомству было уже несколько лет. Мы с Люсей в одно и то же время родили детей. У меня родился мальчик Витя, у Люси – девочка Таня. У меня был избыток грудного молока, я проводила часы за сцеживанием, а у Люси молока не было почти совсем. И вот каждое утро Люсина мама приезжала ко мне на Воротниковский с другого конца Москвы (помнится, они жили где-то в районе Речного вокзала) за очередной порцией сцеженного молока. И продолжалось это несколько месяцев, пока Люся не смогла начать какой-то прикорм. Я помню, поражалась ежедневному подвигу этой уже сильно молодой женщины. Сохранилась у меня фотография, снятая в день рождения Вити, когда ему исполнился год. В этот день Люся приехала к нам с годовалой Танечкой, Витиной «молочной сестрой». Есть и более поздняя фотография, где уже детям по два года и уже намечается какой-то контакт между малышами.

(2 фото)

Позже контакты с Люсей постепенно угасали. Это вполне понятно – дети и работа не оставляли времени и сил для общения. Я знала мужа Люси, доктора Кивмана, по моим воспоминаниям он был фармаколог, а Люся занималась антибиотиками у Зинаиды Виссарионовны Ермольевой в Центральном институте усовершенствования врачей (ЦИУв). Вспоминаются единичные случайные встречи с Люсей на площади Восстания

(Кудринская), где был тогда ЦИУВ и где ютилась ЦМБ (Центральная медицинская библиотека). О Люсиной семье я тогда знала мало, вспоминалось только, что ее отец был искусствоведом и руководил музеем, организованным на базе Ново-Иерусалимского монастыря на Истре. Мне этот монастырь был хорошо знаком с детства, мы до войны каждое лето снимали дачу на Истре, я уже писала об этом музее ранее.

К сожалению, благополучной жизни Люсе досталось очень немного. В середине 60-х годов она погибла от рака грудной железы.

Этим бы и ограничился мой рассказ о Люсе Шнеерсон, если бы не книга воспоминаний Натальи Баранской<sup>75</sup> «Скитания бездомных» (Москва, 2011), из которой я узнала много нового о семье Люси, племяннице Н. Баранской.

Отец Люси, Натан Александрович Шнеерсон, в 20-е годы был назначен директором музея, организованного на базе Ново-Иерусалимского монастыря. Такие музеи создавались тогда в попытках сохранить уцелевшее, не разграбленное, имущество монастырей, туда же поступали уцелевшие ценности национализированных помещичьих усадеб. С этого начиналось краеведение, движение, имевшее просветительскую направленность.

Из воспоминаний Натальи Баранской я узнала о «Трагедии на Истре» – так называлась глава ее книги воспоминаний. Еще до этой трагедии Н.А. Шнеерсона дважды арестовывали – в частности, за противодействие ликвидации музея в Борисоглебском монастыре города Дмитрова: в этом монастыре планировали разместить Дмитровлаг при строительстве канала Москва-Волга, поскольку это строительство вел Дмитровский ГУЛАГ. Но эти аресты были кратковременными.

---

<sup>75</sup> Мое поколение помнит Наталью Баранскую по чрезвычайно популярной повести «Неделя как неделя», опубликованной в «Новом Мире» Твардовского в 60-е годы.



В 1938 году Ново-Иерусалимский музей посетил маршал Тухачевский, занимавшийся организацией санатория для военных в Архангельском. Он обратился к Шнеерсону с просьбой, чтобы тот подобрал и передал для Архангельского подходящие картины и скульптуры. Шнеерсон выполнил его поручение, подобранные картины были официально переданы Архангельскому санаторию, упакованы и отправлены. Через несколько дней Тухачевский был арестован и после ускоренного разбора «дела о военном заговоре» – расстрелян вместе с другими крупными военными. Вскоре после этого был арестован 16-тилетний старший сын Шнеерсона Дмитрий, брат Люси, а еще через несколько дней – сам Натан Александрович и его жена Евгения, сестра Натальи Баранской. Дочерей Шнеерсона – 14-тилетнюю Веру и 12-тилетнюю Люсю мать успела отправить к своей подруге в Нальчик.

К счастью (мы во всем стараемся увидеть счастье!) жену Н.А. Шнеерсона через несколько месяцев выпустили из тюрьмы. Самого Н.А. расстреляли, его сын Дима через несколько лет погиб в лагере. Трагедия Димы заключалась еще и в том, что его сумели убедить в преступности отца и навещавшая его мать была бессильна разубедить сына. Все это удвоило страдания мальчика.

«Дело» отца, разысканное позже Верой Шнеерсон, оказалось «пустым» – большая часть страниц была изъята.

Многих других сотрудников кафедры микробиологии я хорошо знала – ведь я провела там ни много ни мало – 8 лет (5 лет студенчества, как участник кружка, и 3 года аспирантуры). Но обо всех не расскажешь. Упомяну коротко об одной необычной фигуре – о «спец-аспиранте» Усмани Сидикове из Узбекистана. Такие аспиранты направлялись в Московские ВУЗы из разных республик Союза – чтобы «ковать национальные кадры» для республик. В мое время на кафедре было таких двое – милая девушка из Киргизии, ничем не отличавшаяся от остальных, и Усман, приезд которого был связан с весьма своеобразными проблемами. Приехав в Москву, Усман неожиданно для себя узнал,

что кафедрой заведует женщина. Это его потрясло. Он наотрез отказался идти к Лебедевой, чтобы заявить о своем прибытии. Он приходил на кафедру ежедневно, садился за приготовленный для него стол и сидел, не делая абсолютно ничего. Может быть, он ждал, что Лебедева сама явится к нему засвидетельствовать свое почтение? Работать под началом женщины было для него совершенно неприемлемо. Вместе с тем и просто так вернуться домой он не решался. Это тянулось долго. Сотрудники кафедры (тоже в основном женщины) уламывали его как могли. И наконец, уломали – он пошел к Лебедевой. Что-то он в себе переломил, и как-то занимался в аспирантуре.

Но пора, наконец, перейти к моей собственной работе на кафедре.

В студенческом кружке на кафедре микробиологии я бывала на заседаниях, где кружковцы делали доклады – обычно это были рефераты статей. Потом пришло время для экспериментальной работы. Начала я её вместе со своим однокурсником и тоже кружковцем Д.К. – с ним вместе была опубликована в студенческом сборнике моя первая статья. Результаты этой работы – о развитии устойчивости кишечной палочки к антибиотикам – мы докладывали на разных студенческих конференциях. По сути это были просто упражнения в технике пересевов, но тогда эта работа вызывала у меня душевный подъём и ощущение причастности к науке.

Мысленно делаю прыжок длиной в полвека и переносюсь из того «прекрасного далека» в сегодняшние мои дни. Сейчас соавтор первой моей работы Д.К. живёт совсем недалеко от меня, в небольшом американском городке. Ещё до его отъезда из России мы мало виделись, работали в разных институтах и в разных областях, дороги наши почти не пересекались. Здесь встретились, вспомнили старое. Д.К. уехал в Америку почти на 20 лет раньше меня. Я знала о его отъезде, и помню, удивлялась: он

казался мне вполне процветающим в той жизни: он был членом партии, даже входил в партком института. Позже я узнала, что отец его был репрессирован в 30-е годы и погиб, а Д.К. был завербован КГБ<sup>76</sup>, его заставляли следить за своими сотрудниками, докладывать о них в «органы». Согласие на это от него получили путем шантажа – угрожали сыну-студенту. Уезжая в Америку Д.К. надеялся вырваться из этого капкана.

Тему следующей работы подсказала мне мама. В то время появились сообщения о том, что лечение антибиотиками, прерывая нормальное развитие инфекции, прерывает и формирование иммунитета. Кроме того, появились сообщения, что антибиотики могут и непосредственно воздействовать на защитные функции организма, снижать его способность вырабатывать устойчивость к инфекции. Мама предложила исследовать влияние антибиотиков на иммунитет при экспериментальной паратифозной инфекции на лабораторных мышках. М.Н. Лебедева была только рада воспользоваться этой идеей, и я получила разрешение работать с настоящим возбудителем инфекции – паратифозной Б культурой. Потом эта работа стала моей кандидатской диссертацией.

Фотография моих «кружковских» лет: я держу в левой руке мышку, в правой – шприц с раствором синтомицина, который ввожу в желудок мыши специально загнутой иглой с гладко оплавленным концом. Через 20–30 минут мыши мои пьянели от спирта, в котором я разводила антибиотик: начинали пищать, бродили по клетке неустойчивой походкой, потом засыпали – словом, проходили все стадии алкогольного опьянения, совсем как люди.

---

<sup>76</sup> Очень распространенный прием этой организации: вербовать тех, у кого «подмочена» репутация и кто не решается сопротивляться.

Виварий при кафедре был очень примитивным. За животными – мышами, кроликами, морскими свинками – ухаживала очень старательная старушка, которая, однако, никак не могла понять, что если она поймала где-то на полу убежавшую мышь, то надо её убить, а не сажать в первую попавшуюся клетку. А мыши убежали нередко, когда та же старушка чистила клетки. Так иногда я обнаруживала, что в клетке, где было 20 зараженных мышей, их оказывалось 28 или 30, и весь опыт приходилось выбрасывать.

За работой я проводила многие часы после окончания занятий в институте. Часто задерживалась до ночи. Вечером иной раз надо было сбегать в булочную рядом со старой гостиницей Националь, успеть до закрытия что-то купить, чтобы можно было «заморить червячка» в поздние часы. В такие вечера я часто бывала одна во всем здании физиологического корпуса, дежурных там ночью не было. Иногда к выходившим на задний двор освещённым окнам подходили какие-то странные личности, заглядывали в зарешеченные окна первого этажа. Я никогда не тревожилась, мне было хорошо одной в пустой лаборатории.

## **Немного о клинической медицине.**

### **«Павловская сессия»**

Клиническая медицина началась на третьем курсе, осенью 50-го года. В это время мне пришлось встретиться с больными и болезнями непосредственно, или в роли медсестры или в роли помощника врача, а иногда даже на правах лечащего врача. Мой лечебный опыт был очень коротким, но оставил немало ярких впечатлений. Сначала, однако, немного о том, как средневековые взгляды тех лет коснулись лечебной медицины.

Если первые мои шаги в биологии были окрашены августовской сессией ВАСХНИЛ и разгромом научной генетики, то первые шаги в клинической медицине проходили под знаком очередного маразма, охватившего страну после так называемой «Павловской сессии» Академии наук СССР и Академии медицинских наук (28 июня – 4 июля 1950 года). Сессия ещё раз показала полную зависимость науки и учёных от произвола власти. И не так уж важно, что на этот раз – в отличие от сессии ВАСХНИЛ, где торжествовал полуграмотный Лысенко – в икону был превращен настоящий учёный с мировым именем, уже покойный академик Иван Петрович Павлов. В качестве «единственно верного направления» было принято учение Павлова, автора классических работ по физиологии высшей нервной деятельности. Результаты работ Павлова были распространены на все без исключения области физиологии, психологии и клинической медицины и объявлены единственно возможным направлением развития этих дисциплин. Тем самым идеи Павлова были доведены до абсурда, а именем Павлова одни его ученики стали шельмовать других его же учеников, причем наиболее ярких и талантливых, таких как Л. А. Орбели, П. К. Анохин.

Мы, студенты-медики, сразу же столкнулись с идиотскими последствиями решений Павловской сессии в терапевтической клинике. В соответствии с «установкой», причину всех заболеваний следовало искать в нарушении функции высшей нервной деятельности, в нарушении психики. Вспоминаю обходы больных профессором А.Л. Мясниковым, руководителем госпитальной терапевтической клиники. Обладающий артистическим даром Мясников на обходах демонстрировал свите сотрудников и студентов, как воздействия на кору головного мозга – всяческие житейские неприятности и беды – приводят к возникновению и развитию заболеваний. Однажды он искусно расспрашивал больного с язвой желудка о его болезни и одновременно о его жиз-

ни. Больной подробно рассказывал о болезни и смерти жены, а Мясников бросал многозначительные взгляды в сторону внимавшей ему свиты. И вдруг больной, понявший ход мыслей профессора, испортил всю игру: «Да жена-то у меня умерла только в прошлом году, а язва у меня уже много лет!» Был полный конфуз. Но мы только смеялись. Молодость брала своё – в преследовавшем нас маразме виделось не трагическое, а смешное, хотя и идиотское.

Павловское учение диктовало и определённые методы лечения. Раз причина болезни – в коре головного мозга, в нарушении «нормальных процессов торможения и возбуждения» в коре, следует для лечения использовать препараты брома, усиливающие процессы торможения, и препараты кофеина, усиливающие процессы возбуждения Микстура со смесью брома и кофеина превратилась в панацею от всех бед. К этому прибавили лечение сном – тоже от всех болезней, так как сон приводит в норму кору головного мозга. Были организованы специальные палаты, где в темноте, тишине и под влиянием разного рода снотворных и успокаивающих средств сутками лежали больные с самыми разнообразными заболеваниями. Я сама попала однажды в такую «сонную» палату, когда за два дня до рождения сына обратилась в родильный дом с маточным кровотечением. Это было уже в конце 1957 года, но маразм Павловской сессии всё ещё цвёл пышным цветом.

Павловскому «нервизму» надо было следовать во всех областях биологии. Помню, как мама придумывала способы связать учение Павлова с эпидемиологией – наукой о возникновении и развитии эпидемий. Папа в это время, как и многие иммунологи, планировал работы на экспериментальных животных по влиянию брома и кофеина на продукцию антител к разным микробным антигенам. Всё это были попытки приспособиться к тому мощному давлению на науку, которое ощущалось повсюду.

### **Репрессии на волне «Павловской сессии»**

Едва ли не самое тяжёлое положение было у морфологов, гистологов и патологоанатомов, потому что признание доминирующей роли коры головного мозга означало вычеркивание всех достижений в изучении живой клетки. Вирхов, выдающийся немецкий исследователь XIX века, создавший учение о клетке, был объявлен вне закона, «вирховианство» осуждали, как преступление – подобно тому, как раньше осуждали «менделизм» и «морганизм» – классические исследования генетиков Менделя и Моргана. Даже метастазирование злокачественных опухолей надо было объяснять не заносом злокачественных клеток с током крови или лимфы, а нервными импульсами, исходящими из основной опухоли. Вспоминается выступление на какой-то из дискуссий патологоанатома профессора Якова Львовича Рапопорта. Он попробовал призвать выступавших к деловому, научному обсуждению, призывал «не искать друг у друга вирховианских блох». Ох, как накнулись на него за это хлёткое выражение, как стремились стереть его в порошок!

В эти годы, когда громили настоящую науку и настоящих ученых и на поверхность выплывали откровенные шарлатаны и жулики, среди пострадавших учёных были и евреи и русские. Но антисемитский акцент начинал ощущаться всё сильнее. Очень хорошо запомнился разгром одной из лучших теоретических кафедр института, кафедры гистологии. Этот разгром шёл на волне Павловской сессии, осенью 1950 года. Мы уже сдали гистологию, и были студентами третьего курса, но воспоминания об этой кафедре, о прекрасных лекциях заведующего кафедрой профессора М.А.Барона, были ещё очень свежи в памяти.

Кафедра Барона была удобной мишенью для погрома. Во-первых, ничего не могло быть проще как обвинить специалистов-морфологов в «вирховианстве» – они действительно изучали клетки и ткани, а не кору

головного мозга в целом организме. Во-вторых, кафедра была прекрасно организована, лекции и занятия студентов, оборудование лабораторий – всё это резко отличалось от других теоретических кафедр младших курсов и вызывало зависть. И наконец, и это особенно важно, на кафедре было много молодых и талантливых преподавателей-евреев. Так легко было убить сразу трёх зайцев, одним махом удовлетворить тайные и явные желания многих.

Я никогда особенно не интересовалась морфологией – может быть, потому, что уже твёрдо решила посвятить себя микробиологии. Но лекции Барона помню очень хорошо. Они были чётки, отлично спланированы и иллюстрированы, и оканчивались тщательно отработанным заключением. «Резюмирую», говорил Барон в конце лекции, и медленно, почти диктуя, повторял основные положения прочитанной лекции. На следующей лекции (обычно через несколько дней) он указывал на кого-нибудь из сидящих перед ним студентов и просил повторить резюме предыдущей лекции. Тот, кто не был на предыдущей лекции, стремился переписать у кого-нибудь это резюме.

Столь же яркие и даже артистичны были многие занятия, проводившиеся молодыми сотрудниками кафедры. Помню занятие, посвященное методам приготовления срезов ткани. Обычно для того, чтобы сделать кусочек ткани твердым и пригодным для приготовления тонкого среза, его «проводят» через систему разных реактивов и в конце концов заливают в парафин. Процедура занимает несколько дней. А как быть, если исследование образца ткани надо сделать срочно, если надо дать ответ хирургу, когда больной еще на операционном столе? Наш преподаватель, доктор Алов, задал такой вопрос группе и ждал ответа: «Каким образом можно сделать кусочек ткани твердым?» Все молчали. Алов медленно прошел по комнате, подошел к окну, задернул тому черной шторой (в комнате должно было быть



темно, чтобы можно было показывать диапозитивы) и резко отдернул штору. В комнату ворвался свет, окно было разрисовано сверкающими на солнце морозными узорами. «Заморозить!» закричали все хором. Признаюсь, в то время и Бароновское «резюмирую» и артистичные приёмы Алова часто казались мне позой. Но вот прошло более полувека, и именно эти резюмы, и это морозное окно помнятся ярко и живо, а о большинстве других лекций и занятий я не помню ровным счётом ничего.

Талантливых лекторов среди наших преподавателей было немного. Вспоминаю яркие лекции невропатолога профессора Марии Борисовны Цукер, слушать которую я ходила на другой поток, пропуская другие обязательные лекции нашего потока. И это притом, что невропатология никак не входила в мои будущие планы. Помню как Мария Борисовна демонстрировала больного – мальчика с ревматическим поражением нервной системы, которое когда-то называлось «пляской святого Вита». При этом заболевании у больного возникают произвольные хаотические движения рук, мышц лица и т.п., усиливающиеся при волнении. Мальчик, с которым разговаривала Мария Борисовна, поначалу был спокойным, но когда она стала допытываться у него, кого он больше любит – папу или маму, его руки задержались, а на лице появились странные гримасы.

Талантливым лектором, лектором по призванию, была моя мама. Ее аспирантка, Наташа Чумаченко, рассказывала мне, что никогда не думала об эпидемиологии, но услышав мамины лекции, пошла за ней, не размышляя. Мне не пришлось слышать мамины лекции – роковой инфаркт случился у неё на первой же лекции нашему потоку.

Когда слух о том, что профессора Барона собираются «проработать» на Ученом совете института, пронёсся среди студентов, все помчались в аудиторию, где должен был быть совет. В главные двери аудитории студентов не пускали – пришлось проникать через двери

верхнего этажа. Однако, когда обнаружилось, что аудитория все-таки заполнена студентами, Ученый совет срочно перенесли из аудитории в небольшое помещение с одной единственной охраняемой дверью. Толпа студентов осаждала дверь. Взгромоздясь друг на друга, пытались увидеть через верхнюю стеклянную часть двери, что происходит, и передать другим. В этом был не просто ажиотаж, но и протест, который, конечно, не шёл дальше топтания у запертой двери. Да и какой мог быть протест?! Барон был уволен, заведовать пришел некто Елисеев, работавший раньше в каком-то из университетов Сибири. Елисеев был антисемит по убеждениям и охотнорядец по внешности. Все преподаватели-евреи, работавшие на кафедре, были уволены. Но тогда (1950 год) и Барону и большинству его сотрудников удалось устроиться на работу: Сам Барон поступил в маленькую лабораторию института нейрохирургии, а наш преподаватель Алов уехал на Дальний Восток, в Хабаровск. Время поголовного увольнения евреев ещё только надвигалось.

## **Доврачебная практика на Истре**

Но я отвлеклась – надо вернуться к лечебной медицине, с которой я коротко соприкоснулась в студенческие годы.

Мои первые встречи с больными происходили на вечерних дежурствах в терапевтической клинике, где под руководством медсестры студентам разрешено было делать внутримышечные (в ягодичы) инъекции пенициллина. Это было на третьем курсе. Помню как я входила первый раз в палату вместе с сестрой, державшей готовый шприц, входила робко, с дрожащими от волнения коленками. И тут же поднялся крик больных: «Не да-

дим делать уколы практикантам!» Дрожь в коленках усилилась. Сестра пыталась урезонить больных, объясняла, что в клиниках института учатся студенты-медики, что практика студентов входит в условия лечения в клиниках – все было напрасно. И тут вдруг одна больная сама подозвала меня, сама предложила сделать ей укол, и даже успокаивала, призывала не волноваться, пока я, полная страха, медленно и нерешительно прокалывала кожу, причиняя ей боль именно этой нерешительностью. Помню, всегда буду помнить и этот первый укол, и эту женщину, такую доброжелательную. Дальше все было легче и проще.

После 4-го курса у нас была летняя практика, так называемая «доврачебная». Местом практики был подмосковный городок Истра, тот самый, где я проводила свои детские дачные месяцы. С тех довоенных времен прошло 12 лет, но каких лет! Город был полностью уничтожен во время войны и отстроен заново. Истра нашей медицинской практики никак не ассоциировалась с Истрой моего детства.

Всей группой (10 человек) мы поселились в бревенчатом домике недалеко от Истринской больницы. Практика состояла из трех циклов – терапия, хирургия и акушерство с гинекологией – и продолжалась всего полтора месяца, но в памяти осталось много сильных впечатлений.

Терапевтической практикой руководил местный врач, заведующий терапевтическим отделением. Человек этот производил странное впечатление. Он был разочарован во всем, в чем только можно разочароваться, безнадежно смотрел на всё окружающее, и в результате не делал абсолютно ничего. Я помню его сидящим за столом в кабинете и попивающим чай. словно слышу его монотонно-безразличный голос: «В районе трахомы полно, а пишем – конъюнктивит». Так оно и было, конечно. Самым верным способом снизить заболеваемость, в частности, такими инфекционными за-

болеваниями как трахома (а именно снижения заболеваемости требовали от врачей) было просто не ставить соответствующие диагнозы. Но тогда это равнодушие, полный отказ от борьбы и просто от какой-либо деятельности, вызывал в нас, молодых и горячих, сильное чувство протеста. Позже я узнала, что наш истринский руководитель лежал в психиатрической больнице с тяжёлой депрессией.

Мой первый больной на Истре, которого я самостоятельно вела (считалось, что под присмотром врача) был молодой солдат-азербайджанец, недавно призванный в армию и почти не владевший русским языком. Он страдал тяжелейшим поносом, не поддававшимся никакому лечению, истощавшим его и сделавшим непригодным к службе. С диагнозом «гемоколит» (в переводе с латыни – кровавый понос) его положили в Истринскую больницу, ближайшую к расположению его части. К тому времени, когда он стал моим пациентом, он лежал в больнице уже давно, и его состояние всё ухудшалось.

Я принялась за дело с энтузиазмом молодости. Сначала забрала диагноз: гемоколит – это только симптом, а каков диагноз болезни, чем вызван этот гемоколит? Отправилась к нашему «Чайльд Гарольду» со своими возражениями: «Надо ставить диагноз дизентерии». Тот посмотрел на меня сонными глазами: «Если Вам не лень писать экстренное извещение – ставьте дизентерию». Я была потрясена. Да, в соответствии с правилами по поводу каждого инфекционного заболевания надо было посылать в санэпидстанцию эту маленькую бумажку – экстренное извещение. Но не ставить из-за этого диагноз?! «Если Вам не лень?!»

Стул больного – никогда мною не виданное, но хорошо известное теоретически «малиновое желе», характерное для амёбной дизентерии, болезни, вызываемой простейшим, амёбой, обитающей в воде субтропиков! А больной – из Азербайджана (субтропики!) – вероятность высокая! Прижимая к себе баночку с калом боль-

ного (чтобы не остыл) бегу в бактериологическую лабораторию, она где-то в стороне от больницы. Там мою идею амёбной дизентерии встречают с сомнением, но и с интересом. Тут же на подогретом столике микроскопа ставим стекло с каплей взвеси кала в воде – и все собираются смотреть на крутящихся в капле амёб! Я была счастлива поставленным диагнозом!

Лечение амёбной дизентерии совершенно другое, чем обычной бактериальной дизентерии, препаратов для лечения амёбной дизентерии на Истре нет, еду за ними в Москву. Приезжаю обратно через день и узнаю, что мой больной выписан! Куда?! С каким диагнозом?! Указано ли в выписке, что у него амёбная дизентерия?! Всё неизвестно, в том числе адрес его воинской части. Никаких концов я не смогла найти несмотря на все мои старания. Пришлось смириться.

Хирургом Истринской больницы был доктор Маков – пожилой серьёзный человек. Мне помнится, он был единственным хирургом – работал очень много, выполнял все основные операции. Запомнился, случай врачебной ошибки, в которой, несомненно, виноваты были и мы, студенты, сильно осложнявшие работу хирурга.

Привезли вечером женщину с тяжёлым внутренним кровотечением, возникшем в связи с внематочной беременностью. Нужна была срочная операция. Вызвали Макова, усталого после операционного дня. Ассистировали двое студентов – Аня Гринфельд и я. Конечно, мы были неполноценными ассистентами, большой помощи от нас ожидать не приходилось. Операция была трудной, брюшная полость была полна крови, ее вычерпывали большой разливной ложкой, тут же фильтровали через марлю и переливали женщине в вену. Салфетками осушали полость, чтобы можно было видеть операционное поле. Маков нервничал – вся тяжесть операции, вся ответственность лежала на нём. Наконец, всё было сделано, начали зашивать рану, и тут операци-

онная сестра, пересчитывавшая инструменты, заявила, что нет одного кохера<sup>77</sup>. Маков выругался и продолжал зашивать.

Через день или два оперированной женщине стало хуже – вздулся живот, появились боли, не отходили газы – это были симптомы кишечной непроходимости. На рентгене увидели лежащий поперёк позвоночного столба раскрытый кохер, потерянный, забытый в брюшной полости! Маков снова оперировал: потребовалось вырезать часть повреждённой тонкой кишки. Женщина выжила и быстро поправилась. Мы тогда совсем не ощущали вины Макова, напротив, сочувствовали ему.

На цикле акушерства мы столкнулись с огромной трагедией, которую тогда переживала страна и о которой мы до той поры не знали, и во всяком случае не отдавали себе отчета в масштабах беды. Трагедия была связана с законодательным запрещением абортов. Аборты были запрещены в конце тридцатых годов, когда перепись выявила резкое уменьшение населения. На то были очевидные причины – гражданская война, коллективизация и разруха в деревне, «раскулачивание», «искусственный голод» с прямым ограблением крестьян, не желавших вступать в колхозы<sup>78</sup>, репрессии, истребившие миллионы. И выход в условиях тоталитарной системы был тут же найден: запретить аборты. Каким варварским актом было это запрещение, мы хорошо увидели во время медицинской практики.

Противозачаточные средства отсутствовали. В условиях нищеты, а часто и голода, беременность, перспектива получить лишний рот в семье, была настоящей трагедией.

---

<sup>77</sup> Так по имени автора называли один из зажимов.

<sup>78</sup> Сейчас стал известен страшный искусственный голод на Украине, унесший от 7-ми до 10-ти миллионов жизней. Независимая Украина ежегодно в конце ноября отмечает день памяти погибших от голода крестьян.

Матери стремились избавиться от нежелательных детей. В отделении для новорожденных мы видели младенцев в возрасте от нескольких недель до нескольких месяцев, истощённых до предела, с морщинистыми лицами крошечных старичков. Молодая обаятельная женщина-врач делала всё возможное, чтобы спасти этих истощённых младенцев, и рассказывала нам, что матери сознательно не кормят их в надежде на скорую смерть. Привозят младенцев в больницу тогда, когда от них остаются кожа и кости, говорят, что ребенок отказывается от еды. И спасая этих новорождённых старичков, врач знала, что вскоре многие из них поступят к ней снова в таком же состоянии.

Аборты относили к уголовным преступлениям, за незаконный аборт грозила тюрьма. Женщины искали помощи, и эту помощь оказывали неграмотные бабки, сильно рисковавшие и потому бравшие большие деньги. Подпольные аборты делались первобытными средствами, в примитивных условиях, и сопровождалась нередко смертельными кровотечениями, тяжёлыми, иногда смертельными, инфекциями. Частым последствием абортов было острое заражение крови. В больницу женщины обращаться боялись, скрывали свое состояние от семьи. В Истринскую больницу, случалось, муж привозил свою жену в тяжелейшем состоянии, иной раз умирающую. В больнице врач должен был допрашивать, где и кем был сделан аборт, а женщина и умирая продолжала всё отрицать. Таких случаев перед нами прошло много, и именно гибель от подпольных абортов, а не благополучные роды остались в памяти от нашей акушерской практики. И осталось твёрдое убеждение, что закон о запрещении абортов – одна из страшных, варварских акций советской власти, и отмена этого закона при Хрущеве, в период «оттепели» стояла для нас в одном ряду с реабилитацией невинно осужденных (в том числе убитых) и восстановлением пенсий по старости.

Каково же было мое изумление, когда приехав в 1992 году в Америку, я услышала, что одной из горячих точек в дискуссиях, одним из важных программных пунктов на президентских выборах является вопрос о том, запрещать или не запрещать аборт! Справедливость изверского закона времен сталинского террора, обсуждается в демократической Америке! Да, это так. Правда, не стремление компенсировать убыль населения, истребленного варварской властью, а высокие соображения религии и морали лежат в основе движения «за жизнь»: как же, ведь аборт тоже убийство, осужденное религией, и не только католической. И даже ранние аборт – тоже убийство, некоторые считают, что уже оплодотворенная яйцеклетка является живым человеческим существом, убить которое непозволительно. И из этой «высокой морали» вырастают фанатики, которые преследуют женщин, обращающихся в клинику, и убивают врачей, делающих аборт. Конечно, это – Америка 90-х, а не Россия 50-х, здесь есть разнообразные и всем доступные противозачаточные средства. Но если бы американские сторонники запрещения абортов видели то, что видели мы на Истре в те годы, они присоединились бы к сторонникам за «право выбора».

Во время нашей практики на Истре случилось событие, навсегда запавшее в душу. Однажды днём во двор больницы въехала грузовая машина. В кузове лежал человек – сначала показалось, что мёртвый. Нет, он был жив, и в полном сознании, но совершенно неподвижен. Его перенесли на носилках в палату, и скоро все мы с ним познакомились. Карл Карлик – такое необычное сочетание имени и фамилии – был студент, только что окончивший первый курс. Он ехал из Москвы в летний лагерь, где договорился работать пионервожатым. От станции его вёз в лагерь попутный грузовик. Был жаркий день, проезжали речку и решили искупаться. Красивый и спортивный, Карл решил не просто искупаться, а нырнуть – и нырнул вниз головой на довольно мелком месте. Ударился головой о дно или камень и не выплыл. Шофёр вытащил его и отвёз в больницу.



Он лежал в палате, внешне здоровый, весёлый, даже острил: «Я как из сказки – живая голова». Потому что ничего, кроме головы, ему не принадлежало. Карл не имел никакого отношения к медицине и не понимал, что с ним случилось. А мы сразу осознали весь ужас произошедшего: перелом шейных позвонков, повреждение спинного мозга в шейном отделе. Карлу ничего не сказали, разговаривали с ним, развлекали, расспрашивали. Один из наших ребят даже играл с ним в шахматы. А ужас был с нами. Карл не был для нас больным – он был один из нас, такой же как мы студент, наш товарищ. Мучительно хотелось что-то сделать. Хотелось надеяться, что спинной мозг не разрушен, а только сдавлен, что может помочь операция. И меня послали в Москву за нейрохирургом.

В Москве я позвонила нашему профессору-невропатологу Марии Борисовне Цукер. Она живо откликнулась, обещала говорить с нейрохирургами. Но вечером мне позвонили из Истры, сообщили, что Карл умер. Я вернулась. На Истру приехали мать Карла, его старший брат Виталий, говорили с врачами. И дальше остались только боль и тоска, охватившие всех нас.

По неписаному закону парных случаев через 2–3 недели на Истре произошло такое же событие. На этот раз привезли молодого солдата из недалеко расположенной части. Никто из нас не пошёл в его палату – не было сил снова погружаться в тот же ужас.

## **Наша 23-я группа. Моя подруга Вероника**

Весной 1950 года, после 2-го курса, мы переходили к клиническим дисциплинам и в связи с этим студенческие группы формировали заново. В это время Третий московский медицинский институт переводили из

Москвы в Рязань, и многие учившиеся в этом институте москвичи стремились перейти в московские вузы – Первый или Второй мединституты. Из Третьего мединститута к нам пришло немало студентов.

Среди них был Серёжа Ковалев, скромный, незаметный мальчик. Он учился на нашем курсе год, потом перешел в МГУ. Я плохо помню его. Не так просто бывает заметить среди массы студентов настоящую личность, подвижника, каким оказался в дальнейшем Серёжа – стойкий защитник прав человека, друг Сахарова, человек большой воли и смелости.

Новые группы должны были быть меньше прежних (10–12 человек вместо 30) и в их формировании могли принимать участие мы сами уже с учётом сложившихся дружеских отношений. В нашей новой группе все принадлежали более или менее к одному кругу – «дети интеллигентных родителей». Когда дружба и сходство взглядов закончились готовым списком, мы увидели, что кроме меня, частичной еврейки, и ещё одной чисто русской девочки, вся группа оказалась еврейской. Конечно, никому не приходило в голову сознательно подбирать группу по национальному признаку. Просто так складывалась жизнь. Антисемитский дух, процветавший в конце сороковых – начале пятидесятих годов, привёл к тому, что говорить откровенно, не опасаясь нарваться на неприемлемые взгляды, на чуждое понимание жизни, можно было именно с евреями. Потом я не раз думала, что была просто «обречена» выйти замуж за еврея: у многих русских, увы, в это время проявлялись самые скверные шовинистические черты.

Национальный состав группы бросался в глаза – особенно тем, кто был пропитан официальным антисемитским духом. Дополнительным раздражением для таких людей было и то, что группа состояла в основном из отличников, занимавшихся в кружках НСО<sup>79</sup>, из «ум-

---

<sup>79</sup> Научное Студенческое Общество.

ников» и «зазнаек» – одним словом, из «типичных евреев».

Недоброжелательность окружающих мы чувствовали, причину её понимали. Ничто так не сплачивает, как необходимость противостоять окружающей враждебности. Антисемитизм, хорошо заметный уже в год нашего поступления в институт, достиг апогея в начале пятидесятых. О том времени я расскажу дальше – сейчас я просто объясняю, как и почему крепла дружба в нашей 23-й.

Тогда же или позже, уже ближе к окончанию института, сочинили «гимн группы» и первое время при встречах пели его на мотив популярной тогда песни. Слова наивные, но искренние:

*«Кто сказал, что если мы кончаем,  
Это значит – группы больше нет?  
Кто сказал, что время, расстоянье,  
Уничтожат дружбу многих лет?»*

А в конце была своего рода клятва:

*«Если ж, как случается на свете,  
Будут в жизни трудности у нас,  
Скажем только громко: «Двадцать третья!»,  
И друзья откликнутся тотчас».*

Что ж, пожалуй, так и было в дальнейшей жизни. На 5-м курсе мы сфотографировались вместе – 9 человек, почти все. Это был 1953 год – больше 60 лет тому назад.

Не могу не сказать хотя бы коротко о некоторых из «нашей 23-й». При этом, естественно, забегаю вперед.

Все мальчики нашей группы стали лечащими врачами.

Алик Сыркин – терапевт, кардиолог, всю жизнь проработал в факультетской терапевтической клинике

Первого мединститута, где директором был Владимир Никитич Виноградов. Прошел там ординатуру, защитил кандидатскую, потом докторскую диссертации. Сейчас (2019 год) Алик (Абрам Львович) заведует там кафедрой и клиникой кардиологии. Он хорошо известен в Москве (думаю, не только в Москве) как специалист-кардиолог, продолжает работать и сейчас. Что важнее – Алик всегда готов помочь однокурсникам, коллегам, добрым знакомым – он из тех, на кого можно рассчитывать. Я всегда помню, как он помогал Вадиму с его сердечными проблемами.

Павел Злочевский тоже стал терапевтом-кардиологом, специалистом по функциональной диагностике. Насколько я помню, он окончил ординатуру в госпитальной терапевтической клинике у профессора А.Л. Мясникова, а потом, и до последних дней работал в Центральной клинической больнице МПС<sup>80</sup>.

Павел был человеком совсем другого типа и склада. Он рос в семье сестры и ее мужа, которые занимались какой-то хозяйственной деятельностью. Они жили на ул. Горького, недалеко от меня, Павел учился в 167 школе в Дегтярном переулке. В институте он произвел сначала очень неблагоприятное впечатление. Помню, вызванный что-то отвечать, он прошел мимо такой расхлябанной, развинченной походкой, что Вера шепнула мне: сразу видно – шпана. И я согласилась. Нет, Павел совсем не был шпаной, и позже стал одним из нескольких по-настоящему хороших институтских друзей.

Но Павел был очень незрелым по своему мировоззрению, по своему пониманию окружающего мира. Он гордился тем, что был тезкой Павла Корчагина, популярного героя советской книги «Как закалялась сталь»<sup>81</sup>, с увлечением редактировал стенную газету курса, был полон комсомольской романтики, любил играть в «на-

---

<sup>80</sup> Министерство путей сообщения.

<sup>81</sup>

стоящего комсомольца». Однажды он председательствовал на собрании потока. Чему было посвящено собрание – не помню, но хорошо помню, что когда заскучавшие студенты начали понемногу «смываться», Павел встал и провозгласил тоном настоящего фюрера: «Комсомольцы останутся на местах». Эта фраза долго потом служила поводом для насмешек над нашим Павлом Корчагиным.

Меня как-то Павел спрашивал с большой серьезностью, какая у меня цель в жизни, и осуждал мою непосредственную реакцию: быть счастливой! Его целью в то время было строить новое общество, чтобы осчастливить советских людей. Нам это казалось смешным. Одним словом, Павел имел все шансы вырасти настоящим советским функционером, если бы не его еврейское происхождение, поневоле заставившее прозреть. Ему я посвятила эпиграмму:

*А вот Злочевский, наш герой.  
Он любит жертвовать собой.  
Он сам подвижник и аскет,  
Но и другим пощады нет.*

Павел женился сначала неудачно – на внучке известного отоляринголога Марине Загорянской, девушке из весьма обеспеченной семьи, довольно избалованной. Думаю, очень скоро стало ясно, что это не та пара. Вторично Павел женился на простой и очень ему преданной девочке. Свою старшую дочь они назвали Кристиной, это звучало интересно: Кристина Злочевская. Однако, несмотря на свое христианско-католическое имя и русскую мать, Кристина с мужем уехала в Израиль, как только это стало возможно. И у Павла появились два внука-израильтянина, которые не очень хорошо говорят по-русски. Павел с женой навещали их в Израиле, реже внуки приезжали в Москву. Младшая дочь осталась в Москве, работает юристом.

Мало кто изменился так с течением времени как Павел. Тощий парнишка, «настоящий комсомолец», «подвижник и аскет» вскоре понял, что почем в этой жизни. Павел вступил в партию, потому что «надо же, чтобы там были честные люди». Это бывало нередким доводом. Павел работал в больнице, немного занимался частной практикой. Написал книгу, посвященную тромбозам болей легочной артерии. Растолстел, обрюзг.

Но всегда оставался верным другом. Не забуду: в связи с сердечными проблемами у Вадима по первой просьбе приехал на электричке к нам на дачу, где Вадим болел. Другьям можно было на Павла рассчитывать: «Скажем только громко – двадцать третья!»... Умер Павел в 2009 году.

Эрик Минскер стал психиатром, после окончания института был послан на работу в Орел, в психиатрическую больницу. Вернувшись в Москву, работал в Институте психиатрии, в научном центре психического здоровья.

Его всегда, со студенческих лет, звали Эриком и не удивлялись несколько скандинавскому звучанию его имени. Когда мы были практикантами на Истре, Эрик однажды рассказал мне, что на самом деле его имя – Эрисс, и это является аббревиатурой: Эпоха Реконструкции и Социалистического Строительства. Вспоминаю об этом и удивляюсь, хотя это характеризует не его самого, а его родителей. Однако, должна сказать, что Эрик всегда был склонен к остроумию и розыгрышам, так что полной уверенности в правильности его сообщения у меня никогда не было. Вспоминаю, как он намекал, что имя его сестры Сана (что мы всегда считали сокращенным «Сусанна») на самом деле то же аббревиатура, которую он, однако, отказывался раскрыть. Но Эрика уже нет на этом свете, он умер от инсульта в 2018 году.

Фима Горелик – фтизиатр, специалист по туберкулезу. После окончания института он был направлен в город Медвежьегорск (Карелия) вместе с выпускницей

нашего курса Леной Меерович. Вскоре они поженились, у них родились сыновья. К несчастью, Лена рано умерла от ракового заболевания. **Фима вернулся в Москву и работал в ..** Сейчас он на пенсии, женат вторым браком, его сыновья уехали в США, там живут и внуки Фимы. Он временами их навещает.

Из девочек только двое работали в лечебной медицине: Аня Гринфельд стала хирургом, Вероника Элькинд – терапевтом. Обе они умерли очень рано, не достигнув 60 лет, обе – от инсульта. Трое других – Таня Оксман, Циля Гудынская и я – работали в лабораториях.

ПРОВЕРИТЬ!

Так сложилось, что с Таней Оксман я контактировала в течение многих лет и многое о ее жизни знала. Таня была на 1–2 года старше нас, потому что до медицинского института она два года проучилась в Институте Иностранных Языков и одновременно (экстерном) – в ГИТИСе на театроведческом факультете. Она хотела стать шекспироведом (!). В 1948 году на волне борьбы с космополитизмом и преклонением перед Западом отделение Западного театра (вместе с Шекспиром) было закрыто, и Таня, оставив свои прежние планы, пошла в медицинский институт. Думаю, к этому времени она покончила с романтизмом юности и поняла бесперспективность своих планов в конкретной обстановке того времени. За два года в Инъязе она неплохо освоила английский язык – и это пригодилось ей в дальнейшем.

Таня была очень цельной натурой. Про таких как она сказано: если хочешь быть счастливым – будь им. Таня не обладала ни особенно красивой внешностью, ни обаянием, ни выдающимися способностями, но была всегда очень оптимистична и уверена в себе. Ей нравилось руководить. На курсе она вспомнила о своих театральных увлечениях и стала руководить самодеятельностью. Собственных заслуг у нее в этой области я не помню, но организаторская ее активность была такова, что Вадим посвятил ей удачное четверостишие:

*Если Таня к вам пристанет  
Сразу жизнь вам адом станет.  
Не отстанет долго Таня,  
Словно лист, прилипший в бане.*

Таня умела взять за горло, добиваясь того, что ей нужно, умела с упорством необычайным требовать и приставать действительно как банный лист. Но ее уверенность была так неправдоподобно откровенна и сочеталась с такой жизнерадостностью, она была так нечувствительна к обидам, что это обезоруживало, и долго сердиться на нее было невозможно.

С первых курсов Таня решила стать хирургом. Она всегда носила с собой кохер (хирургический зажим) и тренировалась постоянно, открывая и закрывая его то одной то другой рукой. Занималась в кружке на кафедре топографической анатомии и оперативной хирургии у профессора Кованова, который был сначала проректором, а позже ректором института. По окончании института Таня была оставлена в ординатуре на кафедре хирургии у профессора Жорова.

Если хочешь быть удачливым – будь им. И Таня была. И всегда была оптимистичной и жизнерадостной. В 1991 году она с мужем уехала в Израиль. Там работала в лаборатории при большой больнице около 10 лет. Ее дочка Нина сдала американский медицинский экзамен, уехала работать в Нью Йорк, открыла там свой офис, и Таня с мужем переехали к ней в Америку. Получила Таня грин-карту как «незаменимый специалист», хотя ей было уже 74 года.

Я бывала у нее в Тель Авиве, потом – в Нью Йорке. Разлучила нас болезнь Альцгеймера, не пощадившая Таню в ее поздние годы.



Аня Гринфельд сидит слева на той же фотографии 23-й группы.

Совсем другая судьба. И такие у меня теплые воспоминания о ней. Аня тоже была оптимистом, и к тому же человеком открытым, душевным, доброжелательным. Росла она с матерью, работавшей на фабрике в Кунцево. Они всегда были очень ограничены в средствах. По окончании института Аню ни за что не хотели оставить работать в Московской области, поближе к матери. Она даже не смогла приехать к матери, когда у той случился инфаркт.

Аня стала хирургом, работала в больнице, тяжело и напряженно. Работу свою любила очень, как это часто бывает с хирургами. Личная жизнь ее не состоялась, она не вышла замуж, был какой-то длительный и нестабильный роман с хирургом С., у которого она работала. Почему так случилось? Аня не была красива – но в этом ли дело? От нее всегда, вопреки всем жизненным бедам, веяло открытостью и добротой.

Только лет через двадцать, примерно в 1975 году, Аня смогла, наконец, получить<sup>82</sup> однокомнатную квартиру в Москве. Мы были у нее в гостях вскоре после этого, она с любовью показывала нам все в квартире – наконец, у нее было свое гнездо. Она сама отремонтировала квартиру, украшала ее разными симпатичными мелочами – часто это были подарки больных. Говорила о своей работе с увлечением, говорила о трудностях. Запомнила ее фразу: «Понимаешь, я не могу иметь одну пару колготок, чтобы выстирать их вечером – меня всегда могут вызвать ночью». Таково было ее благосостояние, заработанное двадцатилетним трудом хирурга.

Вскоре я узнала о скоростижной смерти Ани. Она была дома одна, разговаривала по телефону – и упа-

---

<sup>82</sup> Речь идет не о собственной квартире, а о разрешении снять квартиру в Москве – возможно, благодаря сохранившейся Кунцевской прописке.

ла, телефон остался лежать на полу рядом. Ее нашли на следующий день, взломав дверь. На похоронах была вся наша группа. Помню еще, что все ее нехитрое имущество нельзя было передать ее племяннице, единственному родственнику, так как не было завещания... Вспоминая Аню, всегда думаю о том, как неравномерно распределено в жизни счастье и горе, благоденствие и нужда.

## **Моя подруга Вероника Элькинд**

Подробнее расскажу о моей ближайшей институтской подруге Веронике Элькинд. По окончании института мы виделись не так часто, но наши дружеские чувства оставались прежними.

Верин отец, Владимир Григорьевич, был доцентом на кафедре оториноларингологии в нашем институте. Я часто видела его у Веры в доме, но редко говорила с ним – он казался мне замкнутым, малообщительным человеком. Евгения Семёновна, мать Веры, практически не работала, посвятив себя мужу и детям. Она была по манере резкой, а по сути отзывчивой и доброй. Вера была старшим ребёнком в семье, её брат Гарик (Георгий) – лет на 8–10 моложе. Мать безмерно его любила. Она много раз рассказывала мне, как красив был Гарик в детстве, какие золотые кудри были у него, как все окружающие называли его принцем. Думаю, в детстве Вера испытала много неприятных минут из-за восторженной любви матери к сыну – невольно за счёт дочери.

Семья Элькиндов жила на втором этаже старого двухэтажного дома в Столешниковом переулке, где занимала две маленькие смежные комнаты коммунальной квартиры. У Элькиндов была дача недалеко от станции

«43-й километр» по Северной железной дороге. На чердаке этой дачи мы с Верой летом готовились к экзаменам в полной изоляции от окружающего мира.

Соседями Элькиндов на даче была семья Ушаковых, о которой я должна рассказать, потому что Андрей Ушаков был давней, со школьных лет, любовью Веры, и в конце концов, стал её мужем и отцом её дочери Кати. Почти все этапы этого длительного и беспокойного романа развёртывались на моих глазах, я переживала его вместе с Верой.

Глава семьи Ушаковых, Константин Андреевич, происходил из старой дворянской семьи. В годы советской власти он стал крупным инженером, работавшим в секретной области, связанной со строительством самолётных двигателей, был тесно связан с Военно-Воздушной Академией имени Жуковского, получил Сталинскую премию, стал представителем элитарной части советской технической интеллигенции. Что думал Константин Андреевич о советской власти, как вспоминал прошлое и судьбу своей семьи, я не знаю, он предпочитал не распространяться на эти темы, но в их просторной четырехкомнатной квартире на Яузе висел портрет Сталина, а его жена Надежда Виссарионовна, тоже кстати из дворян, и дочь Марина, держали себя как правоверные советские граждане и на вождя и учителя смотрели как на своего благодетеля. Не просто было Вере привыкать к жизни в этой семье.

Много лет спустя, когда Веры уже не было в живых, а Андрей с дочерью и её мужем жили в Израиле, я услышала от него подробный рассказ о прошлом его семьи.

В 1951 году Андрей с отцом и своей первой женой на только что купленной машине «Победа» отправился в район Фатежа Курской области, в деревню Ушаковка, бывшее имение семьи Ушаковых. Попросили встречную девочку вызвать кого-нибудь из Михайловых. «А как сказать, кто спрашивает?» – «Скажи – Константин Андреевич Ушаков». Девочка убежала. Из дома Михайловых вы-

шла старушка и бухнулась в ноги отцу Андрея: «Барчук приехал!»<sup>83</sup> Это была кормилица Константина Андреевича. Потом все они сидели в доме Михайловых, пили привезённую гостями водку и местный самогон. Пришли ещё крестьяне. Часть оставалась во дворе, слышно было как обсуждали: барчук с орденами! (У Константина Андреевича были орденские планки на пиджаке). Председатель колхоза и парторг стояли в отдалении, и другие крестьяне поясняли: им нельзя.

Вскоре после этой поездки в Ушаковку Константин Андреевич получил письмо из деревни. Крестьяне просили его согласия на переименование колхоза имени Молотова в их деревне в колхоз имени К.А.Ушакова. Константин Андреевич пришел в ужас. Он написал в деревню, чтобы они об этом не заикались. Детям – Андрею и его сестре Марине – Константин Андреевич потом повторял, что он не «старый специалист»<sup>84</sup>, а «советский специалист», и просил их забыть о деревне Ушаковка. Так типично было это чувство страха даже у процветающих, обласканных властью людей...

Андрей был лет на 8 старше Веры. По странному совпадению они родились в один и тот же день, 24 апреля. Вера влюбилась в Андрея еще школьницей, когда он, молодой блестящий военный инженер, приехал к родителям на дачу с Дальнего Востока, где служил в армии. Но когда Андрей приехал в отпуск в следующий раз, он уже был женат, и у него был маленький сын Костя, следующий Константин Андреевич, как повелось в семье. Однако, супружеская жизнь Андрея кончилась довольно скоро. Вера говорила, что Фаина не пара Андрею, что она не соответствует ему по культурному уровню – так ли это было, я не знаю, но они разошлись, и жена с сыном вернулась к родителям.

---

<sup>83</sup> Для нас, не очень грамотных, Андрей пояснил: хозяина звали барин, его сына – барчук, внука – барчучонок.

<sup>84</sup> Так называли враждебных советской власти специалистов на временной службе.

Прошло ещё несколько лет, и Андрей вернулся на постоянную работу в Москву – уже не в военной форме, а в штатском костюме. Тогда-то он и обратил внимание на красивую соседку и начал за ней ухаживать. К этому времени отношения Веры и Андрея стали иными. Андрей был влюблён и добивался Вериной взаимности, а Вера перестала смотреть на него снизу вверх, понимала, что Андрей из неблизкой ей среды. Принимая покладистого и несколько отрешённого от реальной жизни отца Андрея, Вера не выносила его мать и сестру Марину с их просоветскими настроениями. Кроме того, думаю, в то время (начало 50-х годов) обе эти женщины не жаждали породниться с еврейской семьёй.

В тот год, когда мы кончали институт, Вера и Андрей поженились. Для Веры наступил довольно трудный период адаптации. Она жила в квартире Ушаковых, вместе с родителями Андрея и с семьёй его сестры, должна была приспособливаться к ним. Временами приезжал Костя, сын Андрея от первого брака, и Вера должна была проявлять массу такта, чтобы поддерживать нужный климат. Однажды она сказала мне, что не хотела бы, чтобы её дочь вышла замуж за человека, который был ранее женат. А в это время разыгралась трагедия в семье родителей Веры: заболел Гарик.

Как-то Вера с Андреем и Гариком приезжали к нам на дачу, провели с нами весь день и вечером уехали на машине домой. По дороге Гарик заволновался, оглядывался назад и утверждал, что их преследует какая-то машина. После потрясений, пережитых во время дела врачей и арестов в последние годы сталинского правления (об этом дальше), этот страх преследования не казался вначале бредом. Но страх Гарика нарастал, он пытался выпрыгнуть из машины на ходу, его с трудом удалось удержать и довести до дома. Там приступ страха и возбуждения достиг такой степени, что пришлось вызвать скорую помощь, и Гарика отвезли в психиатрическую больницу. Так началась его шизофрения,

которая прогрессировала и привела к неспособности учиться и приобрести какую-нибудь специальность. В 1958 году скоропостижно умер Верин отец, мать осталась вдвоём с сыном-инвалидом, который впоследствии с трудом смог получить работу электрика в какой-то артели. Как примирилась Евгения Семёновна с такой судьбой своего принца – трудно себе представить.

После окончания института Вера не подлежала распределению, так как муж жил и работал в Москве. Она смогла устроиться на работу в 5-й Советской больнице и проработала там всю жизнь, стала позже заведующей отделением, уважаемым врачом.

В том же 1957 году, когда у меня родился сын, Вера родила дочку Катю. Катя была очень красивой девочкой – яркая брюнетка с синими глазами, удивительно похожая одновременно и на мать, и на отца. Увлекалась литературой, театром, вместе с отцом ходила буквально на все театральные постановки Москвы. Она была уже студенткой филологического факультета Московского Педагогического института, когда на её горизонте появился человек, много старше её, женатый, который буквально преследовал Катю своими любовными ухаживаниями. Родители были в ужасе, но сделать ничего не могли. Эта сумасшедшая связь скоро была прервана самой Катей, но в это время она оказалась беременной. Вера сделала все, что было в её силах – Катя лежала у нее в больнице, операцию делали лучшие врачи. Но возникли осложнения, и как следствие – бездетность. Позже Катя вышла замуж за Марка Водовозова, еврея из Баку, журналиста, старше неё. Долго и упорно лечилась, но безрезультатно.

Сын Андрея, Костя, переселился в Москву, бывал в доме отца, но чем он занимался – Андрей не знал. Было там что-то сомнительное. Однажды ночью его нашли убитым во дворе одного из домов на Ленинском проспекте.

Вера умерла в 56 лет. С молодости она страдала тяжелой гипертонией, на фоне которой в 1983 году случился инсульт. Это было на даче, Андрей помчался с ней на машине в Москву. Веру оперировали, удалили сгустки излившейся крови, но она оставалась парализованной. В течение трёх лет она боролась с параличом, превозмогала боли и слабость, занималась физкультурой, пыталась сидеть со всеми за столом. Она надеялась. Андрей ухаживал за ней самоотверженно. Но через три года был новый инсульт, и Веры не стало.

В начале 90-х годов Катя с Марком уехали в Израиль, за ними последовал Андрей. Мы были в гостях у Кати в Ган Явне во время поездки в Израиль в 1995 году. Просторный дом, приятный сад, ограда, заросшая цветущей бугенвиллией. Марк работал в отделе спорта израильской русскоязычной газеты. Ещё жива была Евгения Семёновна, но в тот вечер она уже спала, и я с ней так и не повидалась. Жил у них в доме и Гарик, сильно деградировавший, постоянно конфликтовавший с Андреем. Всё это мучило Катю. «Каждый несёт свой крест» – сказала мне тогда Катя и рассказала притчу о том, как человек пожаловался Господу на свою жизнь: уж очень тяжёл крест, который он несёт. Господь показал ему много разных крестов и предложил выбрать тот, который он согласился бы нести, и человек выбрал самый маленький. «Так это и есть твой крест» – сказал ему Господь.

Прошли годы, и в 2005 году мы снова были в Израиле. Конечно, снова хотелось увидеть Андрея и Катю. Я знала, что Гарик уже не с ними, его устроили в какое-то лечебное заведение для хронических душевнобольных. Привезла я с собой и третью тетрадь своих воспоминаний – думала, что Андрею, быть может, будет интересно прочитать и вспомнить прошлое.

Катя и Марк заехали за нами. Что делает время... Катя неузнаваема. Куда делась тонкая стройная брюнетка с ярко-синими глазами? Вместо нее – полнова-

тая крашенная блондинка, глаз не видно из-за темных очков. Марк – седовласый и седоусый. Кате – 48 лет, а Марку уже к 60-ти. Катя работает в страховой компании, но хочет заняться изготовлением и продажей украшений.

При входе в дом, на крыльце, встречает Андрей. Боже мой, какой глубокий старик! Ему должно быть больше 80 лет. Один глаз не видит совсем, другой – почти не видит: катаракта, но оперировать не советуют, так как может совсем потерять зрение. Катя вставляет: «и что я тогда буду с ним делать?» Это для нее главное... О чтении (мои воспоминания!) не может быть и речи.

Сидим в том же садике, стены всё также увиты бугенвиллиями. Андрей вспоминает далёкое прошлое. Катя слушает воспоминания Андрея с плохо скрываемым раздражением, удивляется, что мне это интересно. Потом рассказывает мне, что мама много натерпелась от семьи Ушаковых (как будто я этого не знала!). Но она продолжает: «В том числе и от отца. Хотела развестись с ним, когда мне было 9 лет. Осталась только из-за меня». И после паузы добавляет: «Потому она так рано и умерла».

Тяжело это слышать; тяжело видеть её откровенно недоброжелательное отношение к отцу. Но он теперь так стар, и почти слеп, и так зависит от неё!.. Мне жаль его, мне неприятна Катина жестокость.

Пора уходить. Прощаемся с Андреем, целуемся, почти плачем. Прощание навсегда. Из машины ещё видим силуэт Андрея на крыльце. Нужно ли романистам что-то изобретать, когда сама жизнь преподносит такие сюжеты...



## **Глава 4. Страшные 50-е годы. Дело врачей**

### **Год 1952. Антисемитская политика Сталина. Алтай. Смерть мамы**

Много раз я упоминала о том, какие мрачные годы пришлось на пору моего студенчества – разгром наук и искусств, нарастание антисемитизма. И могу добавить, что лишь по счастливому стечению обстоятельств (смерть Сталина) эти годы не закончились такой же кровью, какая пролилась в тридцатые годы.

Антисемитская политика государства ясно чувствовалась уже в 1948 году, когда мы поступали в институт. Я уже писала, что московский университет был закрыт для евреев. Потом евреев стали увольнять с работ, имевших отношение к секретности, а таких работ было в те годы очень много. В 1948 году в Минске был убит крупнейший артист и режиссёр еврейского театра Соломон Михоэлс. В 1949 году были арестованы члены Еврейского Антифашистского Комитета, созданного в годы войны. Членов Комитета – писателей, поэтов, артистов, ученых – посылали в годы войны по странам союзников собирать среди евреев деньги для Советского Союза. После войны члены Комитета были арестованы как иностранные шпионы. Несколько лет велось

следствие с пытками, весной 1952 года начался закрытый процесс, а в августе 1952 года почти все были расстреляны. Тогда мы ничего об этом не знали<sup>85</sup>. Но мы были свидетелями травли «безродных космополитов», под которыми подразумевали евреев, знали об арестах среди наших преподавателей и о массовом увольнении евреев из Первого мединститута. Теперь стало известно, что дело врачей на Лубянке начали «раскручивать» еще в 1951 году. Но помнится, не только в 51-ом, но и вплоть до осени 52-го года, мы знали ещё очень мало.

Для меня лето 1952 года началось практикой на Истре, о которой я уже писала. Вернувшись с Истры я застала маму нездоровой. Никто не понимал в чём дело. При мне как-то у неё возник приступ тошноты и рвоты, с холодным потом и резкой слабостью. Но мама меня успокаивала, папа был дома, и я убежала по своим делам. В моей голове тогда совершенно не укладывалось, что мама может заболеть серьёзно – для меня и в мои 22 года, как когда-то в детстве, родители по-прежнему оставались бессмертными. А мама к тому же не любила обращать внимания на своё здоровье. «Я двужильная», – говорила она. «Я в бабушку – сто лет проживу» (моя бабушка умерла, когда ей было 94 года).

Но в то лето мама согласилась лечь в клинику Первого мединститута на обследование. Это было летнее время, когда большинство врачей в отпуске, и мне казалось, что мама предоставлена самой себе. Какие-то диагностические процедуры проводились, ничего существенного найдено не было. Всем распорядком своей жизни в клинике руководила мама сама. Помню, что её почему-то посадили на бессолевую диету, но когда как-то при мне принесли в палату еду, она строго сказала

---

<sup>85</sup> В книге Федора Лясса «Последний политический процесс Сталина» (1995 г.) утверждается, что первые публикации о Еврейском Антифашистском Комитете и о судьбе его членов появились только в 80-е годы.

сестре: «Принесите, пожалуйста, соль» – и та покорно принесла. А главное – с утра до вечера, с перерывом на обед или на какие-то процедуры, она работала со своими аспирантами, которые приходили к ней в клинику с черновыми вариантами диссертаций. Когда я приходила проведать её, она могла уделить мне буквально несколько минут, оторвав время от очередного аспиранта.

В это же лето, в августе, мне предстояла поездка на Алтай – одна из самых трудных туристических поездок в моей жизни. Эта поездка готовилась и планировалась заранее, отказаться от неё было бы обидно, да мне и не приходило в голову отменить поездку в связи с маминной болезнью.

Может быть, не стоило бы перегружать эти записки описанием моего путешествия на Алтай, но удержаться я не могу, тем более, что эта поездка сыграла очень важную роль в моей жизни.

Не в пример путешествиям по кавказским дорогам, поездка на Алтай была самодеятельной. Подробные карты мы скопировали в туристском клубе Москвы, потому что в магазинах такие карты не продавались из соображений секретности. Все детали поездки надо было разрабатывать самим. Нас было 10 человек – 6 мальчиков из нашего института и 4 девочки, из которых только я была студенткой, а остальные три уже окончили медицинский институт или биологический факультет МГУ. Руководила всем Ира Вайнштейн – женщина не самой первой молодости, окончившая биофак МГУ и работавшая в лаборатории при терапевтической клинике мединститута. Две другие девочки были подругами Иры.

Поход начинался в Бийске, куда мы добирались поездом, с пересадкой. Бийск стоит на реке Бии, одном из истоков Оби<sup>86</sup>. Там мы наняли грузовик, и со всем

---

<sup>86</sup> Обь, одна из трех крупнейших рек Сибири, образуется слиянием рек Бии и Катуня.

нашим огромным багажом – палатки, спальные мешки, продукты на много дней пути – доехали по Чуйскому тракту<sup>87</sup> до села Едиган. Из Едигана начиналась основная часть пути – на восток, к южной оконечности Телецкого озера. Мы называли этот путь «дранг нах остен», как немцы свой поход в Россию во время Второй мировой войны. Шли по ненаселенной местности, иногда по тропам оленей-маралов, а часто – напрямик, без дорог и троп через величественную алтайскую тайгу с её кедрами и пихтами, то по каменистым осыпям, то по более пологим склонам гор, поросшим травой и цветами в человеческий рост. Две недели занял этот переход, и в это время о нас ничего не было известно «на большой земле». Часть пути с нами шли проводники, нанятые в Едигане, с двумя или тремя вьючными лошадьми, тащившими часть нашего неподъемного груза. Была с нами собака, зверовая лайка, которую купили на случай встречи с медведями и другими опасными представителями фауны. Собаку назвали Едиганом – по имени села.

Так дошли до озера Уймень. Озеро представляло собой круглую чашу, лежащую среди гор и буквально нафаршированную необыкновенно вкусной и нежной рыбой хариус (вид форели). Проводники повернули обратно, а мы отдохнули пару дней, отъелись рыбой и продолжали путь дальше к Телецкому озеру. Только через неделю впервые встретили людей – пастухов горно-алтайцев, которые проводили всё лето на пастбище, доили овец и там же перерабатывали молоко в сыр. Образец этого удивительного сыра, твердого как камень – алтайцы называли его «сырчик» – я привезла потом в институт, в музей при кафедре гигиены питания. Наконец, добрались до Балыкчи, первого за 2 недели пути

---

<sup>87</sup> Чуйский тракт – дорога на юг вдоль берегов сказочно живописной реки Катунь, затем её притока Чуи, и дальше к границе с Монголией и Китаем.

селения у южной оконечности Телецкого озера. Там купили большую весельную лодку и за 2–3 дня проплыли всё длинное, вытянутое с юга на север Телецкое озеро до поселка Артыбаш у северного его конца. В Артыбаше уже была цивилизация – турбаза и почта, но телеграфа не было, и послать телеграммы домой мы ещё не могли<sup>88</sup>. Только спустившись на лодке – с помощью лоцманов – по порожиистой реке Бии к городу Бийску, мы, наконец, замкнули круг. Из Бийска можно было, наконец, послать телеграммы в Москву. Такова была география нашего маршрута.

Мальчики нашей группы не отличались сентиментальностью и готовы были бросить ненужную большую собаку в Бийске, но я этого допустить не могла. В телеграмме, посланной родителям из Бийска, я написала «везу собаку», рассчитывая подготовить их к приезду неожиданного гостя. Телеграф сделал ошибку, родители получили сообщение «везу собу» и вплоть до моего приезда надеялись, что это будет сова, а не собака. Впрочем, они были так счастливы моему благополучному возвращению, что приняли меня и с собакой. Помню, как папа спрашивал меня, что значит слово Едиган и не переводится ли оно с языка ойротов как «Путь к социализму»?

Едиган не прижился в столице. Он был зверовой лайкой, провёл всю жизнь в тайге, знал все её законы в совершенстве. Когда у нас кончались продукты, Едиган кормился бурундуками, которых ловил очень ловко. Но встречу с цивилизацией Едиган не выдержал. На вокзал в Бийске Едигана везли в грузовике, и уже эта поездка оглушила бедного пса. Потом его затолкали под скамейку вагона, скрывая от проводников, так как на

---

<sup>88</sup> Как странно писать об этом сейчас, в век мобильных телефонов и прочих чудес, связавших единой паутиной земной шар! Но это было более 60 лет назад, к тому же в России и в забытых Богом уголках южной Сибири.

собаку не было документов. Несколько дней его везли таким образом и выходили с ним погулять по платформам только по ночам. В Москве он впервые встретился с лестницей, по которой совсем не умел ходить, а потом и с прочими чуждыми ему особенностями жизни в городской квартире. И психика Едигана не выдержала. Он бросался на окружающих, а потом забивался под кровать и рычал. Приручить его мы не сумели. Одно время держали его на даче, но только на цепи, так как он был просто опасен. В конце концов Едигана отдали одному из соседей, которому нужна была цепная собака для охраны дома. Плохую службу сослужила я ему, увезя из родного Алтая.

Алтайская поездка была трудной, часто требовала напряжения и физических и душевных сил. Особенно трудно было вначале, когда тяжёлые рюкзаки придавливали к земле, а ноги дрожали от неподъёмного груза, и все мысли были только о том, как дотянуть до привала и замертво свалиться на землю. Каждый день надо было переходить вброд речки и ручейки, шли не переобуваясь, носки и ботинки высыхали прямо на ногах. Ночевали в маленьких палатках «гималайках» – мальчики по трое, девочки – вместе четвером. «Гималайка» – очень низкая маленькая палатка, в которой можно только лежать и потому для ночевки туда надо «заползать» ногами вперед, головой – ко входу. Мы четверо могли разместиться только на боку, и поворачиваться могли только все сразу, одновременно. Эти палатки были к тому же довольно тяжёлые, поскольку сделаны были из плотного брезента – лёгкие и тонкие материалы, не пропускающие воду, появились гораздо позже.

Не все справлялись с трудностями такой жизни. Две девочки в самом начале пути не выдержали физической нагрузки. Наша руководительница Ира, опытный турист, делала дополнительные привалы, а однажды распорядилась снять рюкзак с одной из девочек и распределить вещи среди мальчиков. Помню, как изумило

меня тогда недовольство некоторых ребят, выразившееся совершенно по-базарному: «А почему мы должны нести за неё? Пусть возвращается назад, если не может нести». Это совсем не соответствовало моему представлению о товарищеском (не говорю – о рыцарском) поведении в трудных условиях. Такие же мало пристойные сцены разыгрывались, когда было мало еды и надо было экономить. Я сама сначала держалась только на самолюбии и на страхе, что не справлюсь. Справилась, а потом втянулась, привыкла.

В Алтайской поездке мы две недели были оторваны от почты, и родители ничего не знали обо мне. Я не думала о том, что мама пережила за эти две недели, какие кошмары преследовали её. Знакомые удивлялись, спрашивали её: «Как Вы могли отпустить её в такую поездку?» Мама отвечала: «Я знаю, какое это удовольствие, как же я могла лишиться её этого?». В письме своей любимой аспирантке Ларе Левтовой она писала (21 июля 1952 года):

«Вчера проводили Лёлю, настроение сентиментально грустное, каждую минуту могу заплакать. (Но вчера, при проводах, конечно, не плакала). Ни о чём не хочется думать и тем более что-нибудь предпринимать для своего отдыха. Дома в Москве как будто ближе к Лёле»

Это было последнее мамино лето.

В начале осени произошло важное событие в нашей семье. Родители купили дачу на Клязьме, в поселке «Здоровый быт». Они искали дачу уже несколько лет. С 1946 года, когда была увеличена зарплата научным работникам, у них, привыкших к спартанскому образу жизни, накопились деньги. «Ты будешь путешествовать, а мы с папой будем летом жить на даче» – говорила мне мама. По существу, так оно уже и было. Последние два года я ездила на Кавказ с компанией однокурсников. В 1950 году родители снимали домик

на 43-м километре Ярославской железной дороги, недалеко от дачи Веры Элькинд, и остаток лета, вернувшись с Военно-Осетинской дороги, я жила с ними в этом домике. Мама любила сельскую жизнь, любила возиться в саду, и не раз приходила на дачу к Вере полоть клубнику. В 1951 году, после моей поездки по Военно-Сухумской дороге, родители поджидали меня на Черноморском побережье, в Гудаутах, и там мы провели потом вместе месяц.

Дача на Клязьме, которую купили родители, была построена в 1928–1930 годах кооперативом Лечсанупра<sup>89</sup> Кремля и принадлежала вдове начальника Лечсанупра доктора Левинсона. Дача была построена по типовому проекту: одноэтажный домик из двойных деревянных щитов, пространство между которыми заполнялось каким-то утепляющим материалом, давно просыпавшимся вниз, так что домик, несмотря на голландскую печку, не был пригоден для зимнего житья. Дача была на две семьи. В сторону сада смотрела терраса, за ней шел коридор с комнатами по обе стороны, в конце коридора – кухня и пристройка с туалетом и ванной. Кухня и пристройка вплотную примыкали к кухне и пристройке другой половины дачи, построенной по тому же плану. Изоляция от соседей была хорошая, но всё-таки, это были не отдельные домики, а половинки. Эта дача стала нашим летним пристанищем на следующие 40 лет, до самого отъезда в Америку.

В 1952 году посёлок уже не принадлежал Лечсанупру. То, что было роскошным в конце 20-х годов, выглядело очень скромным в 50-х и не соответствовало уровню новых деятелей Кремлёвки. В посёлке жили потомки кремлёвских врачей, которые очень часто тоже имели отношение к медицине, но это было поколение весьма среднего достатка и невысокого социального положения. В Советском Союзе лечащие вра-

---

<sup>89</sup> Лечебно-Санитаное Управление.



чи составляли не слишком обеспеченную категорию «совслужащих», заработки были небольшие, частная практика не поощрялась, частнопрактикующие врачи были на полуправильном положении. В результате для многих хозяев непросто было поддерживать дачи на необходимом уровне. В нашей дальнейшей дачной жизни в посёлке постоянно были разные хозяйственные трудности. Надо было строить водонапорную башню, чтобы обеспечить подачу воды, ремонтировать дороги. Денег в посёлке не было. В члены кооператива старались принимать людей, имевших деньги и главное – связи. Кто-то из новых членов обещал обеспечить ремонт дороги, кто-то – провести новую телефонную линию (единственный телефон в поселке был в правлении кооператива и связаться с Москвой всегда было невероятно трудно), кто-то – помочь со строительством водокачки. Эти обещания выполнялись далеко не всегда.

Дачу купили в мое отсутствие, я в тот год так и не увидела дачи. Да и мама видела её только однажды. Уже наступил сентябрь, пришли тёмные осенние дни, все дачные планы были отложены на весну. Мама была полна энтузиазма – её сразу покорила сад вокруг дома. Помню, что в день покупки родители привезли целую авоську яблок тут же при них собранных хозяйкой. «Лёлька, – говорила мама. – Там настоящий яблоневый и вишнёвый сад – можешь себе представить?!» Дача была для неё осуществлением мечты. Уже тогда, осенью, она рисовала себе картины будущей весны и лета. Такая злая насмешка судьбы...

В начале ноября 1952 года мы узнали об аресте нескольких профессоров-терапевтов, руководителей клиник Первого мединститута, одновременно работавших в системе Кремлёвки. Официально об арестах не сообщалось. Среди арестованных доминировали евреи. На маминой кафедре было много евреев, все чувствовали приближение беды.

Осенью 1952 года вызвали в партийный комитет института секретаря партийной организации кафедры эпидемиологии, мамину сотрудницу Валентину Давыдовну Беликову, и выясняли у неё, «почему профессор Кац-Чернохвостова пишет в анкетах, что она русская?».

Придётся мне отступить от хронологии, вернуться в прошлое и коротко рассказать о маминном происхождении и о моих еврейских корнях<sup>90</sup>. Мамин отец, мой дедушка Яков Юрьевич Кац, был евреем. Он родился в Бессарабской губернии России (сейчас Молдова), окончил гимназию в Вильно (теперь Литва) и поступил в Московский университет, где закончил естественное отделение физико-математического факультета и медицинский факультет. В качестве врача дедушка уехал в Тульскую губернию, где он работал ещё студентом «на голоде». Там встретил он мою бабушку, Елену Сергеевну Леонтьеву, дочь орловского столбового дворянина, которая к тому времени ушла из родного дома, сдала экзамен на звание учительницы и преподавала в сельской школе. Бабушка была глубоко верующей, и для того, чтобы венчаться по православному обряду, дедушка, атеист по мировоззрению, принял православие.

Так семья Кац оказалась православной, а после революции, когда графа «вероисповедание» была заменена графой «национальность», перешла в категорию русской. Немного раньше, когда мамин брат Николай Яковлевич Кац, мой дядя Коля, женился на своей молоденькой студентке, русской девушке Софье Васильевне Маркеловой, она тоже взяла фамилию мужа, и возникла новая семья Кац, опять-таки русская.

Выйдя в 1926 году замуж мама сменила, как было принято, свою девичью фамилию Кац на фамилию мужа и стала Чернохвостовой. Но у неё уже был диплом медицинского факультета и некоторые публикации под фамилией Кац, и потому её литературная фамилия оставалась Кац. Несовпадение фамилий было неожиданно для самой мамы разрешено какой-то секретаршей, приславшей ей

---

<sup>90</sup> Подробнее в книге: *Е.В. Чернохвостова-Левенсон. Кто мы и откуда. История семьи.* США: LuLu Enterprises, 2010.

повестку заседания научного общества на фамилию Кац-Чернохвостова. Должно быть, это было уже в середине 30-х годов, потому что я отчетливо помню этот момент. Мама рассмеялась, увидав эту длинную двойную фамилию, и показывала её папе. Двойная фамилия оказалась удобной, и в дальнейшем мама стала подписываться и публиковаться именно так.

Когда Валентине Давыдовне задали вопрос о маминем происхождении в парткоме института, она растерялась. Деталей про мамину русско-еврейские корни она не знала. «Я не знаю, почему Людмила Яковлевна пишет, что она русская» – сказала она парткомовским деятелям. «Но я помню, что когда умерла её мать, то её отпевали в церкви». Парадоксы советской жизни! В середине 20-х годов бабушкина приверженность православной религии едва не стоила маме возможности получить медицинское образование. Один из её однокурсников, рьяный коммунист, позже профессор-хирург Ш., сообщил в партком, что Людмила Кац ходит со своей матерью в церковь. Мама действительно ходила в церковь с бабушкой – и подумать не могла, чтобы огорчить её отказом. По этому доносу маму исключили из института, и только большими усилиями дедушки, который тогда руководил отделом в Мосгорздраве, удалось её восстановить. То, что в 20-е годы было для коммунистов преступлением, в 50-е годы в парткоме звучало почти как «оправдание».

В декабре 1952 года у меня с мамой был запомнившийся мне разговор. Я была в плохом настроении, и мама стала спрашивать меня, в чём дело. То ли причина была несущественной, то ли мне просто не хотелось рассказывать, но я ответила, что просто грущу о несовершенстве мира. Неожиданно для меня мама ответила очень серьезно: «Да, Лёлка, я хоть видела жизнь до 17 лет. До 1914 года, до начала Первой мировой войны». И действительно, дальше поколение моих ро-

дителей прошло через Первую мировую войну, революцию, гражданскую войну, голод, террор, опять войну – Вторую мировую, а по окончании войны через кошмар последних лет Сталинского правления с разгулом антисемитизма и началом новой волны террора. «Как сложится твоя жизнь?» – говорила мама с тревогой, и потом добавила: «Ты знаешь, счастье можно найти в личной жизни». В этих словах было отрицание своей собственной активной природы, своей естественной тяги к людям, к общественной жизни. Таково было время, в котором пришлось ей жить. Как сказал поэт: «Времена не выбирают / В них живут и умирают»<sup>91</sup>.

Мама умерла через несколько дней после этого разговора, в ночь с 17-го на 18-е декабря, в терапевтической клинике Первого мединститута. В этой клинике, руководимой профессором Василенко, она почти месяц пролежала летом 1952 года на обследовании. Днём 16 декабря в аудитории этой клиники она читала лекцию по эпидемиологии малярии. Во время лекции и случился роковой инфаркт. Ей было 55 лет.

Это было больше 60 лет тому назад. Мне было 22 года. Сейчас я уже гораздо старше своей мамы. Давно уже нет той боли, почти физической, которая мучила меня в то время, нет снов-кошмаров, когда просыпаясь я не могла понять, где сон, а где явь. Но писать об этом и сейчас трудно.

16 декабря 1952 года я не пошла в институт. Мне нездоровилось, была какая-то легкая простуда и плохое настроение. В то утро мама заглянула в мою комнату и спросила, иду ли я в институт. Не открывая глаз, я ответила, что простужена и останусь дома, и попросила маму не читать сегодня о чуме - мне очень хотелось слышать эту мамину лекцию. Лекции её всегда были увлекательными, а чуму она читала на грани дозволенного, так как рассказывала о вспышке чумы в Москве

---

<sup>91</sup> Первые строчки стихотворения А.Кушнера (1978).

в 1939 году. Об этом тогда ничего не писали в так называемой открытой печати, и эту историю я расскажу здесь.

Чума явилась в Москву в декабре 1939 года<sup>92</sup>. Врач-микробиолог Абрам Львович Берлин, научный руководитель противочумного института в Саратове (современное название института – «Микроб»), проводил в лаборатории опыт с возбудителем чумы. Для таких опытов используется специальный противочумный костюм (наглухо застегивающийся комбинезон, шапка, очки, перчатки, бахилы), исключающий проникновение микробов. По окончании опыта исследователь проходит специальную процедуру обеззараживания, костюм сжигается. И плюс ко всем этим предосторожностям после опыта с живой культурой чумного микроба исследователь должен находиться определенный срок в карантине. Строжайшие правила работы с возбудителем чумы в тот раз были нарушены. Во время опыта Берлину позвонили из высоких московских инстанций, он прервал опыт и подошел к телефону. Его срочно вызывали на Коллегию Наркомздрава (Народный Комиссариат Здравоохранения), и не выдержав положенного карантина, Берлин вылетел в Москву. В Москве Берлин остановился в гостинице Метрополь, в центре Москвы. Сразу после заседания Коллегии, где он делал доклад о противочумной вакцине, Берлин заболел, и вызванный к нему поликлинический врач поставил диагноз крупозной пневмонии. Но состояние ухудшалось, и Берлина госпитализировали в клинику Первого мединститута у Петровских ворот, известную как Ново-Екатерининская больница. Эта клиника – учебная база для студентов, которые толпами ходят там от больного к больному, и никакая, даже приблизительная, изоляция там невозможна. Впрочем, никто и не думал в тот момент об опасной инфекции и о необходимости изоляции.

---

<sup>92</sup> Подробнее см. мою публикацию: *Елена Левенсон*. Забытый герой. Альманах «Еврейская старина», 2006, № 6, стр. 224 (<http://berkovich-zametki.com>)

В приёмном покое больного принял дежурный врач Симон Зеликович Горелик, ассистент кафедры терапии. Он сразу поставил диагноз чумы, и преодолевая активное сопротивление начальства, которое и слышать не хотело о чуме, на свой страх и риск изолировал больного, сообщил о случае чумы коллегам-инфекционистам и остался сам единственным врачом у его постели. Помню, как мама говорила о героизме доктора Горелика – о героизме профессиональном, потому что он не просто изолировал больного чумой, но и остался с ним, чтобы обеспечить медицинскую помощь, обрекая себя на верную смерть, так как от легочной чумы в те годы не было никаких средств, и ещё – о героизме гражданском, потому что он не побоялся противостоять начальству, всем тем, кто отчаянно противился диагнозу чумы, катастрофе, за которую придется тяжело платить. Он, всего лишь ассистент кафедры, не побоялся действовать на свой страх и риск, изолируя больного, извещая инфекционистов и, конечно, – страшные «компетентные органы». А это были тридцатые годы, годы террора, годы всеобщего страха....

Вскоре диагноз чумы стал очевиден для всех и вызвал шок. Чума в центре Москвы! С Берлиным, присутствовавшим на Коллегии Наркомздрава, контактировало огромное количество важных начальников, а второконтakтными (то есть теми, кто контактировал с контактными) оказалось вообще чудовищное число людей. В изоляторах на Соколиной горе поместили всех, контактировавших с Берлиным. К счастью, чума эта оказалась на редкость «ручной»: погибли только три человека: Берлин, врач Горелик, и ещё заболел и умер парикмахер больницы, который должен быть постричь Берлина.

Говорили, что умирающий Горелик написал письмо Сталину, в котором умолял его пересмотреть дело арестованного брата, заверял, что брат не враг народа, что он ни в чём не виновен, и что «умирающий не станет лгать». Было бы наивно думать, что это письмо возымело действие.

Вспышку чумы в Москве старались скрыть. Организацией карантина для контактных занимался НКВД. Как стало потом известно, даже дезинфекцию гостиницы, где

находился Берлин, проводили по ночам, чтобы, не дай Бог, не узнали иностранцы. Но несмотря ни на что в медицинских кругах Москвы о вспышке стало известно.

На примере этой эпидемии мама разбирала ошибки, допущенные на разных этапах, и лекция слушалась как детектив. 16 декабря мама по моей просьбе читала не о чуме, а о малярии. Оставила чуму для меня. Но эта лекция была её последней.

Инфаркт случился в самом начале лекции. Мама едва не упала, её отнесли в комнату при лаборатории на том же этаже, где была аудитория. Позвонили папе, я узнала о случившемся уже от него. Папа метался в поисках дефицитного тогда лекарства – эуфиллина, потом до ночи был в клинике. Мама понимала, что речь идет об инфаркте, спросила у папы: «Сколько времени пришлось пролежать Серафиму?». Папиному брату Серафиму пришлось пролежать три месяца на спине, не двигаясь – такой была тактика лечения инфаркта в те времена. «Три месяца!» – с ужасом повторила мама.

Весь день 16 декабря я провела дома, к маме не поехала. Почему? У меня нет ответа. Помню, что вечером сидела в своей комнате и думала о том, как весной мы будем сидеть с мамой в вишнёвом саду на нашей новой даче. На следующий день я снова не пошла в институт, и опять не поехала к маме. Если нет этому оправдания, нет прощения, то хотя бы объяснение? У меня и этого нет. Там был папа, были мамины сотрудники, говорили с ней, она спрашивала обо мне – ведь я плохо себя чувствовала в день её инфаркта.

В ночь на 18 декабря раздался резкий телефонный звонок. Ещё не проснувшись я выскочила в коридор к телефону. Женский голос сказал: «Лёля? Приезжайте, с мамой плохо». Дальше мы с папой судорожно одеваемся, выскакиваем на улицу, хватаем такси. Пироговка, Саввинский переулок, вход в клинику. Нас ждут у входа, бежим на второй этаж, бежим, как будто от этого

что-то зависит. В ту ночь мама проснулась на секунду и умерла сразу – разрыв острой аневризмы, тампонада сердца. Нам позвонили, когда уже всё было кончено.

Домой мы с папой шли пешком по Пироговке, по Кропоткинской, вдоль бульваров к Пушкинской площади. Папа повторял: «Как мы с тобой будем жить?» Я молчала.

Панихида была во 2-й аудитории гигиенического корпуса. Я стояла внизу, у открытого гроба, смотрела на мамины руки, на белую, незагорелую полоску под обручальным кольцом на безымянном пальце. Помню какую-то бешеную злобу на всех, кто жив, кто здесь находится, кто говорит, выступает. Почему все они живы?!

Хоронили на Пятницком кладбище. Там уже была могила дедушки и бабушки, но хоронить маму в ту могилу было нельзя – прошло только три года со времени смерти бабушки. Только три года! А мама говорила, что она проживет сто лет, что она в бабушку. С трудом нашли новое место неподалёку. Когда пришли домой, я с удивлением и ужасом увидела в нашей большой комнате накрытый стол. Тетя Ира, папина сестра, приехавшая из Ногинска, отдала распоряжения нашей домработнице Шуре и пригласила всех родственников на поминки к столу. Это было непереносимо. Я убежала к себе в комнату, папа пришёл следом, и мы с ним плакали, обнявшись, в стороне от остальных.

Позже я узнала о результатах вскрытия. В венечных артериях сердца были обнаружены окаменевшие тромбы – роковой инфаркт, очевидно, был не первым.

Потом папа рассказал мне, что за два дня до инфаркта мама получила гнусное письмо, в котором анонимный автор обвинял её в потворстве евреям, которых она пригрела на кафедре. Она показала письмо папе, но мне ничего говорить не хотела, как всегда охраняла меня от «несовершенства мира». С той поры я думала о маме как о жертве убийства.



Трудно вспомнить, как моя жизнь продолжалась после смерти мамы. Но она продолжалась. Я ходила в институт, на занятия, на лекции. И чуть не каждую ночь я видела во сне, что мама просто уехала от нас и скрывает свой адрес, и я должна найти её и убедить вернуться. Этот очень яркий и мучительный сон повторялся снова и снова. Я видела его спустя месяцы и годы. Если я когда-нибудь была близка к тому, чтобы поверить в жизнь после смерти, то именно в это время. Не то, чтобы я не могла поверить в мамину смерть – я просто очень ясно и сильно ощущала её присутствие, мысленно рассказывала ей о событиях нашей жизни, с трудом подавляла желание написать письмо. Это ощущение сохранялось очень долго, и только постепенно, с годами, когда стали накапливаться события, о которых мама уже не могла знать, она начала отдаляться и действительно ушла в небытие. Настолько, что сейчас я смогла об этом, наконец, рассказать.

## **Год 1953. Дело врачей**

В начале января началась экзаменационная сессия. Готовилась я вместе с Верой, которая в это время жила у нас. Утром 13 января нам предстоял экзамен по судебной медицине – первый в экзаменационной сессии. В это утро папа тихонько отозвал меня в сторону, предупредил: «Не говори Вере», и показал утренний номер газеты «Правда». Там в разделе «Хроника» было сообщение о раскрытии заговора врачей-вредителей. Невозможно было скрыть это от Веры, разве только на те полчаса, что мы добирались до института, где проходили экзамены.

Текст опубликованного в «Правде» сообщения (с некоторыми сокращениями) я привожу по книге Я.Л. Рапопорта<sup>93</sup>:

### **Арест группы врачей-вредителей**

Некоторое время тому назад органами госбезопасности была раскрыта террористическая группа врачей, ставивших своей целью путем вредительского лечения сокращать жизнь активным деятелям Советского Союза.

В числе участников этой террористической группы оказались: профессор Вовси М.С., врач-терапевт; профессор Виноградов В.Н., врач-терапевт; профессор Коган М.Б., врач-терапевт; профессор Коган Б.Б., врач-терапевт; профессор Фельдман А.И., врач-отоларинголог; профессор Этингер Я.Г., врач-терапевт; профессор Гринштейн А.М., врач-невропатолог; Майоров Г.И., врач-терапевт.

Документальными данными, исследованиями, заключениями медицинских экспертов и признаниями арестованных установлено, что преступники, являясь скрытыми врагами народа, осуществляли вредительское лечение больных и подрывали их здоровье (...)

Преступники признались, что они, воспользовавшись болезнью товарища Жданова, неправильно диагностировали его заболевание, скрыв имевшийся у него инфаркт миокарда, назначили противопоказанный этому тяжелому заболеванию режим и тем самым умертвили товарища А.А. Жданова. Следствием установлено, что преступники также сократили жизнь товарища А.С. Щербакова, неправильно применяли при его лечении сильнодействующие лекарственные средства, установили пагубный для него режим и довели его таким путем до смерти.

Врачи-преступники старались в первую очередь подорвать здоровье советских руководящих военных кадров, вывести их из строя и ослабить оборону страны. Они старались вывести из строя маршала Василевского, маршала Говорова, маршала Конева, генерала армии Штеменко, адмирала Левченко и других.

---

<sup>93</sup> «На рубеже двух эпох», Москва, 1988.

(...) Установлено, что все эти врачи-убийцы (...) состояли в наёмных агентах у иностранной разведки. Большинство участников террористической группы (Вовси, Коган, Фельдман, Гринштейн, Этингер и др.) были связаны с международной еврейской буржуазно-националистической организацией «Джойнт» (...). ...эта организация проводит под руководством американской разведки широкую шпионскую, террористическую и иную подрывную деятельность в ряде стран, в том числе в Советском Союзе. Арестованный Вовси заявил следствию, что он получил директиву «об истреблении руководящих кадров СССР» из США от организации «Джойнт» через врача в Москве Шимелиовича и известного буржуазного националиста Михоэлса. Другие участники террористической группы (Виноградов, Коган М.Б., Егоров) оказались давнишними агентами английской разведки.

Следствие будет закончено в ближайшее время (ТАСС).

Сразу после публикации сообщения о заговоре врачей прошла новая волна арестов, в основном евреев. Были арестованы эндокринолог Шерешевский, биохимик Збарский, терапевты Незлин, Певзнер, Вильк, патологоанатом Рапопорт, психиатр Серейский и другие – цвет советской медицины. Среди арестованных встречались и русские фамилии – терапевты Виноградов, Василенко, Зеленин, Егоров, хирург Бусалов, патологоанатом Федоров – но они не делали погоды: вся кампания была откровенно антисемитской. В народе говорили, что Виноградов на самом деле не Виноградов, а Вайнтрауб<sup>94</sup>. Газеты пестрели статьями о том, как преступно относятся к больным врачи-евреи, как они нагло пренебрегают своими прямыми обязанностями.

Вслед за публикацией «Правды» появилась на свет Божий обличительница – Лидия Тимашук, русская женщина-врач, работавшая в Кремлевке, которая дав-

---

<sup>94</sup> В период правления Ельцина один маразматический старик уверял меня, что Ельцин на самом деле Ельцер – до чего же похоже!

но ещё заметила «вредительскую деятельность» врачей-евреев и предупреждала о ней в письме, написанном в каком-то «лохматом» году. Газеты прославляли ее, везде перепечатывали статью «Патриотка Лидия Тимашук». Уже через неделю после сообщения о врачах-убийцах появилось сообщение о награждении Тимашук орденом Ленина – высшей советской наградой.

В эти дни в числе других врачей был арестован профессор Тёмкин, заведующий кафедрой уха, горла, носа, где доцентом был отец Веры Элькинд. В Вериной семье со дня на день ждали ареста отца. Повторялся ужас тридцатых годов.

Государственная антиеврейская политика упала на благодатную почву, и едва ли не самым страшным во всей этой вакханалии была реакция «народа». Всегда дремавшее в русском сердце неприятие евреев, чужаков, вырвалось на свободу. Всегда, ещё со времен холерных бунтов, сидевшее в глубине сознания недоверие к врачам вылезло наружу вместе с антисемитскими чувствами. Никакого сомнения не возникало в том, что врачи-евреи – вредители и убийцы. «Народ» не хотел лечиться у евреев, враждебность открыто выплёскивалась на улице при виде семитского лица.

«Народный гнев», направленный на евреев, входил в планы организаторов кампании. Тогда об этом только шептались по углам, но со временем, как это почти всегда бывает в истории, всё тайное стало явным. Евреев Москвы и других крупных городов собирались выселить на Дальний Восток, там были построены барачные городки, около Москвы заготовлены вагоны-теплушки. По замыслу организаторов это выселение должно было происходить якобы для спасения евреев от справедливого гнева русского народа, и по задуманному сценарию группа хорошо известных евреев (такое предложение получил в частности Эренбург) должна была обратиться к правительству с письмом – просьбой о выселении, то есть о «спасении». Были сделаны рас-

четы, сколько будет выселяемых и сколько из них не доедет до места назначения, погибнув в дороге. И хотя эти планы не были тогда известны, угроза для евреев Москвы, особенно для врачей-евреев, ощущалась во всей своей реальности.

Позже наш сосед по даче, зубной врач и протезист Яков Ефимович Шапиро, рассказывал, как уехал в то время из Москвы. Яков Ефимович долгое время работал в «Кремлёвке», однажды даже был вызван к самому Сталину на дачу, рассказывал, какой ужас охватил его, когда его привезли на дачу, и навстречу вышел Сталин, голый по пояс и с садовым ножом в руке – он что-то делал в саду. В тот раз Яков Ефимович удостоился похвалы: Сталин сказал, что у Якова Ефимовича «твердая рука»: «сразу видно хозяина».

Яков Ефимович имел частный зубоорудительный кабинет в своей квартире. Его пациентами были знаменитые артисты, писатели. Помню, он показывал нам целую библиотеку книг с дарственными надписями Горького, Маяковского и других. В 1952 году Яков Ефимович почувствовал, что заниматься частной практикой стало опасно. Больные относились с недоверием к каждому его действию, во всём подозревали какое-то коварство, с подозрением расспрашивали, почему он лечит так, а не эдак. В январе 1953 года, после сообщения о врачах-вредителях, пациентка Якова Ефимовича спросила его, почему он пользуется мышьяком (стандартный способ умерщвления зубного нерва) – ведь это яд? Больше Яков Ефимович не выдержал – он запер квартиру и вместе с женой переехал на дачу, никому об этом не сказав.

Другой наш знакомый, врач-педиатр Семён Борисович Авцен (позже он лечил Витьку, о нём я ещё напишу) по совету знакомых просто уехал из Москвы на одну из «строек коммунизма», Куйбышевскую ГЭС, где как и на всех подобных стройках, работали заключенные и где врачей не хватало. Там он проработал до тех

пор, пока не умер Сталин, и вернулся только после прекращения дела врачей и полной их реабилитации.

В марте пришла спасительница-смерть. Пришла ли она сама, или ей помогли найти свою жертву – это навсегда останется тайной. Но если вчитаться в доступные теперь книги, такие как мемуары Хрущёва, «Политическая биография Сталина» Дейчера, «Загадка смерти Сталина» Авторханова и наконец, «Сталин» Радзинского, то предположение об активном вмешательстве соратников Сталина в его судьбу кажется очень вероятным.

Дейчер пишет о том, что сами врачи могли быть обвинены только как исполнители заговора – о том, кто предположительно стоял за ними, кто стремился к захвату власти, не было ни малейших намеков. Но особенность сценария дела врачей, в отличие от аналогичных процессов 30-х годов, заключалась в том, что среди предполагаемых жертв заговора не было ни одного из здравствующих руководителей партии и правительства. Упоминались только ранее умершие Жданов и Щербаков, и ещё несколько маршалов. Но если приближённые Сталина (Молотов, Ворошилов, Микоян, Берия, Маленков, Хрущёв, Булганин) не числились среди предполагаемых жертв заговора, это могло означать, что они сами представляют те силы, которые заинтересованы в захвате власти. И эти люди почувствовали угрозу своему положению и своей жизни. С того момента как появилось сообщение о заговоре врачей-отравителей, сподвижники Сталина не без основания забеспокоились о собственной шкуре. С этой минуты они сами оказались жизненно заинтересованы в скорейшей смерти вождя и учителя.

Первое сообщение о болезни Сталина появилось 3 марта 1953 года. Это было громом среди ясного неба. Не помню точно, что было в первом сообщении, но всем было ясно, что самый факт сообщения о болезни означал близкую смерть. Не надо было быть особенно проницательным, чтобы это понимать – о малых болезнях во-

жда никогда ничего не сообщалось. Он был безупречно здоров и велик. Ни о том, что его лицо тронута оспой, ни о сухой, неработающей руке граждане не подозревали. Последние годы Сталин практически не показывался на публике, вездесущими были только его портреты, где он был всегда молодым и прекрасным. Он настолько прочно вошел в жизнь страны, что воспринимался как явление вечное. Да и был он не так уж и стар – только недавно, в 1949 году, с невероятной помпой вся страна отмечала его 70-тилетие. Целый год все страницы газет были полны «потоком приветствий вождю всех народов великому Сталину». И не было конца этому потоку. Со всех концов страны и из зарубежных стран «великому кормчему» слали подарки ко дню рождения – рабочие, колхозники, ученые, студенты, школьники. Под музей подарков был занят музей Революции на улице Горького (бывший Английский Клуб), из музея изобразительных искусств имени Пушкина на Волхонке были убраны картины, и весь музей несколько лет был заполнен подарками Сталину. Фронтон музея закрывало огромное полотнище – «Музей Подарков Сталину». Там были ковры, рисовые зёрна, на которых трудолюбивые китайцы умудрились написать полный текст «Интернационала» и чёрт знает что ещё. И самое невероятное – эта вакханалия воспринималась «народом» как нечто само собой разумеющееся и нормальное!

Помню сумятицу, возникшую после первого сообщения о болезни. Что будет без Сталина? Хуже или лучше? Многие считали, что теперь к власти придёт Маленков, и начнётся такое, что сталинское правление покажется золотым временем. Без конца повторяли всё те же вопросы: «Кто наследник?», «Кто лучше (или хуже) – Берия или Маленков?». И ответов не было, потому что закулисная жизнь наших правителей была нам совсем неизвестна.

Потом был бюллетень болезни со словами «дыхание Чейн Стокса». Это было уже фактически сообщение о

смерти – самого поверхностного врачебного образования было достаточно, чтобы это понять.

И наконец – 5 марта. Утром 6-го марта объявлена смерть. Траурная музыка. Траурные собрания. На лицах – скорбь, всюду рыдания, вплоть до истерик. Впрочем, на публике все должны были иметь скорбные лица, какие бы чувства не наполняли душу. Семён Борисович Авцен рассказывал потом: «Весь день делал траурное лицо, хотя душа ликовала. Мечтал скорее попасть домой, стереть с лица трагическую маску. Наконец, дома. Приходит жена, кидаюсь к ней: «Ирочка, сдох!» И вдруг вижу заплаканные глаза: «Не смей так говорить!». Так оно и бывало в этой сумятице реальных чувств и масок.

Сами похороны ознаменовались кровавой «Ходынкой». Люди шли огромными толпами к Колонному залу Дома Союзов, влекомые не столько любовью или горечью утраты, сколько любопытством, возможностью увидеть Сталина в гробу. Нечто подобное бывало на демонстрациях в ноябре и мае. Сталин появлялся на трибуне мавзолея редко, увидеть его могли только «счастливчики», которые как раз в этот момент проходили через Красную площадь. И был в этом спортивный интерес: повезет ли? увижу ли? Кроме массы москвичей для прощания в Доме Союзов приехало много народа из Подмосковья, больше молодежь, особенно школьники – всем хотелось попасть в Колонный зал. В какой-то неподходящий момент милиция решила перегородить дорогу грузовиками, толпа напирала, остановить вливающиеся из боковых улиц потоки было невозможно, возникла страшная давка, в которой погибло много народа, и как всегда в России, неизвестно, сколько именно. Разумеется, об этом официально ничего не сообщалось. Только много, много лет спустя описания этой «Ходынки» стали проникать в художественную и мемуарную литературу.

Мы знали подробности от однокурсника, который работал на скорой помощи. Машины скорой помощи



пропускали всюду, они грузили пачки растоптанных до неузнаваемости трупов, увозили в морг Института Склифасовского. Потом туда приезжали родственники, пытались опознать раздавленных родных и близких. И сколько бы ни говорить о плохой организации, но эта кровавая тризна по тирану была глубоко символична.

Что происходило в это время наверху, за Кремлевскими стенами? Три человека произносили речи на похоронах вождя – Маленков, Берия и Молотов. Именно в такой последовательности. А порядок перечисления фамилий, так же как порядок портретов, которые вывешивались в праздничные дни, имел важный смысл. Сразу после смерти Сталина считали, что Председателем Совета Министров и Первым Секретарем партии будет Маленков, но уже через 10 дней, 14 марта, он «попросил» освободить его от высшего партийного поста, и в списке секретарей первым оказался Хрущёв. В сентябре того же года Хрущёв официально занял пост Первого Секретаря.

Прошёл всего месяц со дня смерти Сталина, и вот 4 апреля 1953 года в газете «Правда» появилось сообщение о том, что обвинённые во всех смертных грехах врачи полностью реабилитированы. Привожу текст этого сообщения (с сокращениями) по той же книге Я.Л. Рапопорта:

**Сообщение Министерства Внутренних Дел СССР  
(4 апреля 1953 года)**

Министерство Внутренних Дел СССР произвело тщательную проверку всех материалов предварительного следствия и других данных по делу группы врачей, обвинявшихся во вредительстве, шпионаже и других действиях в отношении активных деятелей Советского государства. В результате проверки установлено, что привлеченные по этому делу профессор Вовси М.С., профессор Виноградов Б.Н., профессор Коган М.Б., профессор Коган Б.Б., профессор Егоров П.И., профессор Фельдман А.И., профессор Этингер Я.Г., профессор Василенко В.Х., профессор Грин-

штейн А.М., профессор Преображенский Б.С., профессор Попова Н.А., профессор Закусов В.В., профессор Шерешевский Н.А., врач Майоров Г.И. были арестованы бывшим Министерством Государственной Безопасности СССР неоправданно без каких-либо законных оснований. Проверка показала, что обвинения (...) являются ложными (...). Установлено, что показания арестованных (...) получены (...) путем применения недопустимых и строжайше запрещенных советскими законами методов следствия.

На основании заключения следственной комиссии, специально выдвинутой Министерством Внутренних Дел СССР для проверки этого дела, арестованные полностью реабилитированы и из-под стражи освобождены.

Лица, виновные в неправильном ведении следствия, арестованы и привлечены к уголовной ответственности.

Под этим сообщением было другое, короткое:

Президиум Верховного Совета СССР постановил отменить указ от 20 января 1953 года о награждении орденом Ленина врача Тимашук Л.Ф. как неправильный в связи с выявившимися в настоящее время действительными обстоятельствами.

Какой это был день! Нет, не день – только утро. Счастливая, с переполненным радостью сердцем, я бежала в институт скорее увидеться со своими друзьями, поделиться счастьем. На Зубовской площади в троллейбус вошла наша однокурсница Циля Гудынская. Мы кинулись друг к другу, радостно обмениваясь бессмысленно-счастливыми фразами. И такие же счастливые прыгнули на остановке у Саввинского переулкa, помчались к зданию психиатрической клиники, где в 9 часов начинались занятия группы. Вся группа уже была там. И тут появился наш осторожный и рассудительный Алик Сыркин: «Тише, тише, спокойно!» Мы замерли, и вдруг мгновенно осознали, что наша радость – это только *наша* радость, для «народа» ничего радостного в этот день не случилось, напротив! Ох, это «напротив», как тяжело оно тогда ранило. Алик был прав. Счастливое

утро кончилось, начался день, для меня – один из самых тяжёлых дней во всей истории дела врачей. Поднялись в комнату, где должны были идти занятия, пришёл наш преподаватель врач-психиатр Ромасенко – и ни слова! Обычное занятие, как будто ничего не произошло в этот день. А потом лекция по психиатрии для всего потока, большая аудитория, полтора человека студентов. И никто ни слова об освобождении врачей! И среди студентов-евреев, которые не могли не ликовать в глубине души, нет никакого внешнего признака радости. И в аудитории физически ощутимая, наполняющая воздух до невозможности дышать – ненависть<sup>95</sup>!

Почему тогда меня это так поразило, почему отозвалось такой острой, неожиданной для меня самой болью? Алик совсем не был провидцем, когда встретил нас своим «Тише, тише!» Всё было так легко предсказать, потому что в этом была железная логика. Если антисемитская кампания против врачей-отравителей нашла такой отзвук в «народе» (я всё время беру это слово в кавычки, а наверное зря!), то реабилитация врачей, и соответственно реабилитация евреев, должна была быть воспринята народом как удар в спину, как обман патриотических чувств. Мне казалось тогда, что у многих в голове была одна невысказанная мысль: «Жи́ды опять выкрутились!»

Яков Львович Рапопорт пишет в своей книге о деле врачей: «Дочь рассказывала, как утром, после начала работы, в поликлинику, где она работала в городе Торопец, ворвалась разъярённая секретарь партийной организации, врач, с возмущённым криком: «Вы слышали, их освободили, это гнусная провокация, это им не пройдет!».

И очень скоро я действительно услышала сходную фразу от... своего поклонника Жени Жарова! Не помню сейчас, в тот ли самый день 4 апреля, или очень вскоре

---

<sup>95</sup> Вадим вспоминал, что многие в эти дни с ним не здоровались.

после, зачем-то мне и ему надо было пойти в приёмную директора. Душу рвущая картина представилась мне там. Приёмная была забита уволенными ранее сотрудниками-евреями. Они пришли в надежде – тогда совершенно нереальной – что их снова возьмут на работу. И Женя изрёк что-то вроде: «Уже явились!». Биологическое неприятие евреев и разочарование благополучным окончанием дела врачей-отравителей было так сильно, что он сказал это при мне, словно забыв, что моя мама Кац-Чернохвостова! И я, как это бывало не раз и потом, не нашлась, что сказать, только пробормотала что-то невнятное, вроде: «Как ты можешь? Что ты говоришь?» Но это был конец моей коньковой дружбы.

Как я презирала себя за это неумение ответить сразу, наотмашь, сколько раз приходилось отвечать таким вот беззубым бормотанием! Моя русская фамилия и русская внешность часто провоцировали антисемитов на откровенность. И никогда я не находила должных слов, а может быть, просто не решалась на резкую реакцию. Помню, как однажды (я была уже матерью семейства) пришла к нам наниматься домработница. Простая баба. Разоткровенничалась. «Наконец, я попала в русскую семью! А то верите ли – одни евреи!». И единственное, на что я решилась, это сказать ей с улыбкой: «Вот видите, как Вы ошиблись! У нас как раз еврейская семья». И ещё вспоминаю один случай. Я была в командировке в Ташкенте, приехала туда на день раньше начала съезда, чтобы побывать в Самарканде, куда 1–2 часа лету из Ташкента. В самолёте познакомилась с молодой парой, военным и его женой, которые тоже летели на один день посмотреть Самарканд, и с удовольствием присоединилась к ним – всё-таки не одна. Автобус шёл мимо старых и странных кладбищ – скоплений камней на голой земле. Военный спросил кого-то из пассажиров, что это такое, и тот ответил, что это старые еврейские кладбища. «И сюда они добрались!» – воскликнул военный. Меня передернуло, но я опять смолчала. Никогда не хватало у меня решительности, и просто сообразительности для немедленного ответа.

В первые же дни после освобождения врачей на лекции по психиатрии «отколол» свой очередной номер наш присяжный шутник Мишка Моин. Когда все уже были на местах, ожидая лектора, Мишка вошёл в аудиторию, и призывно махнув рукой в сторону нашей группы, крикнул: «23-я! Смывайтесь! Наши играют!» Всем было известно, что идут международные соревнования по баскетболу и что сегодня должна играть приехавшая в Москву команда Израиля. Даже я, совсем не интересовавшаяся спортом, знала об этом. Сейчас трудно представить себе, что означала тогда Мишкина фраза, которую он выкрикнул громко, на всю аудиторию. Это был не просто призыв сбежать с лекции – в накаленной антисемитской атмосфере она звучала вызывающе, даже опасно. А наша группа потихоньку, по одному, незаметно, начала покидать аудиторию. И все мы были на стадионе, не помню уже на каком, и смотрели на игру израильских спортсменов, высоких, смуглых, худых, очень восточных и совсем непохожих на привычных нам российских евреев.

В институте появились освобождённые из тюрем профессора. Читал лекцию профессор Б.Б. Коган, худой и бледный, как после тяжёлой болезни. Вместо привычной бородки-эспаньолки и усов «под Ленина» – бритое лицо, наголо обритая голова. Вернулся в клинику профессор В.Н. Виноградов, и пришлось ретироваться профессору Е.М. Тарееву, который уже занял место арестованного директора клиники. Патологоанатом профессор Я.Л. Рапопорт, привезённый утром с Лубянки, в тот же день пришёл на работу в Контрольный институт, где он заведовал патоморфологической лабораторией. Директор института, милейший человек Семён Иванович Диденко, позвал его к себе в кабинет, обнимал и просил прощения – только накануне он должен был выступать на собрании и клеймить Рапопорта как врага народа.

Как мало мы знали тогда, что происходило за кулисами, наверху. Говорили, что Сталин сам присутствовал на допросах врачей, приказывал избивать, распорядился одеть наручники. Со смертью Сталина прекратились избиения, климат изменился. Оправдание врачей связывали тогда с именем Берии, главного Сталинского палача. Ему ли действительно принадлежала инициатива прекращения дела врачей? Надеялся ли он заработать себе авторитет на этой акции, отмежеваться от преступлений Сталина? Каким было его участие (если было) в смерти самого Сталина?

Мы размышляли, сопоставляли, предполагали. А в неизвестных нам высших сферах шла борьба за власть. Смерть Сталина вызвала состояние неуверенности в советской верхушке. Заколебался социалистический лагерь. Летом 1953 года прокатились волнения в странах Восточной Европы: демонстрации в Чехословакии, всеобщая забастовка в Берлине и других городах Восточной Германии, подавленная советскими войсками. Затем последовали совсем поразительные события – забастовка заключённых в лагерях на Воркуте с политическими требованиями! После короткого колебания бунт был подавлен с привычной жестокостью.

Летом 53-го года в стране произошло новое неожиданное событие. Берия, правая рука Сталина, главный палач и вероятный наследник, был объявлен английским шпионом и арестован. Официальное объявление о расстреле – без открытого суда, конечно, – появилось в декабре<sup>96</sup>. Это событие выглядело как настоящий дворцовый переворот – да это так и было. Но объявить Берию английским шпионом – какое полное нежелание сделать вранье хоть сколько-нибудь похожим на правду!

---

<sup>96</sup> Берия был арестован 26 июня 1953 года. В начале июля на пленуме ЦК Берия был выведен из состава ЦК и исключен из партии, объявлен врагом народа и партии. Закрытый суд на Берией был в декабре, Берия был объявлен английским шпионом и расстрелян.

\* \* \*

В дни, когда был разоблачён Берия, новые беды обрушились на семью моей подруги Инны Цветаевой, о которой я писала, вспоминая свои школьные годы.

Иннина мать, Евгения Михайловна, арестованная в 1937 году, после тюрьмы и лагеря работала на опытной биологической станции Воркуты. Инна впервые приехала к матери летом 1947 года после 10-тилетней разлуки – мать и дочь тогда не узнали друг друга. Когда кончился срок заключения, Евгения Михайловна не имела права жить ни в Москве ни в других крупных городах. Но она мечтала уехать из Воркуты в какой-нибудь другой район страны, где существовала бы и другая власть, кроме власти КГБ.

После многих прошений она получила разрешение переехать работать на биостанцию в Берёзово – село за Уральскими горами, у нижнего течения Оби<sup>97</sup>. Она переехала туда в начале 1952 года:

«Вот уже кончается десятый месяц, как я в Берёзове, а мне всё кажется, что я приехала совсем недавно. Поездка отсюда гораздо сложнее, чем из Воркуты, и значительно дороже. До ближайшей станции около 500 км, приходится лететь на самолете. Сейчас у нас стоят очень большие морозы, 40–45 градусов. Холодно, ветер, ходить по улице трудно. Хорошо, что дома тепло» (из письма Е.М. Цветаевой ко мне от 7 января 1953 года)

Инна получила разрешение от Тимирязевской Академии провести в Берёзове летом 1953 года агрономическую практику, как полагалось ей после 5-го курса. Добираться до Берёзова действительно было нелегко: двое суток поездом до Тюмени с минимальными удобствами («уж очень жарко в вагоне и нет кипятка – проводники

---

<sup>97</sup> Место ссылки Меньшикова, соратника Петра Первого (Вспомним картину Сурикова «Меньшиков в Березове»).

решили ограничить потребление воды..» – писала мне Инна), в Тюмени несколько дней в ожидании парохода, так как самолетного сообщения с Березовым в это время не было, и шесть дней пароходом из Тюмени, по Туре, по Тоболу, по Иртышу...

В Берёзове Инна пробыла меньше месяца. В конце июня стало известно об аресте Берии. Следом явились представители местного КГБ, отобрали у Евгении Михайловны паспорт, а через два дня арестовали и отправили обратно в Коми АССР.

«У меня случилось очень большое несчастье, просто трудно описать: сегодня рано утром маму увезли, наверное, в те места, где она была раньше. С работы сняли, то есть даже не снимали, просто отправили, и всё, по решению прокурора Коми АССР. ... Сегодня видела её в последний раз... мне сейчас ужасно тяжело, и надо как-то всё это пережить. Самое главное – ведь ей 58 лет, и второй раз всё это переживать просто страшно». (письмо Инны от 9 июля 1953 года).

Инна оказалась в Берёзове совершенно одна. Она продолжала свою дипломную работу, как просила её мама, и ждала, ждала писем. Только через полтора месяца Инна получила первое письмо – это было письмо с дороги!

Потом Евгения Михайловна рассказала, как её везли из Берёзова – в одной партии с бандитами-уголовниками, «по этапу», с ночёвками в тюрьмах попутных сёл. Путь занял 40 дней. Уже повидавшая виды и не любившая рассказывать о тюремном и лагерном прошлом Евгения Михайловна говорила мне, что ничего страшнее этого путешествия она не переносила. Самым страшным была вероятность ночёвки в тюрьме вместе с уголовниками, и она каждый раз просила, чтобы её поместили в одиночку, но через стенку она слышала, что происходило в камере, где ночевали бандиты, и у неё кровь стыла в жилах.



В конце августа Инна, наконец, уехала из Берёзова, с тем, чтобы по дороге в Москву заехать к маме в Ухту. С трудом достала билеты, упаковала оставшиеся вещи матери и добиралась длинной дорогой, парходами и поездами.

«Вот наконец, я добралась до места, где временно живет мама. О том, как ехала, и вообще о моем путешествии из Берёзова до Ухты, расскажу, когда приеду. Трудно даже сказать, как изменилась мама за какие-то полтора месяца. Очень постарела, вид измученный и усталый, тяжело смотреть. ... Настроение и вообще её взгляд на всё очень печальный. Нет никакой надежды ни на что, хотя я всё время стараюсь её обнадежить, но когда такой человек, как мама, всегда верящий во что-то лучшее, потерял надежду, успокоить трудно».

Евгению Михайловну поселили в совхозе, в 38 км от Ухты (городок южнее Воркуты, на притоке Печоры), там она осталась работать... учетчицей на свиноферме.

С тех пор мы узнали много подробностей о событиях тех лет, но и по сей день не могу я понять, какая злая сила в тот год вновь обрушилась на семью Цветаевых. «Дело» Евгении Михайловны было пересмотрено 12 июля 1954 года, она была реабилитирована в виду «отсутствия состава преступления» и смогла вернуться в Москву. Со временем Евгения Михайловна получила вместе с Инной квартиру в отдаленном районе Москвы, и даже – какое великое благодеяние! – получила телефон вне очереди: привилегия отсидевших 18 лет и реабилитированных...

## **Глава 5. Встреча с Вадимом. Новая жизнь**

### **Вадим. Наша встреча**

Год 1952-й, со всеми его социальными потрясениями и моей большой бедой, принёс в мою жизнь и большое счастье – я встретила Вадима. Слово встреча звучит странно – мы были знакомы уже не первый год. И всё-таки это была именно встреча.

Мы оба родились в 1930 году. Оба – в Москве. Оба – в семьях врачей. Казалось бы, наша встреча была закономерной. А я всё изумляюсь этой удивительной случайности. В многомиллионной Москве так легко было затеряться, пойти разными дорогами, не встретить друг друга. Мы могли учиться в разных вузах – Вадим собирался на исторический факультет МГУ, да и я хотела сначала поступать на биологический факультет. Страшно подумать – мы могли никогда не встретиться!

Судьба о нас заботилась. Привела нас обоих в Первый медицинский институт и, чтобы мы не потеряли друг друга в толпе из почти пятисот студентов курса, привела к тому же на один и тот же «поток», и даже – в «параллельные» группы с одинаковым расписанием практических занятий. С сентября 1948 года мы виделись почти ежедневно, а после третьего курса даже

отдыхали вместе, ездили на Кавказ по Военно-Сухумской дороге в одной студенческой компании. Но всё это была, как говорила Цветаева, «невстреча». Мы не узнали друг друга, не поняли своей судьбы. Почти четыре года мы были с ним, как поётся в известном романсе, «только знакомы – как странно».

В начале второго семестра первого курса я сидела на лекции по органической химии рядом с Галей Шер, которую знала ещё до института по пионерскому лагерю. Галя училась в той же группе что и Вадим, и я спросила её: «Покажи мне, кто у вас в группе Вадим Левенсон?». Я что-то слышала о нём, но не знала его в лицо. «Как, ты не знаешь Вадима? – удивилась Галя. – У нас в группе уже все переболели Вадимом!» И она показала мне приятного юношу, сидевшего неподалёку. Неслучайно я сказала «юношу», а не «мальчика» – в глаза сразу бросалась его взрослость.

Вадимом можно было «заболеть». Он был хорош собой, невысокий, но какой-то ладный и складный, с правильными чертами лица и обаятельной улыбкой. В нём было «много симпатии» (тогда ещё не было в русском языке слова «харизма»), а главное, сразу было видно, что он умный и гораздо более зрелый человек, чем окружающие вчерашние школьники. Мне кажется, я увидела это сразу, но не заболела. Наверное потому, что сразу поняла: он нравится девочкам, и они – многие и разные – нравятся ему, и значит я тут не причём. Я никогда не была красивой и даже хорошенькой, и знала это. Вероятно, была и во мне «симпатия», у кого же нет её в восемнадцать лет? Но я не могла сравнивать себя с теми девочками, на которых обращал внимание Вадим. Честно говоря, я и сейчас не понимаю, почему он всё-таки заметил меня, выбрал меня? Выбор был именно его, а что я ответила на его выбор – в этом не было ничего удивительного. Наша настоящая встреча произошла через 4 года после первого знакомства, осенью 1952 года. За эти четыре года были всё те же «невстречи».

Летом 1951 года мы вместе ездили по Военно-Сухумской дороге. Это была туристическая поездка по путевкам, но мы поехали своей компанией из 12 человек, составлявшей независимое ядро внутри пестрой группы туристов из 25–30 человек. В нашей компании половина была с нашего курса, в основном, из группы Вадима, и несколько других знакомых, в том числе Инна Цветаева.

Сейчас, жизнь спустя, я отлично помню все детали этой поездки. Помню снежные вершины Теберды, живописные горные озера – бирюзовые Бадукские в зеленых лесистых берегах и фантастическая пара Муруджинских озёр, окруженных снежными горами. В одном озере вода была васильково-синяя, в другом – чёрная, и с узкой скалистой перемычки между ними можно было видеть оба эти чуда одновременно. А снег спускался к самой воде. Не сохранилось у меня фотографий, да и были они тогда не цветные, а черно-белые, но эта картина осталась в моей памяти. Помню переход через Клухорский перевал, заснеженный, безлюдный – в ту пору туристы там встречались редко. Ночевали в Северной Палатке (примитивной турбазе) перед перевалом, затем спускались к Южной Палатке, на Южном склоне Кавказского хребта. Переходили горные речки по самодельным мостикам, спускались к морю по ущелью реки Кодор, мимо устрашающе отвесной Богатской скалы, в которой была вырублена дорога. Помню я и Вадима, загорелого, в шортах, с рюкзаком на голой спине. Он отрастил за время поездки бороду, и эта чёрная борода придавала ему сходство с пиратом.

Вадим был более опытным и лучше подготовленным для похода в горах, чем остальные члены компании. Помню, как ловко он устраивал мостики через горные речки, как профессионально помогал остальным переходить по этим мостикам. Потом я узнала, что это был опыт, приобретённый в альпинистском лагере «Ме-

дик»<sup>98</sup>, где Вадим был дважды до этого – летом 1949 и летом 1950 года. Первый год в «Медике» был заполнен «азбукой альпинизма» – скалолазанием, освоением скоростного спуска на веревке (по Дюльферу), тренировочными подъёмами на соседние с лагерем вершины. На следующий год в составе большой группы уже тренированных альпинистов Вадим участвовал в восхождении на Казбек, вторую (после Эльбруса) по высоте вершину Кавказа, так называемый «пятитысячник» (высота 5033 м). Это восхождение оказалось для него особенно трудным, и причину он понял потом, когда уже на вершине неожиданно «пожелтел». Начальную стадию желтухи (гепатита), для которой характерна физическая слабость и утомляемость, Вадим перенёс во время восхождения. Это всё он рассказывал мне гораздо позже. А тогда, на Военно-Сухумской дороге, я знала только, что он альпинист, потому что на куртке у него всегда был приколот значок альпиниста. О том, что он ещё к тому же играет в волейбольной команде курса, я вообще не знала.

В нашей поездке разыгрывались разного уровня любовные драмы. Тяжелый процесс раздвоения переживал Алёша Виноградский, товарищ Вадима. У него была невеста Надя, учительница, её знали товарищи Алёши по институту. Но в институте на него повела атаку новая студентка, Ляля, пришедшая на наш курс из Третьего мединститута. Эта Ляля была танком, и милый, но слабохарактерный Алёша не мог устоять. Во время нашей поездки Алёша исправно писал письма обеим своим девочкам – и Наде и Ляле – и я помню постоянные подшучивания над Алёшей – как бы он не спутал адреса. Расцветал в этой поездке роман между другом Вадима Володей Павлюкойцем и Светланой Клеймёновой, роман этот вылился по-

---

<sup>98</sup> Альплагерь был в Кабардино-Балкарии, в долине реки Цей. Я тоже бывала в Цейском ущелье во время поездки по Военно-Осетинской дороге, но в обычном туристическом лагере.

том в прочную семейную жизнь. У нас с Вадимом тогда были товарищеские отношения однокурсников, и не более того. Может быть, я в представлении окружающих была «закреплена» за Женей Жаровым, который тоже был в нашей компании: о моей «коньковой дружбе» с ним, конечно, всем было известно.

После перехода по Военно-Сухумской дороге мы разъехались кто куда. Вадим с Алёшей Виноградским отправились из Сухуми в Гагры, грузинский курортный городок на побережье, где мать Вадима сняла для них комнату. Меня ждали родители в Гудаутах, они сняли там домик у моря. Остальные возвращались в Москву.

Осенью в Москве мы с Вадимом у нас дома проявляли плёнки, печатали летние фотографии. Тогда все это делали у себя дома. Как-то заглянула к нам в комнату мама, подошла, положила руку Вадиму на плечо и удивленно воскликнула: «Мальчик, какой же Вы худенький!» Вадим улыбнулся своей обаятельной улыбкой, я рассмеялась. Обращение «мальчик» мне показалось странным до смешного: Вадим никогда не воспринимался мною как мальчик, в нём я всегда чувствовала не мальчишеское, а мужское начало.

Летом 1952 года я была в Алтайской экспедиции, о которой уже писала. А ранней осенью, когда начались занятия, Вадим неожиданно стал то и дело садиться рядом со мной на лекциях и расспрашивать о летней поездке на Алтай. Потом я узнала, что он обратил на меня внимание, услышав похвалы в мой адрес от своего друга Володи Павлюкойца, который был с нами на Алтае. Володя рассказывал, каким надёжным товарищем я оказалась в этой поездке. Благодаря этой Алтайской эпопее Вадим и «заметил» меня. Мы сидели рядом на лекциях, болтали о том, о сём. Это было осенью 1952 года. А в декабре умерла моя мама, и жизнь моя остановилась.

Это было очень трудное время. Первые месяцы после смерти мамы я жила какой-то полуреальной жизнью и помню только такие потрясшие всех события как дело врачей и смерть Сталина. Вадима я в это время просто не видела, и совсем его не помню. А он видел меня, и ему хотелось как-то помочь мне, поддержать – наверное, из этого желания росло и другое чувство.

Позже, гораздо позже, Вадим написал мне:

«Прочти стихи Роберта Бернса «В полях под снегом...» – это то, что я хотел бы сказать тебе, но у Бернса это сказано лучше».

Это стихотворение начиналось так:

*«В полях под снегом и дождём,  
Мой милый друг, мой бедный друг,  
Тебя укрыл бы я плащом  
От зимних вьюг, от зимних вьюг...  
...А если мука суждена  
Тебе судьбой, тебе судьбой.  
Хотел бы скорбь твою до дна,  
Делить с тобой, делить с тобой»*

Я не знала этого стихотворения Бернса, хотя его стихи в переводе Маршака были опубликованы в 1941 году. Но они прошли как-то мимо меня. Потом я узнала, что Бернс написал это во время своей последней болезни и посвятил его молоденькой девушке Джесси, помогавшей жене Бернса ухаживать за больным мужем. Существует легенда, что мраморный памятник на могиле Бернса закрывает от непогоды недалеко расположенную могилу Джесси. Необыкновенно лиричные стихи Бернса в мастерском переводе Маршака были в 1943–1944 годы положены на музыку несколькими большими русскими композиторами – Дмитрием Шостаковичем, Тихоном Хренниковым, Георгием Свиридовым. Все это я узнала гораздо позже.

Восприняла я тогда эти стихи как обращенные лично ко мне, и не Бернсом, а Вадимом. Это мою скорбь

готов был он разделить со мной, это была его помощь мне в моем горе. Я думала тогда о нём как о прощальном подарке мамы...

Мне было 22 года – казалось бы, я была взрослым человеком. Но это только казалось. Со смертью мамы у меня ушла почва из-под ног, исчезла опора в жизни, и папа помочь не мог, горе подкосило его, мы были с ним одинаково несчастны и одинаково бессильны.

И вдруг рядом оказался Вадим и его плащ, готовый защитит, дать утерянную опору. Вадима я восприняла не как влюбленного юношу, а как помощь, защиту в самый тяжелый момент моей жизни. И все наши потом долгие совместные годы я чувствовала рядом его плащ, готовый укрыть меня от зимних вьюг. А вьюг было в нашей жизни достаточно.

«Вьюжным», тяжелым, а попросту говоря, страшным, было время нашей встречи – годы 52-й и 53-й. Вместе с моей личной трагедией и вся страна катилась в кровавую катастрофу по воле «вождя и учителя», потерявшего последние остатки разума.

Об этом уже написано. Это была трагедия миллионов. Включая семью Вадима: отец его уже два года был без работы, о перспективах для самого Вадима легче было не задумываться. Тем не менее, не я была его защитой и опорой в это время, а он – моей защитой. С самого начала, и всегда, до самого конца.

Слава Богу – в марте 1953 года главного волкодава забрала к себе нечистая сила...

\* \* \*

Летом 53-го года все мальчики нашего курса должны были ехать на месяц в военные лагеря. Из лагерей они присылали фотографии – в форме, пилотках, все очень бравые. На самом деле лагеря были тяжелым испытанием, и не столько физическим, сколько мораль-



ным. Вадим писал мне письма, которые, конечно, сохранились:

«Тот тонкий налет культуры, который приобрели люди за 5 лет института, у большинства слетел очень быстро. Мат стал для многих необходимым элементом речи, шутки и остроты стали плоскими и приобрели специфический запах портянок. Тесное общение на протяжении вот уже почти 2-х недель выявило истинное лицо многих наших товарищей, и, откровенно говоря, лицо это оказалось не очень приглядным. Впрочем, об этом подробнее потом, не в письме. Всё это сильно отравляет настроение, несмотря на то, что истинное лицо многих угадывалось и раньше».

Потом Вадим рассказывал, каким злобным, воинствующим антисемитизмом было окрашено отношение к однокурсникам-евреям. Один из наших однокурсников, почти врачей, сжимая винтовку, говорил, как бы он перестрелял всех этих жидов.

Летом 1953 года я жила с папой на даче. Первый раз за много лет мне никуда не хотелось ехать. Жила дачной жизнью – собирала ягоды, часами сидела и обрезала усики у крыжовника и чёрной смородины, варила варенье, протирали смородину с сахаром, готовила запасы на зиму. После лагерей Вадим не раз приезжал к нам на дачу. Я ждала его и готовилась к его приезду: мыла голову, чтобы волосы были пышнее, и заплетала косы не туго, чтобы они казались более толстыми. Это была, пожалуй, моя единственная форма «коккетства». Мы вместе ходили купаться на реку Уча, ездили на велосипедах на водохранилище. Вадим становился центром моей жизни.

Стихи М.?

На последнем, шестом, курсе обычных занятий в институте не было – это был год специализации. Планы специализации изменялись каждый год. Предыдущие курсы могли проходить специализацию и на теорети-

ческих кафедрах и по разнообразным узким клиническим дисциплинам. Когда мы дошли до шестого курса, специализироваться можно было только по терапии, хирургии и акушерству с гинекологией. Сохранили и специализацию по патологической анатомии, так как эта дисциплина очень важна для клиники, и Вадим, работавший там раньше в студенческом научном кружке, проходил специализацию на кафедре у профессора Струкова. Я в начале года ещё могла работать некоторое время на кафедре инфекционных болезней (всё-таки поближе к микробиологии), но вскоре и эту возможность прикрыли, и мне осталось перейти на терапию. Таким образом, на протяжении шестого курса мы с Вадимом работали в разных местах. Виделись ли мы? Конечно, виделись, но этот год непонятным образом совершенно выпал из памяти.

Весной наступило время подготовки к государственным экзаменам. Как всегда, я готовилась с Верой Элькинд. И вдруг получила от Вадима письмо. Мне казалось, что мы с ним давно не виделись – ведь это было время подготовки к экзаменам, но из письма ясно, что мы виделись накануне, что он хотел мне многое сказать, но не сумел и решил написать. Письма в нашем доме не выкидывались – тем более сохранилось и это письмо:

«Я хорошо видел, что тебе вчера было трудно со мной, но ничего не мог сделать, не мог найти слов. Всё получалось как-то неуклюже и не так. Хуже всего то, что всё это, всё, что я чувствую и что хочу тебе сказать, можно выразить одним словом, слишком коротким и слишком затасканным. ... Я очень хочу тебе счастья. Раньше мне казалось, что этим выражается всё мое отношение к тебе. Но я сам скоро почувствовал, что это неправда. ... Я не просто хочу тебе счастья, я хочу, чтобы в нём моя доля, моё участие было как можно большим».

Я была выбита из колеи, не могла заниматься, сердилась на Вадима за такое неудачное время для письма. На самом деле я в то время только и думала о нём. Но мне тогда, несмотря на мои 24 года, ещё очень не хватало взрослости, я оставалась «папиной дочкой» и боялась даже думать о каких-либо изменениях в своей жизни.

Ещё до Государственных экзаменов в институте проходило распределение на работу. Не подлежали распределению те, кого рекомендовали в аспирантуру – на теоретические кафедры, или в ординатуру – на кафедры клинические, а также те, на кого поступали специальные запросы из разных привилегированных, часто закрытых, лечебных или научных учреждений, вроде «Кремлёвки», больниц и институтов «Министерства среднего машиностроения»<sup>99</sup>, лечебных учреждений КГБ, и т.д. Простые смертные получали назначения в разные города и веси страны. В Москве имели также право остаться те, у кого мужья или жёны жили и работали в столице.

Моя дорога после окончания института была такой же гладкой и определённой как и при поступлении в институт: я была рекомендована в аспирантуру при кафедре микробиологии. У меня был «диплом с отличием», я работала в кружке при кафедре, у меня были публикации в студенческих сборниках и вполне подходящая фамилия Чернохвостова. Вадим тоже имел все формальные данные для аспирантуры: и «диплом с отличием», и несколько лет работы на кафедре, и публикации, в том числе и в серьёзном медицинском журнале «Клиническая Медицина»<sup>100</sup>. Всё, кроме фамилии и

---

<sup>99</sup> Система атомной промышленности

<sup>100</sup> Статья Вадима называлась «О теории диагноза» и была по содержанию не только медицинской, но и философской. Философией он серьёзно занимался и в школе и будучи студентом. Сейчас я с изумлением разбираю его заметки на полях книги «Риторика» Аристотеля...

«пятого пункта»<sup>101</sup> в анкете. Однако, заведующий кафедрой патологической анатомии профессор Анатолий Иванович Струков хорошо знал Вадима по кружку и очень хотел взять его на кафедру. Струков дал Вадиму рекомендацию в аспирантуру, но кроме Вадима Учёным советом института были рекомендованы ещё два студента – Ира Соловьёва и Миша Волгарёв. В те времена Левенсон не имел шансов выиграть в конкуренции с Соловьёвой и Волгарёвым. Кроме того Ира была не просто отличницей, но и племянницей профессора Рахманова, декана лечебного факультета, а Миша был не только отличник, но ещё и член партии и участник войны.

Однако, получив рекомендацию в аспирантуру, Вадим не подлежал распределению вместе со всеми остальными, и потому, сдав Государственные экзамены и получив медицинские дипломы, мы оба надеялись на свободное лето. Возникла заманчивая идея - поехать в Сванетию. Эта высокогорная страна в Грузии давно гипнотизировала меня. Завораживали слова - Донгуз-Орун, Бечо, Местиа. Подбиралась группа знакомых. Но в разгар планирования и обсуждения стало известно, что кандидатура Вадима в аспирантуру не утверждена министерством здравоохранения. При активной поддержке Струкова Вадим был включён в список тех, кого институт рекомендует на должности старших лаборантов, и этот список был вновь послан на утверждение в министерство. У нас время летней передышки сокращалось. Возник новый план – Южный берег Крыма. Вера Элькинд, которая незадолго до окончания института вышла замуж, собиралась с Андреем и его отцом ехать на лето в Крым. Она очень хотела, чтобы я и Вадим присоединились, уговаривала нас, а я боялась двусмысленности положения: с одной стороны – молодожёны, с другой – мы с Вадимом. Сейчас мне очень смешно это вспоминать, но уговорила она меня, убедив,

---

<sup>101</sup> Национальность.

что в одной комнате поселимся мы с Верой, а другую снимем для Андрея, его отца, и Вадима. И я поверила. Первый этап путешествия проходил примерно по этому плану. Мы с Верой летели самолётом (Веру укачивало в машине), а трое мужчин выехали заранее на машине, чтобы встретить нас в Симферополе. На Южном берегу в Мисхоре сняли комнаты в двух соседних домиках. Но тут Верин план, который я так по-глупому считала реальным, разлетелся в пух и прах. Андрей, естественно, и слышать не хотел о том, чтобы поселиться с отцом и Вадимом, а не с молодой женой, и я оказалась в одной большой комнате с Константином Андреевичем и Вадимом.

Я всегда любила Южный берег Крыма, но в это лето Мисхор навсегда покорила меня. Несказанно красивое Крымское море с постоянной игрой прибоя в прибрежных камнях, роскошные дворцы и парки, сиреневые скалы Ай-Петри на фоне синего неба, дивное купанье, ласковые Крымские вечера – могло ли быть на свете лучшее место для нашего романа? С тех пор мы с Вадимом повидали много чудесных мест, и Кавказ, и Калифорнию, и Гавайские острова, и Французскую Ривьеру, и ещё и ещё... А Крым остаётся для меня неповторимым, как сама молодость.

Однажды вся компания собралась встречать восход солнца с вершины Ай Петри. Вера с Андреем поехали на яйлу<sup>102</sup> на машине, а я и Вадим решили лезть напрямик, по скалистому крутому склону, обращённому на юг, к морю. И полезли – по камням, по расщелинам, по осыпям, по корням деревьев, каким-то чудом растущих из каменных трещин. Лезли не без риска. Долезли только к самому вечеру. Переночевали на полу в каком-то непонятном строении, а утром смотрели восход. Возвращались пешком по тропе, опять-таки вдвоём – Ушаковы возвращались на машине. Топали по

---

<sup>102</sup> Плоскогорье.

Нижнему шоссе. Всё помню отлично – а восхода солнца не помню совсем!

Вадиму надо было спешить в Москву, выяснять возможности работы. Из Мисхора его забрал отец, Иосиф Абрамович, возвращавшийся с друзьями в Москву из автомобильной поездки по Кавказу. Ко мне в Мисхор приехал папа. Моя аспирантура начиналась в октябре, и мы с папой прожили в Крыму почти весь сентябрь.

Вадим пробыл в Крыму недолго – всего 12 дней. Это я установила по письмам. А в моих воспоминаниях это был долгий, долгий период жизни – гораздо длиннее, чем последующие полтора месяца, которые я провела потом в Мисхоре с папой.

Дни проходили однообразно, до краев наполненные перепиской с Вадимом. Утром мы шли на море. Проходя мимо почтовой будочки, я спрашивала, нет ли для меня писем. Письмо было всегда. Я забирала его и шла на пляж читать и писать ответ. Иногда, когда мы возвращались с моря и снова проходили мимо будочки, девочка, сидевшая там, махала мне рукой, приглашала зайти: там меня ждало второе письмо. Так и шло время – море и письма, письма, письма... В Москве Вадим каждый вечер вынимал из почтового ящика моё письмо, иногда два. Иосиф Абрамович не мог скрыть изумления.

Сначала я получила не письмо, а телеграмму: «Министерство отказало утверждению. Пишу». Таким образом, шанс остаться на кафедре патоанатомии старшим лаборантом тоже был исключен. Потом пришло письмо:

«Опять повторилось как в прошлый раз: головой я хорошо понимал, что это наиболее вероятный исход, но как-то верилось в другое. Отсюда мораль: больше доверять голове и чаще ждать худшего».

Вслед за этим обнаружилась ещё одна возможность: кафедре хирургии срочно требовался врач-патогистолог.

Временно это место занимала сотрудница кафедры патоанатомии, но она могла работать только летом, когда на кафедре мало дел. В таком специалисте были заинтересованы и руководители хирургической клиники, профессора Салицев и Шахбазян, и руководитель кафедры патоанатомии профессор Струков. Но кандидатуру врача-лаборанта снова должно было утвердить министерство здравоохранения. И вот трое профессоров обсуждали тактику ведения переговоров с министерством, советовались с руководителем аспирантуры института Левандовским, распределяли роли. У Вадима вера в положительное решение отдела кадров Министерства была уже серьёзно поколеблена.

«У отца<sup>103</sup> в институте рентгенологии пока ничего нового, ещё нет утверждения министерства. Если у него и у меня ничего в Москве не выйдёт, то мы, может быть, вместе махнем на Сахалин. Он говорил сегодня с зав. сахалинским облздравом. Там нужен прозектор в городской больнице Южно-Сахалинска, а отец поехал бы главным терапевтом. Но это, конечно, крайний случай. Если уж обязательно нужно будет уезжать – тогда это, пожалуй, лучший вариант – всё-таки определённый срок<sup>104</sup>».

Целый месяц тянулась эта история. К рекомендациям руководителей клиники и кафедры добавили письмо директора института. Левандовский, как руководитель отдела аспирантуры, лучше других знал чиновников министерского отдела кадров и именно он отвозил документы. Потом, как в замедленной киносъёмке, шёл

---

<sup>103</sup> Отец Вадима, Иосиф Абрамович, был уволен из МОНКИ во время антисемитской компании 51-го года, был безработным, потом временно работал в Институт Рентгенологии и дожидался утверждения Минздравом. В конце концов он поступил на работу в больницу подмосковного города Люберцы.

<sup>104</sup> В такие экстремальные места, как Сахалин или Крайний Север, специалисты ехали по контракту на 3 года. В других местах и через 3 года надо было оставаться и ждать, пока приедет замена.

процесс перемещения бумаг на столах чиновников. Надежды возникали и исчезали. Обо всех этих событиях Вадим писал мне в Мисхор. И наконец – снова телеграмма: «Министерство разрешило, еду за путевкой».

Вспоминаю все эти долгие и унижительные переговоры. Все было ясно в этой «песне без слов». Речь шла о маленькой, непрестижной и ни в какой мере не «выгодной» должности – речь шла о возможности остаться работать в том месте, где родился и вырос. И единственным роковым препятствием был пресловутый «пятый пункт». Мог ли это когда-нибудь забыть человек, обладающий нормальным чувством собственного достоинства и видящий своё фактическое неравенство? И можно ли удивляться, что потом, после переезда в чужую страну, этот человек НИКОГДА не захотел по своей доброй воле хоть ненадолго заглянуть в страну и город, где родился и вырос? Вадим не был единственным в своем роде – я знала и других, никогда не забывших и не простивших былого унижения.

Вскоре Вадим начал работать врачом-патологоанатомом в клинике госпитальной хирургии. Лаборатория состояла всего из трёх человек – кроме Вадима были ещё лаборант и уборщица. Работа заключалась в исследовании материалов, полученных при хирургическом вмешательстве, так называемых биопсий, в том числе срочных биопсий, выполняемых во время операции для определения тактики хирурга. Работа Вадима была к счастью очень тесно связана с кафедрой патоанатомии. Он мог советоваться по поводу диагноза со специалистами на кафедре, и это было очень важно, особенно вначале, и в особо сложных случаях. С другой стороны, он помогал сотрудникам кафедры, делал вскрытия, а потом и самостоятельно вёл занятия со студенческими группами.

Если для меня переход к аспирантской жизни не составлял существенных перемен, то для Вадима ру-



ководство лабораторией качественно отличалось от положения студента. Он сразу столкнулся с трудностями и профессионального и социального характера. Ответственность за срочные биопсии лежала полностью на Вадиме. Его лаборантка Марина была очень бестолкова и постоянно что-то портила и путала, а уборщица Мотя была тяжёлым инвалидом. Вместе с тем именно на Моте лежала обязанность приносить материал из операционной в лабораторию, и если путаница происходила на этом начальном этапе, это грозило роковыми ошибками. Уволить Мотю было не только трудно, но и негуманно – существовать на пенсию по инвалидности в те времена было невозможно. С огромными трудностями и с помощью сотрудницы института, которая была депутатом Моссовета, Мотю удалось устроить в конце концов в инвалидный дом.

Вспоминаю эпизод, доставивший Вадиму много тревог. В лабораторию привозили баллоны с жидкой углекислотой, необходимой для работы. Привезённые баллоны оставляли на первом этаже, поднимал их в лабораторию слесарь клиники, здоровый мужик, который по традиции (весьма распространённой всюду) получал в награду флакон спирта. В первые же дни работы Вадима лаборантка Марина сообщила ему, что привезли углекислоту. Вадим спросил, кто обычно подымает баллон в лабораторию, она рассказала, и Вадим просил её всё сделать, как обычно. На следующее утро на утренней пятиминутке в клинике, когда сообщают о поступлении новых больных, Вадим услышал, что слесаря положили в клинику с переломом, так как он в пьяном виде попал под машину. Перелом оказался несложным, никто не расследовал, где и как напился слесарь, но Вадиму это стоило тревожных дней, и с тех пор тяжёлые баллоны с углекислотой он предпочитал поднимать сам.

\* \* \*

Мы поженились в конце декабря 1954 года. Точнее, в конце декабря мы подали заявление в районный ЗАГС<sup>105</sup>, нам предложили выдать свидетельство о браке уже через 3 дня, но я специально попросила, чтобы его выдали 3-го января (уже 1955 года): я тогда была уверена, что цифра 3 имеет большое значение для нашей семьи:

Мои дедушка и бабушка с маминой стороны поженились 3 ноября 1893 года. Я родилась 3 ноября 1930 года. День именин бабушки, который в семье праздновали вместо дня рождения, приходился на 3 июня. Наконец, день смерти бабушки, который я просто-напросто предсказала исходя из магического значения цифры 3, пришелся на 3 февраля 1949 года.

В отличие от огромного числа московских молодожёнов, у которых вопрос о том, где им жить, был связан с острой нехваткой жилья, у нас тот же вопрос стоял тоже серьёзно, но по другой причине. Нам с папой принадлежали три комнаты в коммунальной квартире (включая бабушкину комнатку при кухне). Вадим жил вдвоём с отцом в трёхкомнатной, хоть и маленькой, кооперативной квартире на Яузском бульваре. Родители Вадима разошлись ещё перед войной, у его матери, Раисы Соломоновны Лившиц, была другая семья. По московским меркам места было вполне достаточно и тут и там. Но мы оба не могли оставлять своих отцов в одиночестве. Иосиф Абрамович был тяжёлым сердечником, уже перенесшим не один инфаркт, а мой папа только недавно потерял маму, свою опору в жизни. Этот вопрос был действительно серьёзным, и в конце концов мы решили жить на две квартиры – в каждом доме по неделе. Теперь мне очевидно, что такое решение было сугубо временным, но другого выхода мы не видели.

---

<sup>105</sup> Запись Актов Гражданского Состояния.

Мы с Вадимом оба не хотели устраивать никаких свадебных торжеств, но всё-таки приличия следовало бы соблюсти. А мы вели себя по отношению к нашим отцам довольно бестактно – думаю, не из-за невоспитанности, а из-за стеснительности. Конечно, ни для папы ни для Иосифа Абрамовича развитие событий не составляло тайны, оба понимали, к чему идёт дело. И всё-таки. Помню, что я просто сказала папе, что с сегодняшнего дня Вадим будет жить у нас. Папа удивлённо посмотрел на меня и вышел из комнаты. Я побежала следом и стала его обвинять, что он вместо того, чтобы поздравить меня, высказывает недовольство. Бедный папа сразу извинился, поздравил, поцеловал и мгновенно простил моё хамство. Мало того, он тут же пошёл в магазин за вином и угощением. Вадим пришёл к нам вечером после работы, к этому времени что-то уже было на столе, зашли из соседней комнаты дядя Коля и тетя Соня – это и было нашей свадьбой. В этот же день примерно в такой же форме Вадим сказал своему отцу: следующую неделю буду жить на Воротниковском. Неделю мы прожили у нас, в моей комнате, потом собрали сумки и перекочевали на Яузский бульвар. Ни я, ни Вадим потом не могли вспомнить, когда и как мы познакомили друг с другом наших отцов.

Я была полностью и совершенно счастлива. Нам не приходилось прилаживаться друг к другу, изменять привычки или взгляды. Мы были сразу очень близкими людьми. Я писала Инне Цветаевой в Закарпатье, где она тогда работала:

«...у меня никогда, даже в самые лучшие моменты жизни, не было такого сознания, что я счастлива в полной мере, абсолютно, что все мелкие неприятности, загруженность, усталость – всё это даже нужно, всё это – элементы той же удивительно счастливой жизни. ...Знаешь, Иннок, мы с Вадькой как-то говорили, что хотя оба ждали, что всё у нас будет очень хорошо, но действительность

превзошла все наши ожидания, потому что ни я ни он не представляли себе, как же хорошо нам будет вместе. (14 апреля 1955 года).

Сейчас, когда наша жизнь позади, я не могу вспомнить каких-либо внутренних проблем. Поначалу не было и проблем внешних. Мы продолжали жить без забот, оставаясь по-прежнему детьми своих родителей. К Иосифу Абрамовичу приходила убирать и готовить старушка Маша, домработница, давно работавшая у старшей сестры Иосифа Абрамовича, Шимы, и ставшая членом семьи. У папы покупками, уборкой и прочими хозяйственными делами ведала другая старушка-домработница, Пелагея Ивановна, жившая у нас ещё при маме. Мы с Вадимом вносили свою ничтожную лепту в хозяйство – он зарабатывал тогда 725 рублей (судить сейчас о значении этих денег трудно, слишком часто цена рубля менялась, но это были действительно очень малые деньги), я имела крошечную, не помню какую, аспирантскую стипендию. После женитьбы Вадим счёл необходимым зарабатывать больше и устроился на работу по совместительству редактором в Медгиз<sup>106</sup>. Три дня в неделю после работы он шёл в издательство и сидел там до позднего вечера, занимаясь редактированием. Он смертельно уставал, нередко задрёмывал за рукописью, а его заработок по сравнению с заработками наших отцов оставался ничтожным.

В этом был весь Вадим: чувство ответственности составляло основу его поведения. Он женился, и его обязанность была – содержать семью (жену!), и никаких отступлений. Сколько раз на протяжении жизни сталкивалась я с этим его все подчиняющим себе чувством долга!..

Вскоре наши отцы собрались на семейный совет и решили, что Вадиму не имеет смысла тратить силы на

---

<sup>106</sup> Медицинское Государственное Издательство.

заработок, а надо готовить кандидатскую диссертацию. Струков советовал ему начинать исследование по морфологии щитовидной железы, потому что в хирургической клинике, где Вадим работал, занимались именно патологией щитовидной железы. Вадим, однако, одновременно с работой в патогистологической лаборатории клиники, начал экспериментальные исследования на крысах на базе ЦНИЛа<sup>107</sup> института. В это время появилась новая методика исследования щитовидной железы – автордиография, позволяющая связать морфологические структуры железы с её гормональной активностью.

В щитовидной железе синтезируется гормон тиреоглобулин, в состав которого входят содержащие йод аминокислоты. Вводя радиоактивный йод животному, можно пометить синтезируемый гормон. Если срезы ткани щитовидной железы окрасить обычными красителями для морфологического изучения и одновременно покрыть срезы фотоэмульсией для обнаружения радиоактивного гормона, то можно проследить участие клеток в синтезе гормона, и процесс выделения гормона в кровотоки. Такое исследование Вадим провёл и на нормальных животных и в условиях экспериментального снижения или повышения гормональной активности железы.

Через два года Вадим получил достаточно данных, чтобы писать диссертацию на тему: «Гистофизиология щитовидной железы (экспериментальное автордиографическое исследование)». И тогда Струков снова рекомендовал Вадима в аспирантуру. Конкурентом на этот раз был некто Митин, русский парень, к тому же член партии – его поддерживало партийное бюро института. Но в это время ветер несколько переменялся, в аспирантуру предписывали брать не студентов со школьной скамьи, а тех, кто уже имел опыт практической работы.

---

<sup>107</sup> Центральная Научно-Исследовательская Лаборатория.

Теперь у Вадима был шанс. К тому же недвусмысленно выразил свое желание Струков: на вступительном экзамене по специальности он поставил Вадиму «отлично», а Митину – «хорошо», проявив при этом немалую смелость. Поддержка парткома, однако, оказалась более существенным фактором, и Митин был зачислен в аспирантуру на единственное место. Но для соблюдения приличий, чтобы кандидат с практическим стажем и готовой диссертацией не был просто так отставлен, отдел аспирантуры предложил Вадиму двухгодичную аспирантуру, созданную специально для него. Он, естественно, согласился. Весной 1960 года он защитил кандидатскую диссертацию.

Я однако, забежала вперед.

Наша кочевая жизнь на две квартиры, и вообще жизнь без забот, длилась едва ли 3 месяца. Потом возникли серьёзные проблемы. Снова из моих писем Инне в Закарпатье:

...«В общем жизнь складывается удивительно хорошо. Иногда думаю: если всё перемешано поровну, если ничего задаром не бывает, то какими же огромными несчастьями я должна буду заплатить за это невероятное счастье!» (апрель 1955 года).

«Милый Инок, давно не писала. ... Просто очень много сразу свалилось разных треволнений – не зря у меня было предчувствие, что счастье на земле даром не даётся. ... У Иосифа Абрамовича, отца Вадьки, случился очередной инфаркт. И вот сейчас (уже неделя) он в полном смысле слова между небом и землёй: страшная слабость, вплоть до обморочных состояний, рвота, сердечная недостаточность. ... Ну, а отсюда можешь себе представить обстановку. Вадьке бюллетень по уходу дали только на 3 дня, а сейчас мы крутимся, организовав дежурства дома по очереди. ... Так подумаешь, Инок, счастье своё строишь на несчастье других: ведь родителям-то стало хуже. Сейчас все, кто заходит к Иосифу Абрамовичу, говорят: какое счастье, что

вы (то есть мы с Вадимом) были дома в ту ночь, когда случился инфаркт. Я сама понимаю – ты представляешь, ведь, это могло случиться, когда он один в квартире. А с другой стороны, мне страшно сделать вывод – переехать на Яузский и оставить в одиночестве собственного папу.

Дома у себя я почти не бываю, хотя страшно жалко папу: он скучает очень один, а к тому же у него какие-то неприятности с желудком – боли, нет аппетита. Ты понимаешь, о чём невольно начинаешь думать. Еле уговорила его пойти на рентген – вот в пятницу пойдёт» (29 апреля 1955 года).

Едва у Иосифа Абрамовича миновала острая стадия инфаркта, как мой папа попал на операционный стол. У него удалили раковую опухоль толстого кишечника, которая достигла такой величины, что вызвала непроходимость кишечника. Выяснилось, что боли в кишечнике у него появились давно. Как-то после совместного чая с тортом папа позвонил мне на кафедру и спросил, не отравились ли мы – он думал, не торт ли причина его болей. А это появились первые симптомы кишечной непроходимости. Боли продолжались 3–4 месяца, сотрудники его лаборатории видели, что приходя на работу, он сразу готовил грелку и клал её под халат. Может быть, если бы мы жили вместе и не были так заняты своей жизнью, своим счастьем, мы настояли бы, чтобы он раньше обратился к врачу? Кто знает. Хирурги говорили, что папина опухоль удалена полностью, но с этого времени над нами повис Дамоклов меч.

## Моя аспирантура и попытка преподавания

Три года, с 1954 по 1957, я была аспиранткой кафедры микробиологии. Фактически я продолжала работу, которую уже вела в кружке, контактировала с теми же людьми, в той же хорошо знакомой обстановке. Аспирантам приходилось всё делать самим, никакой технической помощи не полагалось. Более того, животных (мышей) для экспериментальной работы надо было «добывать» самой. Папа договорился для меня с так называемыми «надомниками» – людьми, которые выращивали мышей на дому и снабжали ими Горбакинститут, где папа работал. Я покупала у них мышей за свои (папины, конечно) деньги. Уход за мышами осуществляла та самая старушка из вивария кафедры, о которой я уже писала. Когда работы стало особенно много, я договорилась с лаборанткой, которая мыла и стерилизовала пипетки для занятий со студентами и платила ей за то, чтобы она готовила пипетки и для меня.

В основном аспирантура для меня мало отличалась от работы в кружке, но появилось и нечто новое. В курс аспирантуры входило также преподавание – практические занятия со студентами и пробная лекция. И это был важный опыт, позволивший мне лучше понять свои склонности.

Сейчас на книжной полке в моей комнате стоит Палехская шкатулка, на крышке - миниатюра по картине Саврасова «Грачи прилетели». Не такой частый сюжет для Палеха, где преобладают традиционные сказочные рисунки – царь-девица с косой до пят, или Дед Мороз с белой бородой в санях, запряженных тройкой. Шкатулка мне нравится, я держу в ней бижутерию, и хотя открываю её не часто, но при этом всегда вновь прочитываю надпись на внутренней стороне крышки: «Любимой Елене Викторовне от первых питомцев». И дата – 19 января 1956 года. Боже мой, больше 60 лет тому назад! Это значит, что им, моим первым питомцам, уже к



80-ти годам, и разница между нами уже и не разница вовсе. Позолота с надписи стёрлась, но буквы отчетливо видны на фоне красного лака. А я и не помню этих первых питомцев, группу из 12 девочек, с которыми вела занятия по микробиологии весь 1955 год...

Совсем ли не помню? Я смотрю на надпись и вижу большую комнату, столы для практических занятий, и этих 19-тилетних девочек. Да, в группе были только девочки, очень внимательные, очень послушные. И вижу себя, 25-летнюю аспирантку первого года. Я стою перед ними у доски в белом халате и белой шапочке, под которой спрятана скрученная в пучок на затылке коса, и говорю, говорю... Эти девочки были моей первой группой. Как я волновалась перед занятиями, как готовилась, как хотела сделать занятия интересными! «Охотники за микробами» Поля де Крюи, «Этюды оптимизма» Мечникова – всё шло в ход в добавление к основному курсу. Я любила те дни занятий, когда сама рассказывала моим девочкам новый раздел. Я приводила интересные случаи из истории микробиологии, а их внимательные лица ещё больше подогревали мое вдохновение. После таких занятий я была счастлива. На следующий день нужно было спрашивать и выслушивать бледное подражание моему вчерашнему рассказу. Были те же примеры, иногда даже те же выражения, что я употребила накануне, но всё это выглядело убогим. Я не могла сердиться, они старались, но слушать это нескладное подражание было мучительно. Я чувствовала, что преподавание – не моя стихия. Так прошли оба полугодия 55-го года. В январе 56-го начались экзамены. Я искренне волновалась за своих девочек, и они это видели. После экзамена они позвали меня в лабораторию и подарили мне эту шкатулку с какими-то хорошими словами. Я была смущена, но мне было приятно.

В год окончания аспирантуры я читала лекцию на тему «Бактериофагия»<sup>108</sup>. Пробная лекция аспиранта – вещь ответственная. Студенты (примерно 150–200 человек, «поток») сидят в аудитории, расположенной амфитеатром, а на верхних скамьях сидят сотрудники кафедры. Они слушают и отмечают ошибки – и по существу лекции и по планированию времени, отмечают, удаётся ли аспиранту привлечь внимание студентов. Лекция – два академических часа, по 45 минут с 15-ти минутным перерывом – должна заканчиваться точно в срок, не раньше – время надо использовать полностью – и не позже – студенты недовольны, если лектор занимает их законный перерыв. Эти требования далеко не всегда выполняются маститыми лекторами, но «что позволено Юпитеру, не позволено быку».

К этой лекции я тщательно готовилась и очень волновалась. Когда перед самой лекцией я пришла на кафедру, меня огорошила Мария Николаевна: «Что это такое?!» – спросила она меня, указывая на обручальное кольцо на моём пальце. – «Сейчас же снять!» Что привиделось ей в эту минуту?! Я была ошарашена – снимать кольцо мучительно не хотелось, спорить с начальством в такую минуту не было сил. Сотрудники окружили меня, уговаривали подчиниться, я сняла кольцо и пошла в аудиторию почти со слезами на глазах.

Перед лекцией меня успокаивал один из кружковцев: «Что ты волнуешься, у тебя такой тембр голоса, тебя в любом случае будут слушать». Я знала, что это действительно так, и в этот раз я это снова почувствовала. Первые фразы, звук собственного голоса, сразу успокоили меня.

Лекция шла по плану, в аудитории была тишина, студенты слушали внимательно и в конце проводили меня аплодисментами, а это было совсем не типично.

---

<sup>108</sup> Бактериофаг – вирус, избирательно поражающий бактериальную клетку.

Но настоящую радость я получила от этой лекции два года спустя. Вадим, в это время аспирант, вёл занятия с группой студентов на кафедре патологической анатомии. После одного из занятий Вадим разговорился со студентами о преподавании на разных кафедрах, об интересных и неинтересных дисциплинах, о разных лекционных курсах. И вдруг студенты стали с энтузиазмом рассказывать ему, какую необыкновенную лекцию слышали они однажды на кафедре микробиологии – лекцию, которую читала им какая-то молодая сотрудница. Имени лектора они не помнили, но тему «Бактериофагия» помнили отлично. Вадим послушал их восторженные отзывы и сказал: «Мне это тем более приятно слышать, что эту лекцию читала вам моя жена». Для меня это был один из самых больших комплиментов моему лекторскому искусству: два года спустя эти студенты, совсем и не интересовавшиеся прицельно микробиологией, помнили мою лекцию!

И всё же преподавание не привлекало меня. К моменту окончания аспирантуры я волновалась, что сказать, если мне предложат остаться ассистентом на кафедре, как отказаться и не обидеть при этом Марию Николаевну. Я определённо хотела уйти в экспериментальную работу. Так преподавательским способностям, которые я унаследовала от мамы, не суждено было развиваться. Не хватало мне одного важного свойства, которое так сильно было выражено у мамы – умения и желания контактировать с людьми. Мама всегда испытывала живой интерес к людям, встречавшимся на её пути, расспрашивала, сочувствовала, стремилась помочь. Её реакции были непосредственными, она не боялась, что собеседник сочтёт её участие неуместным, и при этом она никогда не бывала бестактной. Её любили студенты и аспиранты, в ответ на её доброжелательный интерес к ним они исповедывались ей в своих семейных проблемах, делились радостями и горестями, и шли за ней и за её талантливыми лекциями в эпидемиологию –

специальность, не пользовавшуюся популярностью в медицинском институте. У меня же была только вечная боязнь сказать что-то не так и не тогда, когда надо, и желание избежать напряжения от общения с людьми. Только с очень немногими и очень близкими друзьями я могла расслабиться, не контролировать свои слова и поступки, не думать, что и как делаю или говорю, и только общество таких очень близких я по-настоящему любила. Эти особенности были очень выражены у меня и в детстве и огорчали маму. Ей хотелось, чтобы у меня была большая и разнообразная компания, чтобы я научилась хорошо чувствовать себя в обществе и не очень знакомых людей. «Опять Наташа и Коля» – говорила она мне о моих близких друзьях. «Опять в халате и тапочках!». А мне так хотелось всегда быть «в халате»!

Мария Николаевна мне ничего не предложила. Ко времени окончания аспирантуры безнадежно болел мой папа, а я ожидала ребёнка. Сотрудники папиной лаборатории звали меня в тот институт, где папа работал много лет. Поступить в этот институт мне было легко, институт был непрестижный, отраслевой, что называется «заштатный». Там я и осталась на всю мою рабочую жизнь, потому что не хотела терять уют этого маленького института и маленькой лаборатории, где я всегда могла быть «в халате и в тапочках».

## **Папа: последние годы. Лидия Сергеевна**

Возвращаюсь в год 1955-й. После папиной операции так хотелось верить, что всё обойдётся. А события развивались не так, как хотелось. Всё лето папа был в тяжёлом состоянии, не ел, страдал от тошноты, худел на глазах, терял силы. Мы жили на даче, каждый день ездили в Москву, за папой ухаживала наша старая до-

мработница Пелагея Ивановна. Добывали продукты, которые папа мог есть. Помню очереди за кефиром, за фруктами. Очень часто приезжала к нам Лидия Сергеевна Валмосова, секретарь директора института. Её тепло и забота были для папы незаменимы. Дальше я напишу о ней.

Прошли летние месяцы, потом состояние папы стало заметно улучшаться. Так и осталось непонятным, в чём было дело. Может быть, это была необычная реакция на очень малую дозу облучения, которую применили, чтобы ускорить заживление шва?

\* \* \*

В августе мы с Вадимом решились на короткий – 4-хдневный! – отдых. Это было наше отложенное почти на год «свадебное путешествие». Поехали на машине в Тарусу, мне хотелось снова увидеть места, где я провела лето 1945 года. Ехали через Серпухов, потом к станции Тарусская, а оттуда по проселочным немощёным дорогам к самой Тарусе, стоящей на высоком берегу Оки. В этой поездке нас ожидало приключение, которое запомнилось надолго.

Мы сняли комнату у человека, занимавшегося прививкой плодовых деревьев: в его саду, рассудку вопреки, стояли яблони с привитыми на них ветками груши, сливы и прочих неродственных плодовых деревьев. Это создавало ощущение какого-то странного хаоса. Там мы пробыли недолго, хотелось испытать что-то более романтическое. И мы решили вечером уехать из Тарусы, переехать Оку на пароме и заночевать в машине недалеко от дороги, ведущей из Тарусы в Поленово, где находился музей художника Поленова и Дом отдыха Большого Театра.

Последний в этот день паром перевёз нас на другой берег. Мы немного отъехали вглубь леса и остановились на живописной поляне. Костёр, ужин, полная тишина, вокруг ни души. Разложили сидение в машине,

приготовились ко сну. Последние минутки у затухающего костра.

И вдруг в полной тишине слышим отчетливые шаги: человек идёт по лесу, сучья хрустят под ногами. Мы замерли. Лес вокруг стоит плотной тёмной стеной, мы не видим ничего, а сами хорошо видны на освещенной луной поляне. Человек идет осторожно: несколько шагов, остановка, полная тишина. Снова несколько шагов, снова остановка. Кто может так крадучись итти через лес в поздний час, когда дорога кончается у реки и паром уже не работает?! Шаги приближаются. Потом остановка – совсем близко от нас. Возможно, человек уже увидел нас на поляне. Секунды, или минуты, полного паралича воли... Потом Вадим быстро идёт к машине, берёт в руки домкрат, машет мне – садись! Садимся (на уже разложенные сиденья!) и рывком вылетаем к дороге. Позже Вадим говорил мне, что взяв домкрат, почувствовал себя увереннее – впрочем, сомневался, что смог бы применить его против человека.

Несколько километров до Поленова по проселочной дороге проскочили мгновенно. Около музея – посёлок, дома, слабо горящие фонари. Поставили машину, пошли по улице, чтобы успокоиться. Вдруг фонарик в лицо: «Кто такие?». Милиционер, с ним ещё несколько человек. Оказывается, в Доме отдыха Большого театра произошла кража. Пока отдыхающие смотрели кино, две комнаты обчистили. Мы рассказали о странном происшествии в лесу, недалеко от Оки – может быть, это воры пробирались к Оке, где у них была припасена лодка? Вадим посадил милиционера и его спутников в машину, и они отправилась к месту происшествия. Я ждала в комнате у кого-то из отдыхающих.

Вадим и его спутники нашли нашу поляну, у кострища – брошенные вещи (котелок, термос), смятую траву в лесу – следы подошедшего к поляне человека. Если это были воры, они давно уплыли на лодке.

После бессонной ночи в Поленово мы спешно уехали домой. Днём чувствовали себя нормально, но как только сгустились сумерки, пережитый страх возник снова. Это повторялось ещё несколько дней. Так закончилось наше «свадебное путешествие».

\* \* \*

К концу лета состояние папы стало значительно лучше, а осенью он вышел на работу. Возобновилась нормальная будничная жизнь. Вадим работал, я была на втором году аспирантуры. Но это было короткое затишье перед катастрофой. Очень короткое – немногим более года. В это время мы уже перестали кочевать с квартиры на квартиру, а постоянно жили на Воронниковском.

Летом 1956 года мы с Вадимом могли позволить себе уже настоящий совместный отдых. Поехали на кавказский курорт Гагры, жили по так называемым курсовкам – снимали веранду, а питались в доме отдыха. Съездили на красивейшее горное озеро Рица. А потом каждый день уезжали на катере из многолюдных и шумных Гагр в соседнюю Пицунду. В то время в Пицунде, на полуострове, покрытом реликтовой сосной, не было ничего кроме маленькой турбазы, было безлюдно. На пустынном берегу можно было купаться хоть нагишом. А под горячим солнцем субтропиков пицундская сосна наполняла воздух таким ароматом, какого не бывает в сосновых лесах севера.

Спустя несколько лет мы побывали на Пицунде снова и увидели там отгороженные заборами большие участки: дачу Хрущёва и дачу грузинского партийного босса Мжаванадзе. Дальше стояли многоэтажные здания пансионатов. Пицунда 56-го года была уничтожена навсегда. Может быть, на участках правительственных дач сохранилась знаменитая реликтовая сосна....

Осенью на юг поехали папа с Лидией Сергеевной и ещё одной знакомой парой. Возвратились загорелые и радостные, папа словно ожил. Всю осень по субботам и воскресеньям мы все ездили на дачу, собирали и жгли листья, белили стволы яблонь. Там, на даче слушали по «вражьим голосам» – Би-Би-Си и Голосу Америки – о подавлении восстания в Венгрии в ноябре 56-го года. В Москве всё забивали глушилки, а на даче можно было слушать. Сидели в коридоре у открытой дверцы голландской печки, грелись, смотрели на язычки пламени и слушали. Было холодно на даче, холодом веяло от новостей.

Венгерское восстание было результатом хрущёвской попытки развенчать Сталина. Казалось, закачалась вся социалистическая система. Волнения в Польше тогда удалось погасить, вернув преследовавшегося Сталиным Гомулку на пост Первого Секретаря партии. С волнениями в Венгрии так просто справиться не удалось, там была настоящая революция. Венгерская секретная полиция стреляла в студентов и рабочих, восставшие убивали ненавистных коммунистов и охранников. Призвали опального Имре Надя, но и он не мог успокоить народ, ему пришлось пойти вслед за народом, поддержать требования восставших, вплоть до требований о выходе Венгрии из Варшавского договора. И вот 4 ноября 56-го года советские войска танками, артиллерией, бомбежками разгромили восставший Будапешт. Говорили, что город пострадал в том году больше, чем во время войны. Тысячи венгров бежали в Австрию, тысячи были убиты, несколько тысяч казнены. Имре Надь укрылся в Югославском посольстве. Новый Первый Секретарь компартии Янош Кадар обещал ему свободу и неприкосновенность, но как только Надь вышел с территории посольства, его схватили советские военные и увезли в Румынию. Через 2 года он был казнен.

Приходил к нам на дачу, как частенько и раньше, наш однокурсник и сосед Марат Векслер, сидел с нами около печки, слушал радио. Потом принес стихи:



*Мы сидим с тобой у печки, у голландской печки.  
На поленьях, на поленьях  
Пляшут человечки.  
В колпаках и красных майках, с тонкими руками,  
Пляшут лихо, высекая  
Искры каблуками...  
Все чернее пол и стены, все трудней бороться  
С надвигающейся смертью  
Славному народу...  
Погибают, погибают наши человечки...  
Мы сидим с тобой у печки, у голландской печки.*

Такой остался в памяти мадригал венгерским борцам...

\* \* \*

В начале зимы 1957 года у папы появились боли на месте операции, врачи установили рецидив опухоли. Я торопила с повторной операцией, но дело странным образом не двигалось. Потом Вадим сознался, что скрывал от меня страшную находку: в лёгком был обнаружен метастаз. И я поняла, что надежды нет никакой.

Мне сразу же очень захотелось иметь ребёнка, чтобы папа успел увидеть его. Это пришло как что-то навязчивое. До того времени нас обоих с Вадимом вполне устраивало положение детей – мы оба не стремились сами стать родителями. Ребёнка я захотела не для себя, не было у меня тогда материнского инстинкта – я хотела ребёнка для папы.

Папе сказали, что всё в порядке, что операция не нужна, что есть воспаление, которое постепенно пройдет. Он поверил. Обмануть безнадежно больного, внушить ему надежду, часто бывает нетрудно – человек сам стремится уйти от мысли о неизбежности смерти, ищет соломинку, за которую может ухватиться. Обмануть папу было особенно легко, потому что он верил людям и не ждал обмана. Он был очень доверчивым человеком – хочется сказать, доверчивым как ребенок. Но он был врач, и для того, чтобы обман сработал,

нужна была правдоподобная версия. Объяснение было придумано – внелёгочный туберкулёз. Это объясняло появление увеличенных лимфатических желез, боли в животе, похудание, потом и температуру, словом всю гамму симптомов развивающегося ракового заболевания. В доме появился стрептомицин – наиболее активный антибиотик против туберкулёза.

Однажды летом мы попросили приехать к нему его однокурсника, в то время профессора и известного специалиста по внелёгочному туберкулезу. С благодарностью вспоминаю, что он согласился приехать. Вадим привёз его к нам на дачу, он осмотрел папу, дал рекомендации, словом, подыграл нам полностью. Внелёгочный туберкулёз, поражение многих систем организма – очень тяжёлое заболевание, но не безнадёжное. Иногда казалось, что папа подозревает обман, но когда родился Витя (за 3 недели до папиной смерти), и я принесла младенца к нему, он замахал на меня рукой: «Уноси, уноси скорее, ему нельзя быть в этой комнате!» Значит, всё-таки верил в туберкулёз.

Весной боли усилились. Мы переехали на дачу рано, я писала диссертацию и могла почти не ходить на кафедру. Папа выходил с раскладным стульчиком в сад, сидел около цветущих тюльпанов. Потом сидеть на стульчике стало трудно – выносили раскладушку, он лежал целый день в саду, под яблонями. Приезжала Лидия Сергеевна, проводила с ним многие часы. Читали, разговаривали. В то лето было невероятное количество яблок, под их тяжестью ломались ветки яблонь, белый налив висел гроздьями, как виноград, над папиной раскладушкой. А на шее у него росли гроздья лимфатических желез – опухоль расплзалась повсюду. Постепенно начали колоть морфий – сначала только на ночь, потом чаще. Потом надо было вставать и среди ночи, колоть ещё раз.

Папу приезжали навещать сотрудники института. А во мне росла ненависть ко всем, кто не болен, кто

будет жить, когда папы не будет. Почему так, откуда – не знаю, но так было, так я помню. Помню, как приезжал заместитель директора по хозяйственной части института Сукальский, как он сидел рядом с папиной раскладушкой. Сукальский был красивый, эффектный, с белой седой шевелюрой, моложавым лицом, почти без морщин, с необычным для мужчин румянцем. Я смотрела на его пышущее здоровьем лицо и завидовала. А Сукальский умер через два месяца после папы от злой опухоли мочевого пузыря, которая росла в нём тогда и о которой никто не подозревал.

## Лидия Сергеевна Валмосова

Лидия Сергеевна бесконечно много сделала для папы и всех нас в тяжёлое время папиной болезни. И потом, после папиной смерти, она стала незаменимым другом нашей с Вадимом семьи.

К великому моему сожалению я не могу написать о Лидии Сергеевне так, как хотела бы, и виной тому не память, а моё нелюбопытство к окружающим меня людям. В 2001 году, уже думая о том, что должна написать о Лидии Сергеевне, и понимая, как мало я знаю о ней, я ехала в Москву<sup>109</sup>, чтобы встретиться с её племянницей Надей и расспросить её. Нет, нельзя откладывать «на потом». Позвонила Наде и услышала незнакомый голос: «Мы только вчера отмечали сороковой день после её смерти». Так я и осталась с теми отрывочными сведениями о жизни Лидии Сергеевны, которые сохранились в моей нелюбопытной голове.

В день папиной операции Лидия Сергеевна приехала в Боткинскую больницу. Я дежурила тогда у папы в

---

<sup>109</sup> Из Америки.

палате, встретила её у входа в хирургическое отделение и сказала ей о том, что знала в тот момент: удалена раковая опухоль. Мы почти не говорили, да и о чём было говорить? Всё было ясно и так.

С этого дня Лидия Сергеевна вошла в нашу жизнь. Она давно питала к папе глубокое и искреннее чувство. Они работали рядом. Папа был научным руководителем института, и много времени проводил не в лаборатории, а в маленьком одноэтажном домике, где помещалась дирекция и канцелярия института. Лидия Сергеевна была секретарём директора и помогала и научному руководителю и Учёному секретарю. Но пока была жива мама для папы не было на свете другой женщины, и Лидия Сергеевна хорошо это понимала.

После маминой смерти папа был трагически одинок, наверное, ещё более одинок, чем я. До сих пор слышу его слова «Как мы будем теперь жить?». Потом у меня появился Вадим, началась моя новая жизнь. Для папы в это время любовь и забота Лидии Сергеевны были спасением. Но какое же малое время было им отпущено! Мама умерла в конце 52-го года, а уже весной 55-го года папа был оперирован и начались дни его болезни с одним только коротким просветом в 56-м году...

Есть у меня фотографии Лидии Сергеевны. Лицо необычное, с выраженными восточными чертами – высокие скулы, полные губы. У неё был низкий, грудной голос с хрипотцой заядлого курильщика – она курила давно и много. Я знала её маму, маленькую доброжелательную старушку с типично русским лицом, совершенно непохожим на лицо Лидии Сергеевны. Мать была крестьянкой из мест, близких к Ленинграду. Лидия Сергеевна, должно быть, пошла в отца. В её внешности и в фамилии Валмосова был след татарских предков. Как вспоминается мне, отец Лидии Сергеевны, был из «бывших», может быть, из помещиков тех же мест. О своей семье Лидия Сергеевна никогда не рассказывала, о судьбе её отца я ничего не знаю, так же как и о по-

лученном ею формальном образовании. Знаю, что она была образованным, умным и интеллигентным человеком.

У Лидии Сергеевны была сестра, рано погибшая от туберкулёза. В результате короткой связи с матросом-пролетарием, о котором Лидия Сергеевна не могла вспоминать без содрогания, у сестры родилась дочь Надя. Сразу после родов у сестры определили открытую форму туберкулёза лёгких, и все заботы о ребёнке взяла на себя Лидия Сергеевна. Когда сестра умерла, Лидия Сергеевна потребовала, чтобы отец исчез, что он охотно и сделал, а Лидия Сергеевна стала фактической матерью Нади.

Когда я познакомилась с Лидией Сергеевной, она жила на улице Станиславского (теперь Брюсовский переулок) в огромной коммунальной квартире. В одной комнатке-каморке жила Надя с бабушкой, в другой, побольше – Лидия Сергеевна с мужем, Владимиром Александровичем Барсовым. В их комнате третью часть занимал большой рояль, на котором лежали стопки нот, главным образом, классика: оперы, концерты. Пространство, остававшееся от рояля и обеденного стола, занимали книги по истории и философии. Вадим нередко брал у Владимира Александровича что-нибудь почитать.

Владимир Александрович играл на рояле, как мне кажется, профессионально. Это было одно из его любимых занятий. Второе любимое развлечение – игра в винт. Эта карточная игра была когда-то популярна среди старой русской интеллигенции, с нею и кончилась. Для игры требовалось четыре человека – «винтить» приходили два неизменных приятеля, а четвёртым игроком была Лидия Сергеевна. Крайне несовременной была эта компания. Владимир Александрович был из семьи промышленника, имевшего какие-то заводы под Москвой. Его полное неприятие советской системы сочеталось с глубоким презрением к тем «кухаркам», ко-

торые пришли управлять государством. Дореволюционное время он вспоминал как потерянный рай. Помню, как-то он произнес слово «городовой», а потом с сожалением посмотрел на нас с Вадимом: «А вы и не видели никогда городского?» – «Нет. А что, городской – это хорошо?» – спросила я его. «Городовой – это прекрасно» – в тон мне ответил он. Он окончил философский факультет московского университета, но быстро поняв, что с революцией окончилась пора философии, поступил на математический факультет, и стал специалистом по сопротивлению материалов – как это нередко бывает, способности к музыке и математике у него сочетались.

Отношения между Лидией Сергеевной и её мужем были необычны. Она никогда не называла его уменьшительными именами, только по имени и отчеству, он же всегда и при всех называл её «кошка». Лидия Сергеевна, человек решительный, с сильным характером, иногда даже резким, с Владимиром Александровичем всегда исполняла роль «обслуживающего персонала», а он держал себя так, как будто так и остался сыном богатого заводчика, которому не нужно заботиться о хлебе насущном. Вспоминается ненароком брошенная фраза Нади: «О, у дядюшки характер – не приведи Господи!». Однажды, когда ни Лидии Сергеевны ни её мужа уже не было в живых, Надя рассказала мне, что после смерти Владимира Александровича явилась его жена, о которой я никогда ничего не слыхала, и потребовала свою долю наследства как законная супруга. (Боже мой, какое там могло быть наследство?! рояль и книги...). Лидия Сергеевна ушла из дома, сказав, что она может брать всё, что угодно, но категорически отказалась о чём-либо говорить с ней. Я думаю, у Лидии Сергеевны с мужем был какой-то договор о взаимной свободе, но была между ними и настоящая сердечная и дружеская привязанность. Вспоминаю, какой глубокой болью, почти отчаянием, отзывалась она на смерть мужа.

Большой тревогой Лидии Сергеевны была Надя, в которую она вложила всю материнскую любовь и заботу и не получила того, чего хотела. Надя отличалась нелёгким характером и не была склонна следовать советам своей «тетушки». Когда Надя была ещё студенткой филологического факультета, она увлеклась своим преподавателем – профессором Сергеем Михайловичем Бонди, известным пушкинистом, на добрые 20 лет старше Нади. Такое увлечение Бонди было модным среди студенток, их называли «бондитками». Однако, Надино увлечение оказалось «длиною в жизнь», и никаких других мужчин в её жизни не было. В конце концов, после смерти жены Сергея Михайловича, они поженились, к большому неудовольствию его взрослых детей, и прожили вместе в маленькой квартирке на Фрунзенской набережной до самой смерти Бонди.

Вся жизнь Лидии Сергеевны была сплошной отдачей – родным и близким, и ничего для себя. На ней была вся тяжесть ухода за сестрой, погибавшей от туберкулеза, все трудности ухода и воспитания Нади, в годы войны она бесконечно сдавала кровь, чтобы кормить и маму, и Надю, и своего избалованного мужа, постоянно подрабатывала печатанием на машинке. Сколько заботы она отдала папе... В последние папины дни она приходила к нему с самого утра, и только ей одной удавалось напоить его кофе или чаем. Однажды он назвал её «Всех страждущих утешительница». Слова запомнились, в них была правда.

Лидия Сергеевна была другом нашей с Вадимом семьи в течение многих лет уже после смерти папы. Витя был для неё как бы продолжением папы – она относилась к нему нежно. Ещё до появления Вити на свет она была уверена, что у меня родится мальчик, что мы назовём его Виктором и что он будет похож на папу. Она была убеждена в этом, зная как много душевных сил занимал папа во время моей беременности.

Лидия Сергеевна занимала незаметную должность секретаря директора, но я не знала никого, кто так подтверждал бы справедливость латинской мудрости: «Не место красит человека, а человек – место». Ко времени нашего знакомства она работала на этом месте уже не меньше 20 лет, знала всё и всех, не только сотрудников института, но и людей из Минздрава и из других родственных институтов Москвы. И её знали. К ней обращались по самым разным вопросам, от неё ждали помощи в решении организационных, деловых, формальных проблем. Станиславский говорил, что театр начинается с вешалки. Наш институт (я говорю «наш» потому, что я, а потом и Вадим, проработали там всю жизнь) начинался с канцелярии, а это значит – с Лидии Сергеевны. Она была первым представителем института для каждого нового человека, и её интеллигентность и организованность сразу создавали такое впечатление об институте, которого он в действительности и не заслуживал. От неё требовалась немалая дипломатичность в разрешении различных трений и между институтским начальством и Минздравом, и между сотрудниками – со всем этим она справлялась превосходно. Она так слилась с институтом, что казалась вечной его принадлежностью. Нам казалось, что так и будет всегда.

Но всему приходит конец. В начале 70-х умерла от сердечного приступа Лидия Сергеевна. После перестройки фактически исчез тот институт, который мы знали и в котором проработали так долго. В 2001 году умерла Надя.

«И некому молвить из табора улицы тёмной».



## Рождение Вити. Смерть папы

Моя аспирантура кончалась 1 октября 1957 года. Я была уже зачислена младшим научным сотрудником в Горбакинститут, в папину лабораторию. Однако, с 1 октября я получила так называемый «дородовый» отпуск – врачи считали, что ребёнок должен появиться в конце октября. Но мой сын Виктор родился 29 сентября поздно вечером.

Я почему-то ждала девочку, и конечно, хотела её назвать в честь мамы Людмилой. Писала Вадиму записку: «Будущая Людмила не торопится появиться на свет в свои именины» (29 сентября – именины Людмилы). Появился Виктор. А я только недавно узнала, что 29 сентября – именины не только Людмилы, но и Виктора. Не знали об этом и мои родители, потому что папины именины отмечались 1 мая, в ближайший к его дню рождения день Виктора.

Несколько дней я провела в огромной палате родильного дома. Трудно было спать днем, а потом и ночью: четвертого октября запустили первый космический спутник, и по радио непрерывно передавали его надоедливые сигналы: пи-пи-пи-... По крайней мере я легко запомнила начало космической эры.

Незадолго до рождения Вити, Иосиф Абрамович навестил папу. Оба будущих дедушки обсуждали, кого они хотели бы больше – внука или внучку. Выяснилось, что Иосиф Абрамович предпочитал внучку, папа – внука, каждый – что-то новое по сравнению с собственными детьми. Папа был рад внуку, и рад, что его называли Виктором, но говорил Лидии Сергеевне, что ему неловко, почему именно в его честь...

Папа умер 23 октября 1957 года. С его смертью окончательно исчезла для меня прежняя жизнь. Только что я была дочкой, моя семья – это я и родители. Мне было 22 года, когда умерла мама, 27 – когда умер папа. И

вот я уже не дочка, а жена и мать. Новая семья, новая жизнь помогла перенести утрату родителей.

\* \* \*

Не только моя личная жизнь круто переменялась за это десятилетие. Изменилась страна, в которой мы жили. Десять лет назад, в конце сороковых – начале пятидесятых годов, страна была погружена в безумие последних лет сталинского правления. После смерти Сталина начались перемены. Был осужден царивший в стране «культ личности», сначала без упоминания имени «личности». Термин «нарушение социалистической законности», которым обозначали террор сталинских лет, постепенно вошёл в жизнь. Повторялась фраза о необходимости «коллективного руководства». Некоторое время Хрущёв и Булганин (тогда Председатель Совета Министров) вдвоём представляли главную власть в стране. Речи Хрущёва привычно начинались фразой: «Я и мой друг Николай Александрович». Остряки шутили: «Был культ личности, стал культ двуличности». Но уже можно было шутить...

В международной жизни была провозглашена «разрядка напряжённости». Мир стал дышать свободнее. И, наконец, в феврале 1956 года – XX съезд партии. Хрущёв произносит свою знаменитую секретную речь, в которой впервые говорит о преступлениях Сталина, о терроре тридцатых годов, о вине Сталина в неподготовленности к войне, об ошибках в ведении войны, о депортации целых народов. Речь Хрущёва не печатали, её читали в учреждениях и на предприятиях, на партийных собраниях, на которые, однако, иной раз допускали и беспартийных. Станным был этот переход к до-гуттенберговской эпохе, от полной безгласности к частичной гласности. Сейчас приходится читать о том, что речь на XX съезде сделала Хрущёва отцом горбачёвской перестройки. Я очень хорошо помню ощущение взрыва, которое произвела эта речь. Непросто

было решиться сделать то, что сделал Хрущев. Недавно прочитала где-то, что в 1956 году Хрущёв едва избежал гибели при покушении – пароход «Красная Украина» в Севастополе взорвался спустя несколько минут после того как Хрущев сошёл на берег. Так ли это? Интересная была страна – никто из нас никогда не слышал об этом!

За XX съездом партии последовала реабилитация невинно осуждённых, для большинства – посмертно. За одно это можно простить Хрущёву все его ошибки. Его ругали тогда и ругают сейчас за многое – чего стоит, например, попытка спасти сельское хозяйство кукурузой, которую сажали везде, чуть ли не за Полярным кругом, и звали Хрущева «Никита-кукурузник». Был при Хрущёве и жестокий разгром восстания в Венгрии, и травля поэта Пастернака, посмеявшегося опубликовать свой роман «Доктор Живаго» за границей. Но климат в стране изменился, и необратимо. С лёгкой руки Эренбурга, опубликовавшего тогда небольшую, и довольно слабую, повесть «Оттепель», это время стали называть оттепелью. Справедливости ради надо сказать, что термин «Оттепель» был изобретен не Эренбургом. Этот термин был впервые использован при императоре Александре Втором – освободителе<sup>110</sup>. Тогда же появился и термин «гласность», который мое поколение услышало только при Хрущеве.

В 1961 году тело Сталина было вынесено из мавзолея и захоронено. За оттепелью последовали 60-ые годы – десятилетие относительной свободы.

---

<sup>110</sup> При Александре Втором был издан указ об отмене крепостного права в России.

## Глава 6. «Недолгая пора шестидесятых»

*Со смесью ностальгии и досады  
Припоминать пытаюсь в век иной  
Недолгую пору шестидесятых,  
Что завершилась Пражскою весной.*

Александр Городецкий  
«Шестидесятники», 2017

### Время, которое нельзя забыть

Несмотря на многократные заверения, что пишу я только о себе, своей семье и своих близких, только о своей собственной жизни в окружающем мире, я нарушаю свои же обещания, чтобы немного, коротко и совершенно непрофессионально написать о том времени, которое обозначают как шестидесятые годы.

Есть что-то роковое в этом термине для русской истории. Шестидесятые годы 19-го века совпали с царствованием императора Александра II и ознаменовались целой серией либеральных реформ. Достаточно просто перечислить реформы, осуществленные при Александре Втором: отмена крепостного права (1861 г.), университетская реформа (1863 г.), создание земского самоуправления (1864 г.), судебная реформа (1864 г.),

реформа печати, упразднение предварительной цензуры (1865 г.), создание городского самоуправления (1870 г.), военная реформа (1874 г.). В 1881 году готовилось подписание императором проекта либеральных преобразований, так называемой «Конституции Лорис-Меликова». Помешало убийство царя 1 марта 1881 года. Либеральные шестидесятые годы XIX века сменились нарастающей реакцией в царствование Александра III.

Мистическим образом после смерти Сталина, после Хрущевской «оттепели», снова настали шестидесятые годы – теперь уже XX века. Хотя законодательных изменений не предполагалось (да и куда было изменять законы – в стране и так была «самая демократическая в мире» Конституция), но началась либерализация жизни, пришло поколение «шестидесятников».

Это время – годы «позднего Хрущева» и первые годы царствования Брежнева. Как прежнюю историю России делили на периоды по времени царствования самодержцев, так и советские времена делим мы на периоды правления разных генеральных секретарей партии.

В Москве на Новодевичьем кладбище на могиле Хрущева стоит памятник работы скульптора Эрнста Неизвестного. В 1962 году Хрущев и Неизвестный столкнулись на выставке художников-модернистов в Манеже. Хрущев, по подсказке кого-то из именитых и процветающих художников, разругал выставку, грубо высмеял представленные там картины. Неизвестный смело противоречил главе государства. В результате этого небывалого спора генсека и скульптора неожиданно возникли между ними личные контакты, и после смерти Хрущева (давно к тому времени снятого со всех постов и доживавшего свой век простым пенсионером) его семья заказала скульптору памятник на могиле. Памятник интересен. Голова Хрущева, сделанная в совершенно реалистической манере – вначале она была позолоченной, потом позолота слезла – находится между двумя неправильной формы стеллами из белого и чер-

ного мрамора. Аллегория понятна с первого взгляда – именно так жил и действовал Хрущев, между белым и черным, между добром и злом, стремился изменить жизнь людей к лучшему и то и дело возвращался к старым, черным, делам и методам. Но далеко не всегда могли мы, простые граждане, понять, где Хрущёв действует по своей воле и убеждениям, а где его действия определяются многочисленной и очень сильной сворой сталинистов, еще стоящих у руля страны.

Главным событием начала 60-х стал знаменитый XX съезд партии в 1956 году и разоблачение культа личности (по сути преступлений) Сталина, начало реабилитации миллионов невинно погубленных. Наверное, с XX съезда – и следует отсчитывать начало 60-х годов. Но в том же 1956 году – жестокий разгром революции в Венгрии.

В 1961 году тело Сталина вынесено из мавзолея и захоронено рядом у кремлевской стены, его имя снято с мавзолея – казалось бы, продолжается «десталинизация». Но в 1962 году – расстрел мирной демонстрации рабочих в Новочеркасске (демонстрация протеста против повышения цен): 20 убитых, 87 раненых, 116 арестованных.

С первых лет своего правления Хрущёв старается решить проблему гибнущего сельского хозяйства страны. А сельское хозяйство действительно погибает. Страна вынуждена закупать за границей зерно. Когда-то, до революции, Россия экспортировала зерно в Европу – теперь закупает в Америке, в Канаде.

Вспоминаю, как мой дядя, Николай Яковлевич Кац, специалист по почвам и по вечной мерзлоте, говорит изумленно: «Пшеницу – из Канады? Там же в основном – вечная мерзлота!». Собственная пшеница из украинских степей, из богатых черноземных областей, гибнет то от дождей, то от засухи, а особенно богатые урожаи гибнут потому, что их не успевают собрать, вывезти,

сохранить. Вспоминаю поездки на машине по Украине: сплошные, до горизонта во все стороны поля пшеницы, а я знаю – зерна в стране не хватает. Одно из многочисленных чудес социализма.

И вот Хрущёв начинает действовать. Выдвигается идея освоения новых земель – целины и давно не используемых (залежных) земель в Казахстане. И это притом, что и с имеющихся земель не умеют собрать и сохранить урожай. Кажется, в конце 50-х Хрущёв едет в Америку, посещает владения богатого фермера из Айовы, видит, какие богатства приносит кукуруза и возвращается в Советский Союз с идеей решить проблему сельского хозяйства с помощью кукурузы. Приказ генсека – сажать кукурузу. Везде. Как будто у нас везде – штат Айова и жаркое солнце. Кому-то из местного начальства это дико – кукурузу сажать на севере, где хорошие урожаи дают рожь и овес. Большинству – наплевать, не свое. И сажают. Иногда – только вдоль дорог, чтобы проезжающему на машине начальству видна была кукуруза. В глубине, вдали от дорог – там и овес, или уже совсем полумертвая кукуруза, «царица полей», как стали ее называть тогда. А Хрущёва втихомолку, со смехом, называют «Никита-кукурузник».

Отношения с западными странами полны противоречий. С одной стороны, явно ослабел железный занавес. В 1959 году – первая Американская Национальная выставка в Москве. Москвичи могут увидеть живых американцев, могут и поговорить с ними. Как в сказке! И в это же время в ООН Хрущёв, как темный мужик, высказывает свое несогласие, барабаня снятым ботинком по спинке стула, а потом обещает Западу: «мы вас закопаем!» – это о преимуществах коммунизма перед капитализмом. Вспоминаются фотографии 1961 года с Джоном Кеннеди: Хрущёв сидит рядом с красоткой Жаклин, а Кеннеди – в паре с Ниной Петровной. «Два мира, две системы»!

1961 год. Возведена Берлинская стена, разгородившая единый город на советскую зону, из которой бегут все, кто может, и западные зоны оккупации Берлина. Это – символ эпохи, простоявший 30 лет, до самого распада СССР. И это тоже 60-е годы.

В 1962 году – Кубинский кризис, едва не приведший к Третьей мировой войне. На Кубе установлены советские ракеты, совсем под носом у Соединенных Штатов. К Кубе идут советские корабли (с необходимым оборудованием?). США (президент Кеннеди) объявили ультиматум. Корабли идут, и угроза большой войны все ближе. Нам, «простым советским людям», как обычно, ничего не известно, мы все узнаем позже. Но тогда Хрущёв повернул корабли. То ли кто-то умный подсказал ему, то ли собственная мужицкая смекалка не подвела на этот раз. Слава Богу – был способен Хрущёв открыто отменить собственную опасную глупость.

Хорошо помним и о другом. Началось строительство домов в Москве – для простых людей, живших в нечеловеческих условиях, в подвалах и перенаселенных коммунальных квартирах (неблагодарные, они потом назовут эти дешевые дома «хрущобами»). Увеличены пенсии, на них хоть как-то можно стало жить. Снят запрет с абортот – об ужасах тех «запретных» времен я писала раньше. Это все – для людей, чтобы их жизнь стала больше похожа на нормальную человеческую...

И в те же 60-е – травля поэта Пастернака за его роман «Доктор Живаго», роман о страшном времени гражданской войны и судьбе русского интеллигента, смятого и погубленного этим временем. Роман не печатают в России, и автор отдает его за границу. Предательство! За роман автор получает Нобелевскую премию, от которой вынужден отказаться. Ему угрожают высылкой из страны, его исключают из Союза писателей – и все это тогда, когда смертельно больному поэту остается мень-



ше двух лет жизни. Но снова повторяю – мы не знаем, где тут были собственные решения Хрущёва, где – результат нажима сталинистов.

Но именно при Хрущёве, в самом начале 60-ых годов, в литературном журнале *Новый мир* появляется новый редактор, поэт Александр Твардовский, и журнал становится первым в Советском Союзе изданием, где начинают печатать правду. Появляется настоящая литература. В 1962-ом году выходит повесть Солженицына «Один день Ивана Денисовича»<sup>111</sup>. Это повесть о советском концентрационном лагере. Это – вежа, отсюда идет отсчет нового времени. Может быть, с этого момента надо отсчитывать «недолгую пору шестидесятых»? Появляются другие рассказы Солженицына: «Матренин двор» – правда о деревне, «Случай на станции Кочетовка» – правда о СМЕРШе<sup>112</sup>, о КГБ в армии во время войны. Журнал *Новый мир* становится *Библией советской интеллигенции*. Все шестидесятые годы, вплоть до 1970 года, когда Твардовский вынужден был уйти с поста редактора, этот журнал оставался первой ласточкой свободы печати. Сколько вырезок, сколько ксерокопий его страниц привезли мы сюда, в Америку! Многое из напечатанного тогда в Новом мире уже вышло сейчас отдельными книгами, и есть у меня эти книги, но не поднимается рука выкинуть пожелтевшие от времени странички, неумело сшитые в самодельные картонные обложки. Эти странички – памятник времени, памятник незабвенным шестидесятым годам...

---

<sup>111</sup> Об этом точно известно – личное распоряжение Хрущёва. Он был на отдыхе в Пицунде, Твардовский летал к нему с рукописью и получил его благословение: печатать!

<sup>112</sup> СМЕРШ – аббревиатура от «Смерть шпионам», организация, следящая за солдатами и офицерами на фронте, руководящая заградительными отрядами («заградотряды»), предупреждая отступление, безжалостно расстреливая тех, кого подозревали в измене, трусости, или попытке сбежать.

Где еще, в какой стране знали такой великий праздник появления настоящей литературы?! И я вспоминаю, как ждали у киосков «Союзпечати», когда привезут очередной номер журнала Новый мир для розничной продажи. (Подписаться на Новый мир было очень трудно). Дежурили, стояли в очереди. Помню, однажды были в гостях у друзей, и хозяин все время поглядывал из окна на стоящий напротив дома киоск «Союзпечати». Потом крикнул: «Привезли!» и побежал на улицу, в очередь. Не знаю, была ли где-нибудь еще такая страна, где бы так охотились на толстый литературный журнал? Ждали не новости, не политическую статью – просто литературу, по которой изголодались...

Конечно, до настоящей свободы печати было еще далеко. Василий Гроссман попытался было отдать в печать рукопись своей книги «Жизнь и судьба». В результате – донос в КГБ, домашний обыск с уничтожением всего, что было написано. Что-то (не полностью) сохранилось от книги, и было опубликовано спустя 30 лет. «Недолгая пора шестидесятых»...

Но рукописи художественных произведений и воспоминаний накапливались в столах. И выходили они из столов в виде машинописных страничек, которые передавались из рук в руки тем, кому можно было довериться. Так в шестидесятые годы возник и стал расти «самиздат». Вспоминаю, как читали мы попавшие к нам в руки рукописи, часто напечатанные на папиросной бумаге, чтобы можно было заложить в портативную машинку возможно большее число экземпляров.

«Эрика берёт четыре копии. Вот и всё, и этого достаточно» – так пел Галич.

Читать приходилось, подложив снизу лист белой бумаги. И всегда спешно, потому что всегда ждали в очереди другие. Иногда давали только на одну ночь. Иногда читали целой группой одновременно. Запомнилось, как читали у нас на даче «Остров Крым» Василия Аксенова: 5–6 человек за столом передавали по кругу

прочитанные страницы. Для меня такое чтение было мучительно – я никогда не умела читать быстро, а сознание, что я задерживаю конвейер, мешало воспринимать текст. И все-таки – можно было читать.

Потом появились копии книг и статей, изданных за рубежом. Кто-то из смелых, (или из тех, кто имел право везти из-за границы книги без таможенного досмотра) провозил «запрещенную литературу». Часто к нам попадали фотокопии, иногда такие мелкие, что впору было читать их с лупой. Но какая литература! Вспоминаю маленькие фотографии страниц книги Авторханова «Технология власти», а потом его же книгу «Загадка смерти Сталина». Этот вид литературы называли «тамиздат».

В шестидесятые годы появилась в самиздате «Хроника текущих событий». Несколько страниц на папиросной бумаге, каждый месяц, и там – сообщения о событиях в стране, которые скрывала официальная пресса, и прежде всего – сообщения о преследованиях «инакомыслящих», об арестах и ссылках. У истоков этого не подцензурного издания – Наталья Горбаневская, та, что потом выйдет на Красную площадь с протестом против вторжения в Чехословакию, и её сподвижники. Смелые люди издавали эту Хронику – они рисковали не более и не менее как своей свободой. Тогда появилось слово «диссиденты» – люди, несогласные с режимом и дерзающие об этом говорить. И до какой-то степени блокада была прорвана – информация стала проникать к людям.

Но настоящий прорыв сделала техника. И никто – ни Хрущёв, ни Брежнев, ни КГБ, ни цензура – не могли остановить ее. Думая о том времени, я вспоминаю стихотворение Алексея Константиновича Толстого, поэта XIX века. Обращаясь к цензору, запрещавшему «кощунственные» статьи о дарвинизме, Толстой писал:

*«Брось же, Миша, утрашенья,  
У науки – нрав не робкий.  
Не заткнешь её теченья  
Ты своей дрянною пробкой»*

Эта дрянная пробка власти не сработала, когда появились первые магнитофоны. Магнитофон означал не подцензурные записи, не подцензурные тексты. И появились в России «барды и менестрели», поэты, поющие свои стихи под гитару. Три главных барда, один за другим, появились в шестидесятые годы – Окуджава, Высоцкий, Галич. Неопубликованные стихи распространялись песнями по всей стране. Через первые, огромные, нескладные и несовершенные советские магнитофоны проникали они к людям.

«Есть магнитофон системы Яуза. Вот и всё – и этого достаточно» – так пел Александр Галич.

Песни или просто выражали человеческие чувства, как у Окуджавы, и по своей человечности уже были антисоветскими, или были они открытым протестом, как у Высоцкого и особенно Галича.

В эти годы стало возможным слушать западные радиопередачи – станции Свобода, Би-Би-Си, Голос Америки, Немецкую Волну. Помню это в основном по тем событиям, которые заставляли власть снова на полную мощь включать «глушилки», как это было после вторжения в Чехословакию в 1968 году. Но в промежутках – можно было слушать.

К концу шестидесятых снова начали закручивать гайки.

В 1966 году потряс и заставил задуматься многих процесс над писателями Синявским и Даниэлем – писателями, которые тайно, под псевдонимами, публиковали свои произведения за рубежом. Их выследили, «разоблачили» не без помощи сексотов, секретных сотрудников КГБ. Суд, приговор и 5–7 лет лагерей. После освобождения Синявский эмигрировал. Но катился

дальше и рос снежный ком. Закрытый суд над Синявским и Даниэлем был застенографирован немногочисленными присутствующими, и вышла книга Александра Гинзбурга – «Белая книга» о суде над писателями.

И снова суд – теперь уже над Гинзбургом, и снова лагерь. Но «Белая книга», опубликованная на Западе, все-таки проникла в Советский Союз. Мой приятель по институту, Всеволод Андреевич Ляшенко, командированный в те годы в Париж, осмелился купить там эту книгу и привез ее, разделенную на маленькие пачки, за пазухой. Между прочим (ремарка для новых поколений) такой поступок требовал настоящей смелости!

В 1969 году задушили Хронику текущих событий. В 1970 году сняли Твардовского, легендарного редактора Нового мира. В это же время усилился нажим на Галича. В 1971 году его, известного в то время киносценариста и драматурга, исключили из всех писательских и кинематографических организаций, а в 1974 году вынудили эмигрировать. Галич погиб при странных обстоятельствах в 1977 году<sup>113</sup>.

Хрущёв был снят на Пленуме 1964 года – и отправлен на пенсию (первый случай за всю историю советской власти – живой генсек на пенсии!). Не так уж гладко прошло это смещение. Во-первых, был выбран момент, когда Хрущев был на отдыхе в Пицунде – Пленум «провернули» в его отсутствие. Во-вторых, как можно прочитать сейчас в интернете, было и более «жесткое» предложение – физическое устранение Хрущева (авиа- или другая катастрофа, отравление и так далее) – но в это время настоящих последователей Сталина уже не было, новые побоялись возможной утечки информации. В результате с 1964 по 1971 года (до смерти) Хрущев жил как «обыкновенный» пенсионер.

---

<sup>113</sup> По официальным данным – от удара электрическим током во время ремонта своего магнитофона. Мы этому не верили.

На освободившееся место пришел Брежнев – молодой, бровастый жизнелюб, и суждено ему было править страной почти двадцать лет (до смерти). Эти годы получили потом название «застоя».

Шестидесятые годы заканчивались. Процесс этот был постепенным, точно назвать конец этого периода трудно. Александр Городецкий определяет Пражскую весну как конец шестидесятых. И действительно, это самый яркий пример «Конца». Но мы задержимся еще немного в шестидесятых.

## **Поворот лицом к Западу. Американские выставки**

Шестидесятые годы ознаменовались ростом культурных связей с западными странами. Западные фильмы – французские, английские, итальянские – стали в Москве нередкими. Наиболее популярными были в то время фильмы итальянского неореализма: «У стен Малапаги», «Рим-открытый город», «Похитители велосипедов» и другие. Всего не перечислить. В 1957 году в Москве проходил международный фестиваль молодежи и студентов, и несмотря на его коммунистический акцент, это был несомненный шаг к культурным контактам. В 1958 году в Москву приезжал на гастроли французский шансонье Ив Монтан. Московская публика была им совершенно покорена. В том же году на первом Международном конкурсе имени Чайковского получил первую премию американский пианист Ван Клиберн – это была сенсация! В эти же годы одна за другой проходили в Москве Американские выставки.

## **Американская национальная выставка – Москва, июль 1959 года**

В Сокольниках американцы построили большой павильон, сохранявшийся потом много лет. Сама выставка занимала не только этот павильон, но и много других небольших павильонов и открытых площадок. Это было большое событие в жизни страны, верный показатель потепления климата.

Как удалось нам с Вадимом найти время и силы пойти туда? Ведь это было то самое лето, когда у Витьки обнаружили диабет (об этом дальше), когда я проводила дни и недели с ним в Красно-советской больнице, когда так круто изменилась вся наша жизнь. Невероятно, но факт – мы были на этой выставке. Должно быть, уж очень этого хотелось.

На этой выставке нам самым интересным представлялось увидеть живых американцев, и даже – кто знает! – поговорить с ними. Иностранцы в Москве были большой редкостью, контактов с ними не было, а Америка была от нас далека как Луна. И вот в Москве – американцы, обычные парни и девушки, приветливые, улыбочивые и очень похожие на нас. Мысль, вернее, ощущение, именно такое: смотрите-ка, американцы, а такие же как мы! Чувство – дикое, но так было!

Странным образом об экспонатах американской национальной выставки в памяти у меня осталось не так уж много – разве только большие автомобили с блестящими никелированными деталями на медленно вращающейся круглой платформе. Сейчас я расспрашивала своих друзей, что запомнили они. Кто-то помнил телевизоры, кто-то – косметику Елены Рубинштейн, многие вспоминали предметы быта – холодильники, машины для мойки посуды и другое оборудование кухни. Вадим вспоминал разнообразное оборудование для туризма, в частности, палатки. Молодёжь стремилась попробовать кока-колу, привлекала, как всегда в толпе, бесплатность напитка и пластмассовых стаканчиков! Ажиотаж

вызывали бесплатные значки и пластиковые цветные пакеты – точно так, как папуасов привлекали когда-то мелкие подарки западных матросов! Да, да – пластмассовые пакеты еще долго были дефицитом в России. В это время газеты пытались всячески снизить впечатление от увиденного москвичами иного мира: частым рефреном при описании выставки бывала фраза: «Мы ожидали большего».

Для нас с Вадимом одним из самых сильных впечатлений оказалась фотовыставка «Род человеческий». Были представлены сотни фотографий, снятых в десятках разных стран, они располагались на больших щитах, составляющих зигзагообразный коридор, по которому двигались посетители выставки. Тут были европейцы и японцы, африканцы и индейцы, австралийские аборигены, китайцы, арабы, индусы. И для всех повторялись одни и те же вечные темы – детство и старость, рождение и смерть, любовь и материнство, труд и нищета, голод и праздники... Впечатление было потрясающим: такое несомненное единство рода человеческого!..

Тогда я не запомнила автора экспозиции, и только совсем недавно узнала английское название этой фотоколлекции и её автора. Книгу с этими фотографиями подарил моей внучке Жене её будущий муж, Джемисон Столц – это была его любимая книга!<sup>114</sup> Тогда нам было непонятно, почему эти фотографии были представлены на американской национальной выставке. Казалось бы, какое отношение имеют они к Америке? Позже я поняла, и надеюсь, не ошиблась, что эта фотовыставка относилась не столько к американской жизни, сколько к американской жизненной философии, к идее всеобщего равенства. У меня такой книги не было, и только совсем недавно мне подарила книгу “The Family of a Man” моя внучка Эля, запомнившая мои восторженные отзывы об этой выставке.

---

<sup>114</sup> The Family of a Man, by Edward Steichen, 1955.



### **Другие американские выставки**

В последующие годы, одна за другой, открывались в Москве новые американские выставки. И мы всегда успевали их посетить.

**Медицина в США.** Эта сравнительно небольшая выставка проходила в Политехническом музее. Собственно запомнилась не сама выставка, а завязавшийся на ней разговор с одним из гидов. Этот гид явно не был связан именно с медициной, я видела его и на других выставках, не имевших отношения к медицине. Он, конечно, был профессионалом, притом высокого класса. Разговор с посетителями выставки он вёл очень умело. Дискуссия завязалась по поводу такого совершенно непонятого нам тогда явления американской жизни, как необязательное наличие паспорта. Многих это потрясло – как можно жить без паспорта?! «А как остановиться в отеле без предъявления паспорта?» – «Вы просто назовете свою фамилию» – «А если я назову другую фамилию?» – «Вы можете назвать любую». Самый непонятный вопрос касался прописки. Мы все должны были быть прописаны по определенному адресу, и этот адрес был указан в паспорте со всеми нужными печатями. Право на прописку в Москве или в других больших городах было важнейшим правом, вернее, важнейшей привилегией. «Где же будет отмечено место жительства, если нет паспорта? А если гражданин переедет в другое место?» – «Он оставит свой адрес на почте» – «А если он скроется?» – «Если вы не хотите, чтобы другие знали, где вы живете, вы не оставите своего адреса» – «А как же человека найти? Если, например, он скрывается от уплаты алиментов?» – «У полиции есть свои методы, они знают, как найти неплательщика».

Впечатление от такого диалога было потрясающим. Ну и страна! Такая беспредельная свобода – живи, где хочешь и как хочешь, тебе во всем верят на слово, никаких документов не надо! Сейчас я думаю, что ответы

американского гида были некоторым преувеличением: документ, удостоверяющий личность, в Америке тоже то и дело бывает нужен. Хотя, конечно, никакого сравнения с советской паспортной системой быть не может.

Вспоминаю ещё одну американскую выставку в одном из павильонов на ВДНХ<sup>115</sup> Не помню тему выставки, помню только портрет Джона Кеннеди на буклете, который получали посетители. Мы наклеили этот портрет на картонку и он долго потом стоял у нас на буфете. Когда приходил кто-нибудь не слишком хорошо знакомый – портрет поворачивали тыльной стороной: портрет американского президента в советском доме мог показаться странным. Мы тогда преклонялись перед Кеннеди, он был для нас олицетворением американской жизни, все знали его речи, его знаменитое «Не спрашивай, что Америка может дать тебе, спрашивай, что ты можешь дать Америке». Его убийство всех потрясло. По привычке («Сильнее кошки – зверя нет») думали о том, что к этому приложили руку советские кагэбешники, тем более, что убийца, Освальд, был женат на русской и несколько лет жил в России.

**Пластмассы в США.** Хорошо помню эту выставку в Сокольниках, недалеко от павильона той первой, национальной выставки. Выставка была ограниченной тематики, но очень впечатляла. Показывали чудеса, которые могут быть сделаны из пластмасс – облицовка домов, мебель. Гидом была очаровательная девушка-итальянка, прилично говорившая по-русски. Вокруг неё собралась толпа, мужчины старались протиснуться поближе. Девушка стояла около пластмассовых кресел в виде чаши, которые казались нам тогда, мягко говоря, странными. Кто-то спросил: «А в Вашем доме есть такие кресла?» – «Нет – ответила она. – В моём доме стоят кресла, ко-

---

<sup>115</sup> Выставка Достижений Народного Хозяйства.

торые ещё мой дедушка привёз из Рима. Дело в том, что я живу в сарае, такие кресла туда не подходят». Слово «сарай» вызвало недоумение. Её сразу спросили: «Что Вы понимаете под сараем?», а она, не смущаясь, ответила: «То же, что и вы – помещение для скота». И добавила: «Это очень прекрасно – жить в сарае. В Новой Англии многие живут в сараях. Там очень высокие потолки». Тем не менее, было очевидно, что для сарая в нашем понимании дедушкины кресла из Италии тоже не подходят. Было ясно, что в разных странах помещения для скота сильно отличаются «по архитектуре». В последующем разговоре выяснилось, что старые каменные «сарай» переделывают в коттеджи. Вспомнились гранитные помещения для скота в Прибалтике – к ним тоже не подходило русское понятие сарая.

**Архитектура в США.** Несколько слов об этой, одной из последних выставок в Лужниках, уже в 80-е годы. Это было собрание больших цветных слайдов, и на них – дома работы Райта и других выдающихся архитекторов, бесконечное разнообразие церквей и классического и ультрасовременного стиля. Тогда у нас возникло впечатление, что Америка вся состоит из таких невероятно красивых строений, и мысль о том, что и в Америке много стандартных и совсем некрасивых домов, нам просто не приходила в голову.

Я часто пользуюсь местоимением «мы» и понимаю под этим довольно узкий круг московской интеллигенции, людей, близких нам с Вадимом по духу и по мировоззрению.

Должна сознаться, что в целом российского общества, и даже московского общества, я просто не знала, и так и не узнала до конца моей жизни в России. «Средне-московское» население было для меня чужим – общим был только русский язык. А что сказать о других районах России? О горно-алтайцах, которых я видела во время поездки по Алтаю? О северных народах, с которыми мы встретились на Енисее?

Чужой была и другая часть спектра – немногочисленная и столь же далёкая от нас, как население Алтая или Енисея: номенклатура, дипломаты, привилегированные слои художественной интеллигенции. Они бывали за границей, для них существовал реальный мир и за пределами России.

В то время мы не верили ровным счетом ничему, что писали об Америке советские газеты, что передавало радио и телевидение. Раз и навсегда было решено, что нам сообщают только вранье. Заодно мы не верили и в неравенство белых и негров в Америке – это казалось далёкой историей, хотя в то время движение за гражданские права в Америке только начиналось. Считали преувеличением рассказы о мафии. Даже гораздо позже, хорошо зная фильм «Крестный отец» и книгу Марио Пузо, мы всё ещё каким-то образом относили описанное там к далёкому прошлому Америки. И все другие проблемы капитализма (безработицу, бездомных) тоже относили к выдумкам советской пропаганды. В своём воображении мы построили в Америке рай с полным благополучием всех и каждого и безграничной свободой для всех. Мы дорисовывали картину так, как нам хотелось.

## **Проблемы жилья. Обмен жилплощади**

В шестидесятые годы в Москве началось жилищное строительство, которого не было десятилетиями. Я не раз упоминала, какого нечеловеческого уровня достиг дефицит жилья в городе.

Начали строить так называемые «хрущёвские пятиэтажки» с дешёвыми тесными квартирами и без лифта, а также кооперативные дома значительно лучшего качества. Появление нового жилья в Москве, с одной

стороны, и сложности жизни в коммунальной квартире с двумя маленькими детьми, с другой, сломали в конце концов мое упрямое нежелание уезжать из старой, с детства знакомой квартиры. Я осознала, что надо меняться, о чём давно уже говорил Вадим.

Казалось бы, такое несущественное изменение в жизни – переехать из одного места в другое, причём в том же городе. Увы, это было не так. В течение двух с половиной лет мы занимались обменом, и это требовало от нас огромного количества сил, времени и нервов.

Рыночный путь – одно продать и другое купить, такой, казалось бы, простой и естественный, для Москвы, да и для всей страны, в то время не существовал. Собственного жилья ни у кого не было, всё принадлежало государству, люди были только съёмщиками государственного жилья. Появление кооперативных квартир («вроде бы» собственность) мало изменяло ситуацию. Напротив, обмен кооперативных квартир был ещё более сложен, так как получать разрешение надо было не только от государственных организаций, но ещё и от правления кооператива. Формальная стоимость кооперативной квартиры часто совершенно не соответствовала рыночной стоимости. Каждый год первоначальная стоимость квартиры снижалась, так как вычиталась определенная сумма на амортизацию, а рыночная стоимость никогда не учитывалась. Примером такого экономического зазеркалья была квартира Левенсонов на Яузском бульваре, где жил отец Вадима, Иосиф Абрамович, и где был прописан Вадим. Эта кооперативная квартира была построена в конце 20-х годов, и амортизация (и денежные реформы) сделали её стоимость её к началу 60-х годов до смешного малой. Таков был «рынок» недвижимости в это время.

Мы хотели обменять наши три комнаты в коммунальной квартире на двухкомнатную отдельную квартиру. В те времена выпускался единственный на всю Москву «Бюллетень по обмену жилплощади», а кроме того, можно было вешать объявления на стендах Мос-

горсправки или просто на стенах и столбах. Оформление обмена происходило только в одном месте: Бюро обмена в Банном переулке близ Первой Мещанской улицы (ныне Проспект Мира). Там по субботам и воскресеньям собирались толпы народа. Многие расхаживали как «живые объявления» с крупно написанными плакатами на груди и на спине. Появилась негласная профессия маклеров, помогавших найти нужный вариант за определённое вознаграждение.

Сколько же пришлось увидеть разных людей и вариантов! Склонный к систематизации Вадим составил обширную картотеку. Но ситуация была крайне нестабильной, варианты часто строились на песке. Кто-то из меняющихся находил себе другой вариант, кто-то вообще раздумывал меняться. Встречались люди, которые с самого начала меняться не собирались, а давали объявления и обсуждали варианты просто от скуки. Постепенно мы приобретали опыт, начинали лучше разбираться в людях и их планах, но время! – сколько же его уходило на такое обучение! И ведь занимались этим мы одновременно с ежедневной работой и со всеми домашними делами. Я шутила тогда, что могла бы писать диссертацию на тему: «Теория и практика обмена жилой площади в Москве 60-х годов» с разными главами, вроде «типы жилищного строительства», «причины обмена», «психология участника обмена» и т.д. Такая диссертация могла бы служить хорошим пособием для начинающих.

Найти вариант было только половиной дела. Нужно было ещё получить одобрение Бюро обмена. При первом же нашем обращении туда нам отказали на том основании, что у отца Вадима есть отдельная квартира на Яузском бульваре, и мы должны поселиться там, а «излишки» площади просто сдать. Мы даже попробовали судиться с Бюро обмена, но конечно, проиграли.

Потом мы всё-таки нашли вариант обмена, и главное – человека, который не только был заинтересован в обмене, но и знал что почём и, наверное, не боялся да-

вать взятки. Так мы получили двухкомнатную квартиру недалеко от метро Аэропорт, и распрощались с моим родным Воротниковским, где я прожила больше 30 лет.

Но в квартире у метро Аэропорт мы не жили ни одного дня. Во время нашего обмена, весной 1961 года, умер отец Вадима, Иосиф Абрамович, и Вадим оказался владельцем квартиры на Яузском бульваре. Конечно, мы переехали туда. Такая была судьба нашей семьи. Наши родители уходили из жизни рано (мои родители – в 55 и 56 лет, Иосиф Абрамович – в 61 год) и оставляли нам своё жильё.

И вот мы снова начали обмен – на этот раз двухкомнатной и трехкомнатной квартир на одну четырёхкомнатную квартиру меньшей площади.

В то время официальная норма площади составляла 9 квадратных метров на человека, и наша семья из 4-х человек (у нас уже было два сына) могла иметь 36 квадратных метров. К этому прибавлялись еще 4,5 кв. метра (так называемые «на семью»). И наконец, была ещё специальная льгота для тех, кто имел научную степень – «дополнительные 20 кв. метров в виде отдельной комнаты». Мы оба имели в это время степень кандидата медицинских наук, но по правилам только один член семьи имел право воспользоваться такой льготой. Таким образом, в конечном итоге наша семья имела право на площадь 60,5 кв. метров. В этом случае у нас не было бы формальных «излишков».

Почему не хотели мы получить при обмене квартиру большей площади? Ответ простой – боялись. Я вспоминаю, что почти всю жизнь, почти автоматически, боялась управдома, милиционера, дворника. Боялась от подсознательного ощущения своей бесправности. То, что я слышала, то, что знала от других, всё поддерживало это ощущение. Большая квартира, с излишками – анеотнимутлизавтравместесизлишкамиисамуквартиру?

Найти вариант для нашего нового обмена было очень просто – желающих разъехаться из одной квартиры в

две отдельные было очень много. В день, когда в Бюллетене публиковался наш вариант обмена, телефон в квартире не умолкал. Бывало, придя с работы, мы выключали не некоторое время телефон, чтобы пообедать. Четырёхкомнатных квартир «средние» москвичи не имели. Поэтому в процессе обмена нам пришлось контактировать с такими слоями общества, с которыми в обычной жизни мы не соприкасались.

Однажды к нам пришел смотреть квартиру некий инженер с двумя значками лауреата. Фамилию свою он нам не назвал, но рассказал, что живет в доме, известном как «особняк Сухово-Кобылина»<sup>116</sup>. Описывая свою квартиру, инженер упомянул, что она расположена на одном этаже с квартирой Громыко<sup>117</sup>. Этого было достаточно, чтобы мы даже не пошли смотреть эту квартиру. Теперь я думаю – напрасно, любопытно было бы увидеть известный особняк изнутри и узнать, как жила в то время советская элита такого уровня.

Сохранился в памяти визит к нам человека из органов госбезопасности. Это был некто Леонид Райхман, помощник начальника следственного отдела НКВД Рюмина. О том, что Райхман один из самых кровавых деятелей госбезопасности, мы знали уже тогда, а подробности его биографии узнали позже из интернета.

Райхман начал работать в госбезопасности (тогда ГПУ) в возрасте 16 лет, ещё в 1922 году, и быстро продвигался по службе. Он был активным деятелем во время Большого Террора, любил сам проводить следствие, участвовать в пытках заключенных. Среди его особенно заметных «подвигов» была организация массового расстрела польских офицеров в Катыни после раздела Польши между Гитле-

---

<sup>116</sup> Сухово-Кобылин – писатель 19-го века. Его особняк стоял и стоит у Пушкинской площади, в начале бульвара, идущего к Петровским воротам. Особняк отличался красивой архитектурой, живописной чугунной решеткой впереди и «стражем» у ворот.

<sup>117</sup> Тогда – посол СССР в США.



ром и Сталиным. К концу войны он был уже генерал-лейтенантом госбезопасности. В 1951 году Райхман был арестован вместе с тогдашним Министром госбезопасности Абакумовым за «сокрытие еврейского заговора». После смерти Сталина Райхман был освобождён и потом вновь арестован после суда над Берией. Арестованные вместе с ним Абакумов и Рюмин были расстреляны (за «незаконные методы следствия»), а Райхман вышел сухим из воды: в 1956 году был осужден на 8 лет и через год амнистирован. Возможно, это было неслучайно – многие годы он был женат на очень известной балерине Ольге Лепешинской, к числу поклонников которой относились влиятельные члены правительства. В начале 60-х годов, когда мы занимались обменом, Райхман был на свободе и занимал большую четырехкомнатную квартиру в престижном доме на улице Горького близ Белорусского вокзала.

Райхман был омерзителен. Наверное, даже не зная о его прошлом, мы всё равно отреагировали бы на его мерзкую внешность и манеры. А мы к тому же знали! Он был внешне похож на Голого Короля из пьесы Шварца в исполнении Евстигнеева: лысый череп, приторная вежливость с плохо скрываемым презрением к окружающим, нарочитая манера целовать ручки дамам при прощании (мне!). Иметь дело с Райхманом было нестерпимо. Мы даже не пошли смотреть его квартиру.

Однажды мы посетили очень удобную пятикомнатную квартиру на Сивцевом Вражке, близ старого Арбата. Оказалось, что эта квартира принадлежала бывшему (расстрелянному в 1937 году) Наркому внутренних дел Ежову! Жить в бывшей квартире Ежова – это было абсолютно неприемлемым! «Тут не уснешь!» – думалось мне тогда.

Найденная нами в конце концов квартира на Кропоткинской улице (теперь снова Пречистенка) тоже принадлежала «хозяевам жизни». В этой квартире жила вдова генерала, а с ней вместе – дочь с мужем и внучкой. Дочка разводилась с мужем, вдова генерала с дочерью

и внучкой претендовали на трехкомнатную квартиру на Яузском бульваре, а бывший муж – на любую однокомнатную квартиру. Дом на Кропоткинской улице был построен в середине 30-х годов для сотрудников НКВД. Население дома менялось при арестах бывших у власти чекистов, когда менялось руководство этим заведением (Ягода – Ежов – Берия). Какому ведомству принадлежал покойный генерал, с семьей которого мы менялись, можно было легко догадаться. Надо добавить ещё, что дом построен был на месте снесённой церкви и прилежащего к церкви кладбища (тогда мы этого не знали). Мы уже не первый год жили в этой квартире, когда во дворе дома ремонтировали подземные коммуникации, и экскаватор вместе с землей выбрасывал и кости со старого кладбища. Такова была история дома. Но тут мы пренебрегли историей и остановились на этом варианте.

На наше счастье к тому времени вопросы обмена были переданы из Центрального Бюро обмена в районы. Мы уже приобрели немалый опыт, и районному деятелю, который занимался вопросами обмена, сразу же сообщили, что в нашем варианте один из участников претендует не на двухкомнатную квартиру, а на однокомнатную, и таким образом «район может использовать площадь для своих очередников». Эту формулировку мы продумали заранее, я ее помню очень точно, и помню, как встрепенулся районный деятель и как сразу, прямо при нас, позвонил своему знакомому: «Федя, вот здесь такой вариант...». (Об очередниках он не вспомнил). С этой минуты всё завертелось без нашего участия. Федя получал вместо своей однокомнатной квартиры, где жил с семьей, двухкомнатную квартиру у метро Аэропорт. Такой случай Федя не мог упустить. Как он уладил всё с приятелем из районного бюро обмена и со всеми барышнями-секретаршами на пути оформления – можно только догадываться. Дело было решено очень скоро, и мы въехали в прекрасную четырехкомнатную квартиру, в которой прожили почти 30 лет.

Квартира была на редкость удобной. Кроме четырех комнат площадью 60 квадратных метров, был ещё широкий коридор-прихожая, где можно было держать библиотеку. Вадим заказал в Прибалтике книжные шкафы, потом собрал и установил их вдоль всего коридора, от пола до потолка. Кухня была такая просторная, что служила нам и столовой и гостиной, там мы обедали, там же стоял телевизор. Две комнаты имели выходы на лоджии. На одной из лоджий Вадим установил ящик для хранения картошки с подогревом и системой контроля температуры. В этой квартире нам было просторно и удобно и тогда, когда дети были маленькие и одну комнату занимала живущая у нас няня, и позднее, когда Витька женился и родилась наша внучка Женья.

## **Первая попытка поехать за границу**

О поездке за границу мы никогда даже и не помышляли, как не помышляли о полете на луну. Несомненным признаком 60-х была появившаяся возможность поехать за границу – мало вероятная, но возможная.

В 60-е годы даже среди наших знакомых были люди, которым удалось побывать в других странах. Это бывали деловые поездки (командировки), иногда туристические путевки, а некоторые ездили по частному приглашению, как правило, от родственников, живущих за границей.

В начале 60-х годов моя подруга Инна Цветаева со своей матерью Евгенией Михайловной, поехала в Польшу по приглашению родной сестры матери.

Евгения Михайловна была родом из западной части Белоруссии, там вблизи Гродно было имение её отца. До Первой мировой войны эти места, так же как и вся Польша,

входили в состав Российской империи, а после договора 1923 года – во вновь образованную Польшу. Евгения Михайловна в это время училась в Москве. Когда закрыли границу с Польшей, Евгения Михайловна и её сестра Валентина Михайловна оказались в разных государствах. Потом Евгения Михайловна была арестована и реабилитирована только в 1954 году. Валентина Михайловна в эти годы жила с семьей в Гданьске. Сестры не виделись десятки лет.

И вот Валентина Михайловна прислала приглашение Цветаевым, и обе они, мать и дочь, на целый месяц поехали в Польшу. Потом они ездили туда ещё два или три года подряд. Как-то Инна предложила и нам съездить в Польшу по приглашению Валентины Михайловны. Летом 1967 года пришло приглашение от Валентины Михайловны для всей нашей семьи, и мы начали оформлять разрешение на поездку.

Первым этапом этого оформления было получение характеристики с места работы. Характеристику надо было заверить: утвердить на заседании партийного бюро института и получить подписи «треугольника» – директора, секретаря партийной организации и председателя месткома (профсоюзной организации). Форма и содержание каждой характеристики были строго регламентированы. Помимо формальных данных (год рождения, место жительства, семейное положение, национальность, занимаемая должность, образование и т.д.) характеристика должна была подтверждать «моральную устойчивость» и «идейно-политический уровень». Вспоминаю формулировку: «Постоянно повышает свой идейно-политический уровень, посещая семинары...» – еженедельные идиотские и невероятно нудные собрания, на которых в очередной раз читали или пересказывали что-то из трудов Ленина, или из истории партии, или наконец из событий международной жизни. Меня спасала на этих семинарах приобретённая ещё на обязательных институтских лекциях способность полностью отключаться от происходящего

вокруг меня. Характеристики я перепечатывала сама, стремилась избавить Вадима от этой идиотской работы, так как он реагировал на это более нервно, чем я.

И вот мы оба пришли на заседание парткома института с отпечатанными характеристиками, приглашением от Валентины Михайловны и заявлением, в котором излагалась наша просьба. На заседании парткома – несколько человек, все сотрудники института, которые нас прекрасно знают. Но форма – вопросы, ответы – соблюдается. Нас признают достойными доверия – можно разрешить нам поехать в Польшу, мы не опозорим звания советского человека.

И тут я допускаю ошибку. У меня просьба – подписать характеристику как можно быстрее, потому что уже июль, надо ещё получить разрешение райкома, а к первому сентября нам надо вернуться – у ребят начинаются занятия в школе. И вдруг наступает тишина, все замирают, переглядываются. И изумленный вопрос: «Как, вы хотите ехать вместе с детьми?» – «Да, конечно, нам их не с кем оставить». Смущённое молчание, тишина, никто не решается заговорить первым. И вдруг – решительный голос: «Ну знаете, я думаю, ничего страшного тут нет, у них у обоих здесь такие перспективы, они оба готовят докторские диссертации, я думаю, ничего страшного нет...». Это – Р.В., старый сотрудник института. Да, в самом деле, ничего страшного нет... Но никто не называет это «страшное», потому что оно не столько страшное, сколько умопомрачительно глупое – даже для партбюро!

Я просто ошарашена. Боже ты мой! А если бы мы не готовили докторские диссертации, то мы могли бы бежать? Куда? В Польшу?! Остаться в Польше?! Я молчу – что тут сказать? Объяснять, почему мы не останемся в Польше? Наверное, всем неловко, глупость очевидна, но есть прочный рефлекс – семью целиком отпускать за границу нельзя, нужны заложники! И в конце концов Польша какая-никакая, а всё-таки заграница.

Заседание кончается быстро – да, нам подпишут характеристику. И все норовят побыстрее уйти. Всё в порядке, но до чего же противно! Перед уходом наш директор, Иван Иванович Шатров, говорит мне: «Зайди ко мне завтра с утра». – «Хорошо».

На следующий день я прихожу в кабинет к Ивану Ивановичу. Он знал моих родителей с 1941 года, меня – с детства. Ко мне он относился по-отечески.

– «Слушай, я тебе всё подпишу, но ты сама подумай: для чего тебе ехать за границу? Всю жизнь будешь писать в биографии, что была за границей – зачем тебе это надо?». Я поражена, в моем представлении сейчас совсем другие времена. Мне даже как-то неловко за Ивана Ивановича. И ведь он – из самой сердцевины этого мира, социально близкий, совершенно рабоче-крестьянский. И с «органами» знаком не понаслышке. И так непоправимо напуган. Может, потому так и напуган, что лучше нашего знает, что такое «органы»?

– «Иван Иванович, но сейчас же другие времена, сейчас многие ездят за границу».

– «Ты думаешь, я хочу, чтобы 37-й год вернулся? Но кто может знать, что будет?»

– «Посмотрите, вот Николай Васильевич – ездил во Францию, в Грецию, ничего же не случилось»<sup>118</sup>.

– «А ты знаешь, что ещё может потом с ним случиться? Никто не знает. И что тебе далась эта Польша? Неужели нельзя поехать куда-нибудь ещё?»

Я пытаюсь обратить разговор в шутку:

– «Знаете, Иван Иванович, на Чёрном море мы были, на Белом море – были, на Дальний Восток ехать далеко, отпуска не хватит!»

А он словно увидел палочку-выручалочку:

---

<sup>118</sup> Николай Васильевич Холчев, заведующий биохимическим отделом, в середине 50-х годов перешел из нашего института в Институт вирусных препаратов, который имел международные контакты, несколько раз побывал в командировках в западных странах, потом вернулся в наш институт и больше уже никуда не ездил.

– «Я тебе дам ещё отпуск!»

И тут я просто теряю дар речи, а Иван Иванович заканчивает: «Как хочешь, я тебе всё подпишу, но ты подумай ещё раз». Я выхожу из кабинета и в этот момент отчётливо понимаю, что я уже больше не хочу ехать в Польшу. Я не боюсь, я просто не хочу – сыта по горло.

## **Первые международные научные контакты**

Климат 60-х не мог не сказаться на нашей с Вадимом повседневной работе. Я писала, как аспиранткой (1954–1957 гг.) не имела права читать в научной медицинской библиотеке иностранные журналы по своей специальности. Потом мои сотрудники не верили моим рассказам, да и я сама с трудом верила потом своим воспоминаниям. Но так было. Тем более ощущали мы в своей работе «дыхание 60-х».

По-прежнему для публикации работ в советских журналах надо было заполнять анкеты и справки, подтверждающие, что в работе нет ничего нового, нет никаких открытий, и что поэтому работу можно публиковать в «открытой» печати. Честно говоря, я имела всю жизнь очень смутные представления о том, что такое «закрытая» печать, всякие бумаги «для служебного пользования», потому что оба мы, и я и Вадим, прожили жизнь, не прикасаясь ни к каким уровням секретности (слава Богу, в биологии это было возможно). «Секретность» всегда казалась усилением несвободы. «Засекреченный» человек ещё меньше принадлежал себе, чем «обычный» советский человек.

Но в 60-е годы обстановка стала другой, чем в конце 40-х или начале 50-х годов. Справки и анкеты заполнялись по-прежнему, в этих бумагах были ссылки на какие-то решения, о которых, мне кажется, никто

ничего не знал, и была комиссия, подписывавшая разрешение «на вывоз статьи за границу». Но всё это были бюрократические манёвры, в нашей области совершенно формальные.

В эти годы можно было беспрепятственно читать иностранные специальные журналы в библиотеках. Но чтение зарубежных журналов было только выслушиванием монологов, а хотелось диалога, хотелось настоящего научного общения. Чехову принадлежит отличная фраза: «Национальной науки нет, как нет национальной таблицы умножения». У нас же следовало работать именно на благо национальной науки. Я уверена, что отставание науки в таких закрытых странах как Советский Союз связано не только и не столько с технической отсталостью, хотя это тоже очень важно, сколько с железным занавесом, отгородившем советскую науку от всего остального мира.

Едва ли не первая возможность научного общения представилась нам на микробиологическом конгрессе в Москве летом 1966 года. Конгресс назывался международным (как в сказке!), и действительно, было много докладчиков из-за рубежа, хотя преобладали учёные из стран советского блока. Помнится, языками конгресса были русский и английский. У одного немца из Западной Германии тема доклада была близка к моей работе, и мне очень хотелось встретиться с ним и поговорить.

Встреча действительно состоялась, но запомнились мне не научные разговоры с этим немцем, а чисто житейские, которые почти комическим образом обнаруживали разницу между нашим и «тамошним» миром. Говорили мы с ним на английском, мне это было нетрудно, как бывает с иностранцами, у которых английский неродной язык, и потому примитивнее и соответственно понятнее.

При встрече немец сразу же начал жаловаться на неорганизованность конгресса. «Я заплатил за отель люкс, а меня поместили в комнату студенческого обще-



жития» - возмущался он. «Для студента это прекрасная комната, но это не отель люкс!». Потом оказалось, что не доставили его багаж. Он, бедняга, спал без пижамы, он не мог побриться, а потом ему пришлось пойти за своим чемоданом в другой конец огромного здания Московского университета на Ленинских горах. И словно этого было мало – у него ещё отобрали паспорт! Он просто не мог перенести этого и почти кричал: «Мой паспорт! Он должен быть вот здесь, в моём кармане! При Гитлере у меня не отобрали паспорт!» Я сочувственно кивала, а Вадим, подливая масла в огонь, говорил мне (по-русски): «Объясни ему: как сдаст полотенца, так и вернут ему паспорт». Мы были привычны к тому, что в отелях всегда отобрали паспорт и возвращали только тогда, когда проверят, всё ли, включая полотенца, находится в целостности и сохранности.

Но это были цветочки. Потом немец поинтересовался, может ли он посетить наш институт. Это уже было ЧП. Я сказала, что поговорю с директором, и словно позабыв, где я нахожусь, действительно спросила у Покровской. Она посмотрела на меня как на сумасшедшую – западного немца пустить в институт?!

В результате я стала объяснять немцу, что институт у нас старый, ему будет неинтересно. Почему я плела этот вздор, а не объяснила просто, что по советским правилам всё закрыто для иностранцев? Неужели я боялась скомпрометировать советскую систему? А немец между тем заверил меня, что его институт в Марбурге, созданный два века назад, он покажет мне от подвала до крыши, когда я приеду. Я смолчала, а про себя подумала: он может не беспокоиться, в Марбург я никогда не приеду<sup>119</sup>.

---

<sup>119</sup> А ведь побывала! В том самом Марбурге, о котором писал Пастернак!

\* \* \*

В 60-е годы уже можно было посылать свои статьи для публикации в зарубежных журналах. Хотелось этого очень. Хотелось, чтобы что-то новое и интересное из полученных данных было услышано не только в нашем узком кругу. Получение разрешения было процедурой противной, длительной, но в общем несложной. Заполнялись всякие дополнительные бумаги, и всё это направлялось в министерство здравоохранения, откуда спустя примерно месяц приходило «Разрешение на вывоз статьи за границу». А затем заполнялась «форма 103М», подписывалась в отделе кадров, и можно было с этим пойти на почту и послать статью. Канителью, но можно преодолеть. Но были и другие трудности, потому что мы принадлежали к другому миру, а тот, западный, плохо себе представляли. Приведу два примера.

Все те данные, которые составляли основу моей докторской диссертации, я включила в статью, которую послала в *Clinical and Experimental Immunology*, один из ведущих журналов в этой области, издававшийся (и издающийся до сих пор) в Великобритании, точнее, в Шотландии, в Эдинбурге.

Послала статью. Звучит так просто. Но как трудно было статью подготовить! Во-первых, язык. Отдать перевести статью невозможно, так как просто нет людей, которые одновременно владели бы и языком и предметом. Значит, надо переводить самой. Потом дать на проверку и редактирование человеку, достаточно знающему английский. Потом надо найти иностранную машинистку и приличную бумагу, из которой не торчали бы щепки. В те времена хорошую бумагу импортировала в Советский Союз Финляндия. Вспоминаю, как Вадим острил: «хорошо, что Ленин отпустил Финляндию, а то мы бы на коре писали». И ещё проблемы с фотографиями и прочим оформлением по правилам, изложенным в журнале – сколько усилий, сколько времени!

Статью мою напечатали. Потом я получала запросы на оттиски – это, ведь, была до-компьютерная эра! Запросы были из разных стран, в том числе из «самых-самых западных» – я очень радовалась. Делала копии, заполняла форму 103М, подписывала её в отделе кадров, шла на почту, посылала. Запомнила девочку на почте, которая принимала мою бандероль и спрашивала у соседки-подружки: «Маша, Канада – это соц-страна или кап-страна?»

«Делала копии!» Как описать все эти проблемы?! После переезда в новое здание в институте появился импортный копировальный аппарат, Ксерокс. Он стоял в отдельной комнате, дверь которой всегда была закрыта. Мало того, дверь была обита железом, чтобы никто не мог взломать её. Очевидно, действовали еще стародавние правила, вернее, страх перед возможностью копировать что бы то ни было<sup>120</sup>. Ведала копированием шустрая баба, конечно, гэбэшница, у которой всегда была причина отказать – или нет бумаги, или что-то с аппаратом. Эти препятствия были непреодолимы несмотря ни на какую визу директора, но флакон спирта, который она принимала легко и просто, как дань, устранял все препятствия. Сразу появлялась и бумага и всё необходимое.

И еще один пример. Вадим послал свою статью (я была соавтором) по цитофильным антителам в Австралию, в биологический журнал, где публиковали работы на сходную тему. Статью приняли, но через некоторое время пришло письмо из журнала, где ему напоминали, что ждут изменений, указанных в предыдущем письме.

---

<sup>120</sup> Помню времена, когда перед советскими праздниками забирали и складывали в отдельной опломбированной комнате все пишущие машинки, наверное, из страха, чтобы кто-нибудь не напечатал анти-советские листовки.

Надо сказать, что письма из Австралии шли со скоростью парусника, переживающего бури около мыса Доброй Надежды. «Предыдущего письма» Вадим не получал, и в чём заключалось указание журнала, не знал. Написал снова – прошу сообщить, какие именно изменения надо сделать. Ещё через месяц пришло письмо, в котором снова просили внести указанные изменения. История повторялась, и в письмах из Австралии нарастало напряжение. Они объясняли, что не могут задерживать выпуск журнала, а если исключить из него его статью, то этот выпуск будет непропорционально малым, а следующий – непропорционально большим. Просили поторопиться.

Наконец, я пошла на Центральный телеграф и послала безумно дорогую телеграмму в Австралию, где объясняла, что выполнить требование невозможно, так как неизвестно, в чём оно заключается. Эффект телеграммы был разительным. Не знаю, дошла ли она до Австралии, но соответствующие компетентные органы прореагировали стремительно: на следующий день Вадим получил то самое, полгода назад посланное письмо, в котором излагалась просьба журнала! (Интересно, каков был механизм этих событий, где хранилось заветное письмо австралийцев, и как именно сработала телеграмма?<sup>121</sup>). Просьба заключалась в том, чтобы подписи к рисункам были не typed, а printed (то-есть, были бы напечатаны не на пишущей машинке, а на... чём?). Теперь-то ясно, что они имели в виду компьютер, но тогда мы ничего не понимали. Компьютеров не видели, о них мало что слыхали. Мы только удивлялись, каким замечательным, словно типографским, способом напечатаны письма, приходящие из того мира. И предприняли невероятную по сложности операцию. Вырезали

---

<sup>121</sup> Интересующихся вопросами переписки с другими странами в те времена отсылаю к великолепному исследованию Жореса Медведева «Тайна переписки охраняется законом».

буквы, иногда слоги, иногда – если повезет – целые слова из этих зарубежных писем и, подклеивая одно к другому, составляли подписи к фотографиям и рисункам, а потом фотографировали эти подписи и делали отпечатки. И получалось – printed! Австралийцы напечатали статью, не подозревая, какая ювелирная работа была выполнена, чтобы исполнить их требование.

И всё-таки мы продолжали – стремились продолжать! – публиковать статьи в англоязычных журналах, в том числе (это было проще) в журналах стран Восточной Европы – ГДР, Чехословакии. Даже и в этих мало известных журналах опубликованная статья выглядела так, что сердце радовалось – бумага и типографское исполнение было совершенно иным, чем в журналах отечественных. И к тому же – на английском, то есть можно было послать оттиски и в западные страны тем, кто занимается близкими вопросами.

Почему мы так к этому стремились? Для карьеры в стране, где мы жили, для положения в институте (во всяком случае, в нашем), такие публикации не имели ровно никакого значения. Это было внутреннее, не вполне осмысленное, почти бессознательное, стремление влиться в интернациональную науку. Много лет понадобилось для того, чтобы понять обречённость такой попытки. Чтобы твой труд не потонул сразу и безнадежно в море научных изданий, нужны были систематические публикации, нужно было работать в «горячей точке» научной жизни, иметь непосредственные контакты с научным миром. Может быть, в Советском Союзе так и было с некоторыми учёными, работавшими в институтах Академии наук, имевшими возможность ездить за рубеж, имевшими личные контакты. Но человек-невидимка из закрытой страны не имел никаких шансов. Мы пытались бороться с судьбой, не осознавая безнадежности такой борьбы, пытались преодолеть железный занавес, подобно тому как рыба, идущая на нерест, бессмысленно пытается преодолеть плотину на её пути.

## 21 августа 1968 года. Конец «недолгих шестидесятых»

Пражская весна началась еще зимой – в январе 1968 года сменилась партийная власть в Чехословакии, и вместо прежнего ортодоксального генсека Новотного пришёл новый – Дубчек. Дубчек был рабочий парень, учился в Советском Союзе, в Высшей партийной школе, и учили его марксизму, ленинизму, коммунизму, всем прочим «измам» и единственно правильной политике Советского Союза. Но Дубчек не стал «первым учеником»<sup>122</sup>, не стал новым Готвальдом или Новотным, а напротив того, позволил думать и говорить. Может быть, просто он был вынужден считаться с волей народа.

Весной 1968 года это притягательное и мирное движение в Чехословакии набирало силу. Чехи хотели «социализма с человеческим лицом». Тогда показалось, что коммунизм может существовать вместе со свободой слова. В конце концов – ведь это только Слово. Все мы слушали Би-Би-Си и радио Свобода, и надеялись.

Той весной и летом мы с Вадимом готовили статью для публикации в чешском англоязычном журнале *Folia biologica*. Подготовка была почему-то особенно мучительной – статью без конца переделывали, что-то убрали, что-то добавляли и, главное, с муками переводили её на английский язык. В июле уже получили «разрешение на вывоз статьи за границу» – сначала в институте, потом через Минздрав и разные цензурные организации... Послали статью в середине августа, и помню, у меня было какое-то нелепое предчувствие: вот пошлём статью в Прагу, и тут «наши» введут войска...

Такая возможность, конечно, витала в воздухе. Помнили Венгрию 1956 года. И всё-таки казалось невероят-

---

<sup>122</sup> У Евгения Шварца в пьесе «Дракон» рыцарь Ланцелот говорит сыну бургомистра: «Всех учили, но почему ты был первым учеником, скотина такая?».

ным, что расправа может быть предпринята против такого мирного движения, каким была Пражская весна. Против всего лишь – свободы слова! Оказалось – возможно.

Войска ввели 21 августа 1968 года. Конечно, по просьбе правительства Чехословакии – квислингов можно найти в любой стране. Ввели полмиллиона войск, три армии, в совершенно мирную, никак не сопротивляющуюся страну. Поначалу ввели ещё и войска других стран Варшавского договора, в том числе – немецкие. Потом кто-то сообразил, что немецкие войска в Чехословакии вызывают неприятные ассоциации, и войска ГДР вывели.

Какой это был день недели? Не помню. Помню, что уже всё зная, ехала на электричке с Клязьмы на работу. Почему-то одна – Вадим оставался на даче. Смотрела на пассажиров в поезде – все казались спокойными, словно ничего не случилось. Читают книжки, смотрят в окна. А мне нестерпимо, до удушья, хотелось кричать. И на работе – молчание, кто что думает – неизвестно. Сказать что-то против – боятся, поддержать – стыдно. А молчание непереносимо. Звоню в другую лабораторию к Юле Субботиной, она выходит в переулок, и здесь, на тротуаре, мы наконец говорим друг другу, выговариваемся, выплакиваемся, выругиваемся – и становится немного легче. Как же важно человеку говорить, хоть вполголоса, иначе можно просто задохнуться! Юля знает больше меня. Её муж – редактор большой газеты, он – номенклатура, и вокруг Юлиной семьи – номенклатура, все их соседи на государственной даче. Юля «их» знает лучше меня и потому ненавидит больше. Тут она мне рассказывает, что Дубчек учился с её мужем в Высшей партшколе.

В конференцзале собирают митинг – осуждать, поддерживать, выражать гнев и восторг – всё как положено. Слава Богу – не 37-й год, можно не пойти, этого мне уже не выдержать. Парторг института, Роза Алексан-

дровна, тащит Юлю: «Ты бывала в Чехословакии, ты можешь рассказать...». Юля в ответ кричит: «Я расскажу! Я расскажу, что такое был Новотный, что он там выделявал!..». Роза уже сама не рада, что связалась, и оставляет Юлю в покое. И мы снова с ней в переулке, снова говорим – больше ни с кем не могу, а с ней могу.

Вечером на даче слушаем «вражьи голоса». Глушилки, которые одно время молчали, с 21 августа снова работают на полную мощность, в Москве ничего услышать нельзя, а на даче удаётся что-то разобрать. Голос Америки слышно лучше, чем Би-Би-Си, но они передают заседание ООН, длинные выступления, ненужные нам детали, их так трудно разбирать через треск глушилок. Мы хотим знать факты – что там, в Праге, делается сейчас? Другое дело – Би-Би-Си. Умница Анатолий Максимович Гольдберг: «Мы знаем, что наши передачи у вас глушат, поэтому мы будем повторять одно и то же сообщение каждые 15 минут». Ощущение настоящего друга, хочется крикнуть ему «Спасибо, Анатолий Максимович!» И слушаем по несколько раз одно и то же, пока не разбираем всё. Слышим, что в Праге безоружные люди подходят к танкистам, пытаются усовестить, объясняют. Тогда ли или уже позже узнали, что кто-то из советских солдат или офицеров покончил с собой, не выдержав своей дикой роли жандарма. Люди вышли на улицы, но никаких насилий, никаких эксцессов<sup>123</sup>. Чешская армия участвует только своими радиостанциями. Армейских передатчиков много, они расположены в неизвестных местах, их долго ещё не смогут задушить. Так хотелось надеяться, что чехи каким-то чудом выстоят. Хотелось забыть, что «против лома нет приёма».

---

<sup>123</sup> Позже, в январе – одна страшная весть: Ян Палах, чешский студент, совершил акт самосожжения на центральной площади как протест против оккупации. Сейчас ему поставлен там памятник.



Помню выступления Зигмунда и Ганзелки, чешских автомобилистов, совершивших автопутешествие по Африке, рекламируя чешские автомобили Шкода. Потом они путешествовали и по Союзу, их здесь хорошо принимали. И они выступают и призывают не душить мирную Пражскую весну.

Узнаём, что всё правительство Чехословакии арестовано и увезено в Москву: генсек Дубчек, президент Свобода, председатель народного собрания Смирковский. Слушаем – и в душе стыд, стыд, стыд! За страну и за себя. Ведь мы все молчим. Все молчат, вся страна молчит!

И вот узнаём от Би-Би-Си – не вся страна молчит! Нашлись герои – вышли на Красную площадь. Кто помнит их, кто знает сейчас об этих героях, о наших современниках, вышедших с протестом на Красную площадь в момент позора своей молчащей страны?!

Их было восемь. Три женщины – поэтесса Наталья Горбаневская, диссидентка Лариса Богораз, студентка Татьяна Баева. Пять молодых людей – Павел Литвинов, Виктор Файнберг, Вадим Делоне, Константин Бабицкий, Владимир Дремлюга. С разных сторон они подошли в условленное время к лобному месту, развернули подготовленные дома лозунги: «За вашу и нашу свободу!»<sup>124</sup>, «Да здравствует независимая Чехословакия!»; «Руки прочь от Чехословакии!». Всего на 1–2 минуты – их тут же хватают, бьют, рвут лозунги, затапливают в подоспевшие машины. Наталья Горбаневская потом вспоминает реплики из толпы: «Это всё жида!» и «Мы их освобождали! Мы их кормим! А они...» (это уже о чехах). Их отвозят на Лубянку, некоторых сначала – в милицию. Потом Горбаневскую и Файнберга отправляют в психиатрическую больницу на принудительное лечение, остальным – заключение, арест, ссылка.

---

<sup>124</sup> В прошлом веке это был лозунг в поддержку Польши, борющейся за независимость от России.

Какая-то часть тяжести с души снята – нашлись люди, сказали за всех нас, молчащих. Но мне всё равно стыдно, и я ещё пытаюсь оправдаться, говорю Вадиму: «Они могут, у них нет детей!». И очень скоро узнаём: у Горбаневской – двое детей, маленького она взяла с собой на площадь в коляске, второго оставила дома. Так что не надо притворяться – всё равно бы я не вышла, всё равно я не могу быть героем. «И нечего притворяться – мы ведаем, что творим» – это потом скажет Галич.

До конца августа мы жили на даче, потому что там вечерами и ночами можно было слушать «голоса», и прежде всего – Би-Би-Си. В Москве во всю работали «глушилки». В сентябре пришлось переехать в Москву – у ребят начинались занятия в школе. И точка – мы снова отрезаны от мира.

А советские газеты полны, как всегда, умопомрачительного, совершенно бестыжего вранья. Советские войска введены по просьбе правительства братской республики на помощь против западных немцев, которые спят и видят, как бы снова захватить Чехословакию. А у чехов вся эта болтовня о свободе слова, о коммунизме с человеческим лицом – это все происки сионистов! Подсчитывают, сколько евреев среди чехов, подписавших «Хартию семидесяти». Помню огромный подвал в Известиях – во всем виноваты евреи. И ведь действовало! Это так привычно, так обычно, так бессмысленно – но всегда эффективно. Вспоминаю, как зашла к нам наша однокурсница Аня Гринфельд – и с порога: «Хорошо, что ввели войска, а то бы западные немцы к нам, как по коридору». Я обомлела. Вытащила номер «Известий» с тем самым подвалом: «Читай!» Анька прочитала, говорит: «Простите, ребята, так занята была, ничего не читала». А я ей: «Хорошо, что ты еврейка – будь ты русская, что бы я с тобой делала?!». Аня – хорошая женщина, хирург, занята по горло, слушать западные станции, да и самой думать некогда, глотала ту отравленную пищу, которой пичкают каждый день

Через один-два месяца, точно не помню, был хоккейный матч между советской и чешской командами. Я не люблю спорт и не болею ни за какие команды. Мне всегда кажется, что спортивные состязания пробуждают в людях самые скверные, самые варварские инстинкты. Даже англичане – казалось бы, такая уравновешенная нация, как принято говорить, «чопорные англичане» – на футбольных матчах превращаются в громил. Приметой соревнований в Советском Союзе всегда были пьяные на стадионах, бросание пустых бутылок куда попало, в том числе на головы зрителей. Кроме того спорт в Советском Союзе всегда был способом агитации за самую, самую, единственную в мире социалистическую страну. И международные матчи всегда сопровождались всплеском шовинизма.

Но советско-чешский хоккейный матч был тогда событием особым. Это было продолжением борьбы чехов за свободу. И мы смотрели матч и отчаянно болели за чехов. А чехи сражались беспримерно. И выиграли! Потом в Чехословакии праздновали победу хоккеистов – ту победу, которая была им доступна в борьбе с полумиллионной армией оккупантов. Помню, что в ликовании чехов участвовал Смирковский – и был изгнан из правительства.

21 августа 1968 года были окончательно похоронены дружеские чувства чехов к русскому народу. А ведь когда-то была настоящая, историей проверенная дружба. В Чехии поддержали после революции 1917 года русских эмигрантов, чешское правительство давало стипендии, организовало факультет для русских в университете Праги. В мае 1945 года в Праге как нигде встречали русскую армию – там советские войска пришли как настоящие освободители. А потом началось. Коммунистический переворот в феврале 1948 года. Тогда прекратились письма от моего чешского корреспондента Милослава Зучека. Потом были процессы Сланского и других «врагов народа» – в Чехословакии

точно так же, как и в других соцстранах. И всё же что-то ещё оставалось от старой дружбы. В августе 68-го наступил конец. С этого времени весь соцлагерь стал врагом. Поляки не забыли ни давнее угнетение царской Россией, ни захват Польши в 1939 году, ни расстрел в Катыни, ни погубленное восстание в Варшаве... Венгрия была залита кровью в 1956 году. Еще теплилась дружба с Болгарией, да и восточные немцы (лучшие из них) были полны чувством собственной вины.

Спустя 6 лет, в 1974-м, Витя с группой одноклассников поехал в Чехословакию, в Братиславу. Поездка была организована через школу – это был обмен школьниками. В Братиславе Витя и его товарищи поначалу пытались в магазинах, в кафе использовать русский язык – и встретились с открытой враждебностью. Перешли на английский и потом пользовались только английским. Русский язык стал языком врага. Так было через 6 лет после вторжения.

А через 28 лет, в декабре 1996-го, нам с Вадимом случилось быть в Швейцарии. Это было уже в другой жизни, после эмиграции в Америку. Вадим поехал в командировку в Женеву для участия в совещании ВОЗ, я с ним как мужняя жена. После совещания решили проехать на машине по красивым местам, в том числе в Гриндельвальд, горнолыжный курорт, а оттуда на специальном поезде, идущим круто вверх в горы, к подножию Юнгфрау. В горах провели целый день и вечером, уже на закате, сели в поезд, чтобы вернуться в Гриндельвальд, где оставили машину. Через несколько минут по вагону прошел кондуктор, и проверяя билеты, сообщил нам, что мы едем не в Гриндельвальд, а в обратном направлении. Что делать? Спросить у соседей по вагону трудно – это немецко-говорящий кантон, английский язык не помогает. И вдруг один из пассажиров обращается к нам на русском языке с небольшим акцентом и предлагает книжечку с расписанием поездов, чтобы определить, как возвращаться. Благодарю и

спрашиваю: «Откуда Вы так хорошо знаете русский?» – «В 68-м ваши войска вошли в Чехословакию – пришлось учить русский». Ответ – как пощечина. Бормочу что-то – да, 68-й год, ужасный год. «Особенно для нас». Что тут скажешь? Что я не виновата? В этот момент я понимаю тех немцев, которые не были причастны к преступлениям нацизма, но все были прокляты миром за эти преступления. И потом – разве я не виновата? Ведь я же не вышла на Красную площадь... И чехи не забудут этого преступления. Прошло почти 30 лет, а русский язык остается языком врага.

Чехи не забыли. Спустя много лет вышла книга Милана Кундеры «Непереносимая легкость бытия». Про этот день. И про то, что испытали чехи потом. Многим удалось эмигрировать сразу, по горячему следу, пока снова не закрыли границу. Встречая чешские фамилии среди американских иммунологов, всегда думали – это после 1968-го они там? Знали, что запил горькую виднейший чешский иммунолог Штерцль, много раз бывавший в России. Спился и ушёл с должности главного редактора журнала «Folia Biologica» крупный иммунолог Гашек. В недобрый час послали мы с Вадимом свою злополучную статью в этот журнал. Прошло много времени, из журнала не было ответа, и Вадим послал письмо, где (в неопределенной форме, конечно) написал, что не может нести ответственности за происшедшее. И статью напечатали, но это уже «на советских штыках». Да, чехи не забыли и долго не забудут этот трагический день своей истории. А русские? А советские? Боюсь, далеко не все из нынешнего поколения помнят. Эта не та история, которую учат.

И русская литература не отозвалась на это событие. Я спрашивала у знакомых – не знают ли они что-нибудь из современной, уже свободной, не подцензурной литературы на эту тему? Нет, не знают. Уже неактуально? Уже ушло в историю? А я знаю только стихи Галича, написанные накануне того дня, когда восемь героев

вышли на Красную площадь. Стихи о декабристах, о тех, кто посмел выйти на Сенатскую площадь, и о тех, кто побоялся. Но это – о нас, о наших днях:

*О доколе, доколе,  
И не здесь, а везде  
Будут Клодтовы кони –  
Подчиняться узде?!*

*И всё так же, не проще,  
Век наш пробует нас –  
Можешь выйти на площадь  
Смеешь выйти на площадь,  
...В тот назначенный час?!*

И в том же 1968 году – «Баллада о чистых руках», о тех, кто «умывает руки»:

*А танки идут по вацлавской брусчатке,  
И наш бронепоезд стоит у Градчан!  
...А я умываю руки!  
А ты умываешь руки!  
А он умывает руки,  
Спасая свой жалкий Рим!*

Так Галич, один Галич, «вышел на площадь», спасая честь русской литературы.